



**Дружба
народов**

5/2025



В номере:

Праздник со слезами на глазах

80-летие Победы в Великой Отечественной войне — повод еще раз оглянуться на события тех лет и услышать эхо, долетевшее до наших дней, изменившее судьбы людей, народов и стран и уже в XXI веке определяющее их настоящее и будущее.

Для поколения Великой Отечественной та война не случилась такой уж неожиданностью. Её ждали, к ней готовились, про неё слагали песни, снимали фильмы. И всё же она накатила, как тяжкий локомотив, подминая под себя всё привычное, дорогое, любимое, она прошла по всем адресам и судьбам. Но прежде чем стать общей участью для всех, она потребовала личного выбора для каждого — войти в свои распахнутые двери. Повесть Георгия ГРАТТА «Двери войны» — о первых днях войны, о мистической её неизбежности и готовности к преодолению.

Для Дениса КОЛЧИНА, екатеринбургского журналиста, освещавшего военные конфликты в разных точках постсоветского пространства, важно, чтобы люди, о которых он пишет, понимали, что «имеют дело не с подосланным соглядатаем, а с увлечённым альтруистом». В повести «Чёрный сад» он возвращается к этому опыту и формулирует свою позицию так: «Продемонстрировать отсутствие отличий — вот главная идея, главная мысль, волновавшая меня тогда и не оставившая до сих пор. Мысль о том, что, кто бы с кем из-за чего ни воевал, кровь у всех одинаковая, и горе матерей одинаково, и дети одинаково тоскуют по родителям, ушедшим до времени».

«Вагиф и он, Артур. Вот они идут. Между ними возникло понимание, какое бывает между одинаково уставшими мужчинами. Не очень молодыми, курящими одни и те же горькие сигареты.» Вагиф — «опытный военный», Артур — фотокор, в прошлом снимал букеты цветов, теперь — войну. Герои рассказа Сухбата АФЛАТУНИ «Цветы» — азербайджанец и армянин. В этой кровавой войне — между мужчинами и женщинами — они по одну сторону.

Тема войны возникает и в поэтической рубрике майского номера. Подборка живущего в Туле Алексея ДЬЯЧКОВА запомнится стихотворением «Город Марии» — о трагических событиях в Мариуполе и судьбах его жителей. Константин БЫЛИНИН из Челябинска размышляет о том, что жизнь его «для Родины и сына — для сыновей, чтоб жили без войны». В стихах поэта из Новосибирска Кристины КАРМАЛИТЫ много боли: «нас всегда война любила», но и надежд на мирные времена: «Отдохни, страна моя родная,/рюмку за победу накати».

Этнографическое путешествие

«Один из первых храмов на нашем пути. Встречаются очень древние, многим полторы-две тысячи лет. И стоят, ветер истории им нипочем. ...Падают царства, приходят и уходят завоеватели, а храмы, если их не разрушили чужеземцы, сияют на радость миру». В рубрике «Нация и мир» — путевые заметки Владимира ЛИДСКОГО: «Мы видели глубинную Индию, такую, какая она есть на самом деле...»

«Поклон через моря»

К 85-летию Иосифа БРОДСКОГО — заочный круглый стол, в котором участвуют поэты разных поколений. Евгения Джен БАРАНОВА: «Портрет Иосифа Александровича на футболке или чашке — вещь такая же неувидительная, как Че Гевара на школьном пенале или Довлатов в названии рюмочной. Лирический герой Бродского оказался достаточно привлекателен, чтобы стать кумиром стильных девушек эпохи эмо. Какая ирония!» Алексей АЛЁХИН: «Явился первый поэт. И дело не в том, что первый, а в том расстоянии, которое сразу отделило его от вторых — притом что тоже настоящих, значительных. Бродский стал последним по времени великим русским поэтом XX века».

Дружба народов



**Независимый
литературно-художественный
и общественно-политический журнал**

**Основан
в марте 1939 года**

Редакционная коллегия

Адрес редакции:
117218, Москва,
ул. Кржижановского, д. 13, стр. 2,
журнал «Дружба народов»
Телефон (многоканальный):
8-499-519-02-12

**E-mail: dn52@mail.ru,
Сайт журнала:
<http://дружбанародов.com>**

Юридическая поддержка:
Congress Consulting.
Свидетельство о регистрации
№ 73 от 14.09.1990 г.
в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.
Свидетельство о регистрации
товарного знака № 288681.
Зарегистрировано в
Государственном реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания РФ
12 мая 2005 г.

Отпечатано с готовых файлов заказчика
в АО «Первая образцовая типография»,
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»;
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

**Редакция не имеет возможности
рецензировать и возвращать
рукописи.**

**Во всех случаях полиграфического
брака в экземплярах журнала
обращаться в типографию, указанную
в выходных сведениях.**

**При перепечатке наших материалов
ссылка на журнал «Дружба народов»
обязательна.**

Сдано в набор 20.03.2025.
Подписано в печать 22.04.2025.
Формат бумаги 70 x 108 ¹/₁₆
Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.
Уч.-изд. л. 21. Тираж 1200 экз.
Заказ . Цена свободная.

Главный редактор Сергей
НАДЕЕВ
Леонид
БАХНОВ
Ирина
ДОРОНИНА

Ответственный секретарь Елена
ЖИРНОВА

Первый заместитель главного редактора Наталья
ИГРУНОВА

Галина
КЛИМОВА
Владимир
МЕДВЕДЕВ

Заместитель главного редактора Александр
СНЕГИРЕВ

Редакционный совет

Мария
АНУФРИЕВА
Сухбат
АФЛАТУНИ
Муса
АХМАДОВ
Ольга
БАЛЛА
Дмитрий
БИРМАН

Денис
ГУЦКО
Фарид
НАГИМ
Илья
ОДЕГОВ

Валерия
ПУСТОВАЯ

Ренат
ХАРИС
Александр
ЧАНЦЕВ
ЭЛЬЧИН





СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Алексей ДЬЯЧКОВ. Мира май и Мира труд. <i>Стихи</i>	3
Георгий ГРАТТ. Двери войны. <i>Повесть</i>	9
Кристина КАРМАЛИТА. Дорогою недуговой. <i>Стихи</i>	66
Денис КОЛЧИН. Чёрный сад. <i>Повесть</i>	70
Константин БЫЛИНИН. Окопные стихи	122
Илай ИЛИМАР. Колдун. <i>Повесть</i>	124
Наталья ПОЛЯКОВА. Простыми словами расскажешь о сложном.... <i>Стихи</i>	154
Сухбат АФЛАТУНИ. Цветы. <i>Рассказ</i>	157
Тимур МАКСЮТОВ. Белый палач. <i>Рассказ</i>	166
Настасья РЕНЬЖИНА. Ходун. <i>Рассказ</i>	174
Евгений РЕЗНИЧЕНКО. Куда ж нам плыть? <i>Стихи</i>	181
Надежда КЕЛАРЕВА. Скоропостижнее, чем смерть. <i>Стихи</i>	184

ПРОЗА. ДОС

Елена ГОРДЕЕВА. Три ранения лейтенанта Мареева. <i>Воспоминания дочери</i>	186
---	-----

МАЛЕНЬКИМ КАРАНДАШОМ

Елена ТИМОХИНА. Пекарь. <i>Рассказ</i>	194
--	-----

НАЦИЯ И МИР

Владимир ЛИДСКИЙ. Индия в сердце. <i>Этнографическое путешествие</i>	198
--	-----

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Дмитрий ШЕВАРОВ. Тоска по Татарскому	211
--	-----

БРОДСКИЙ 85+

«Жизнь начинается заново именно так...» В заочном круглом столе участвуют:

Алексей АЛЁХИН, Евгения Джен БАРАНОВА, Вера ЗУБАРЕВА, Геннадий КАЛАШНИКОВ, Алёна КАРИМОВА, Марина КУДИМОВА, Вадим МЕСЯЦ, Вадим МУРАТХАНОВ, Олеся НИКОЛАЕВА, Александр ПЕРЕВЕРЗИН, Сергей ПОПОВ, Андрей ФАМИЦКИЙ, Феликс ЧЕЧИК, Константин ШАКАРЯН, Ганна ШЕВЧЕНКО	232
---	-----

ПОДРОБНОЕ ЧТЕНИЕ

Ольга БАЛЛА. Четыре персонажа в поисках выхода (Д.Безносков. «Территория памяти»)	256
--	-----

ЛИТЕРАТУРНЫЙ БАРОМЕТР

Евгений АБДУЛЛАЕВ. Dum spiro spero	263
--	-----

ПРАВИЛА ИГРЫ

Борис МИНАЕВ. Радостная и лёгкая	268
--	-----

Алексей Дьячков

Мира май и Мира труд

Теперь когда

Старик! Старик! — мне вслед хохочут дети,
В густой траве светясь на склоне дня.
Когда меня в лесу художник встретит,
Предложит послужить моделью для

Апостола Петра. Гуляет манна
И прячет в складках покровов и риз
Секрет, хранить который в детстве с Павлом
До смерти на мизинцах поклялись.

С обрыва взгляд на день прошедший брошу,
Вдохну смолу и хвою глубоко.
Свет надо мной, как каравай, раскрыт,
Расплёскан по земле, как молоко.

В густой листве хохочут дети, пусть их.
На стрелке монотонно в рельсу бьют.
Всю ночь тревожным скрипом в захолустье
Старинные качели выдают.

Дьячков Алексей Владимирович — поэт. Родился в 1971 году в Новгороде. Окончил строительный факультет Тульского политехнического университета. Работает инженером-строителем. Публикации в журналах «Урал», «Новый мир», «Арион» и других. Автор двух книг стихов: «Райцентр» (М., 2010) и «Государыня рыбка» (М., 2013). Живёт в Туле.

Город Марии

Наде Степаненко

Хрустел стеклом здоровый на всю голову,
Пыль поднимал — ухоженный, живой,
Заглядывал на кухни, в спальни, комнаты,
В завалы бывшей площади жилой.

Фарфора, книжных полок — проза, лирика, —
Разбитых люстр, распоротых перин,
Брёл мимо книг, стиралки, холодильника,
Взрывной волной оплавленных перил,

Кусков обоев, штор, прижатых ставнями,
Комода, открывающего зев,
Всего, что люди в панике оставили,
Как следует собраться не успев.

Тюки тряпья, засиженные гулями,
Стекла, метлахской плитки мелкий бой
Вползали в шахту, лаз, в проём обугленный,
Выглядывали из двери любой.

Гнул провода, шуршал под кровлей гравием,
Из мусора бумажки поднимал —
Счастливая семья на фотографии,
Закат над морем, солнечный вокзал,

В саду застолье под черешни ветками,
Две кошки дремлют, а щенок игрив...
То выбивал из пачки сигаретку, а
То, грубо смяв, бросал, не прикурив.

Округой изуродованной, адовой
Ходил, читал забор, косяк, окно:
Нет никого! — и — *Не стреляйте!* — складывал
В бессонницы сплошное полотно.

С барыгами, старухами и старшими
Беседы вёл, с творцами страшных драм,
С одной Марией... И жалел, что спрашивал.
Но слушал молча, не перебивал.

О том, как гарь и копоть небо застили,
Как тьма копила снежные слои,
О мародёрстве, жадности, безвластии,
Добре чужих, жестокости своих.

Метались по углам, кустам, строениям...
Как жили ночи чёрные и дни
Всю зиму на компотах и соленьях
В подвалах с онемевшими детьми.

Под лестницей с разорванными трубами
Дремали среди тряпок и икон.
Как присыпали грубым снегом трупики
За теплотрассой, здесь, недалеко.

Перебирала по карманам денюжку,
Ждала недобрый шёпот: «Ну, подъём!»
Как ночью шла из города, доверившись
Соседке с сыном, взрослым бугаём.

Пристроились при госпитале прачками,
И веселее время потекло.
Подсели на тушёнку и горячую
Перловку из солдатских котелков.

«В решениях моих не много умысла.
Не за года держалась, а за миг.
Притихло чуть, и вот, одна вернулась я.
Остался дом, не то что у других».

Лицо живое керосинки бликами
Озарено, седая прядь в каре.
Заслушивался гулом, звякал вилок, вилок,
Размешивая сахар с нескафе.

Пир королей в дворце, покрытом инеем.
Шут сам себя, рыдая, бьёт под дых.
Вставал и уходил. Опять отлынивал
От сверок процентовок, накладных.

Без рук, без ног, без имени и отчества
По склону к мелководью семенил,
Пока прораб в строительном вагончике
С бригадой отрывался без семьи.

Мутило от волны, движенья, качки и
Гниющих на сыром песке медуз.
Была вода зашкурена наждачкой.
За облаком тянулся сухогруз.

Обратно шелестел — дворами сталинок,
Где в домино играла с вахтой голь,
Где на руинах мастерил завалинок
Блаженный, чтоб отведать алкоголь.

Алели двор, листва и пыль кирпичная,
Завод алел средь рукотворных скал.
Воронежских философ из античности
В убогой голубятне собирал, —

Орловских, николаевских, камышинских,
Турманов сизокрытых всех пород.
Багровый сад всю ночь за шторкой с вышивкой
Водил свой монотонный хоровод.

Дни

Лопатами угол заставлен и мётлами.
Запасы просыпаламышь.
Жена тело мужа застывшее, мёртвое
Нашла среди санок и лыж.

Услышала, капает влага из краника,
На вой откликается дом.
Зачем-то склонилась и шапку поправила
На лысом затылке родном.

Холодным от мира отрезана лезвием,
Сутулясь, вернулась домой.
Нашла документы, аптечку с магнизией,
Достала костюм шерстяной.

Задумчиво выключив радиопение,
В себя провалилась, как в сон,
Чтоб в мыслях его воскресить на мгновение
На пляже пустом в несезон. —

Лежит, не раздевшись, в тени вялой зелени,
Как рыцарь, нашедший Грааль,
На облако в небе, на кроны рассеянно
Глядит, на далёкий корабль.

Дрожит ветка тиса серебряным листиком,
Стоит с сизой пеной волна... —
Так долго высматривал что он, выискивал,
Теперь разбирает она.

Нолик

Скорый поезд пролетит по полустанку,
Разметает жёлтый лист — тебе водить.
Для ребёнка настрочи наминалку.
Уходя, на холодильник примагнить.

Постоянно отключаясь, пропадая,
Проезжая Мира май и Мира труд
На сиденье дребезжащего трамвая,
Запланированных дел тверди талмуд.

Ужас инея без крестиков и рожиц.
Наломал хрустальный день карандаши,
Чтобы ты, о позднем ужине тревожась,
Побежал, засобиравшись, поспешил.

Перед выходом, уже надев фуражку,
Провались в закат, раскинувшийся вширь,
Чтоб испуганно бухгалтерша Наташка
Завалившийся искала нашатырь.

Приступ

Чуть не умер, еле ожил.
Полыхал всю ночь, как куст.
Стоя, сидя, полулёжа
Ждал развязки, слушал пульс.

Как развалина, калека,
Как хронический больной,
Гулко кашлял, слушал эхо,
Тряс огромной головой.

То твореньем, то ошибкой,
То волненьем от винта —
Был то жертвой, то наживкой,
То святым внутри кита.

Словом Боже отовсюду
Голос мой звучал светло,
Как случайная посуда,
Как мансардное стекло.

Таблетка

Начинают светлеть занавески на окнах.
Скоро небо покажут и дым из трубы,
Скоро трое волхвов пациенту в наколках
Принесут на железном подносе дары.

Мало мужества лечь, притвориться заснувшим,
Отсчитать по минутам четыре часа.
Отделить от костей мясо рыбы на ужин.
Без работы остаться в канун Рождества.

Кровь по хрупким гонять капиллярам, по венам,
До спасения утром выстраивать путь.
Мало мужества слушать, дышать равномерно,
От постели себя отрывать как-нибудь.

Рассыпается солнце от междоусобиц,
В болтовне разговора теряется нить.
Хорошо, о бессоннице не беспокоясь,
Свою голову в пух и перо уронить.

Семь

Рулил до ночи, тряся по грунтовке,
Испытывал на прочность тормоза,
Чтоб, заглушив машину на парковке,
Вздохнуть и посидеть, закрыв глаза.

Проснувшись, мёрз и вспоминал о доме.
Входил в подъезд, сутулясь и дрожа.
Овал зеркальный в смутном коридоре
По памяти кого-то отражал.

Любая боль тяжёлый ищет выход.
Спазм затяжной удерживает вдох.
Казалось бы, давно пора привыкнуть,
Что выдох — убедительный итог.

Что добавляет каждая иголка
Сосны за шторой празднику уют.
Деревья каждый раз сбивают с толку,
Закончить мысль о Боге не дают.

Георгий Гратт

Двери войны

Повесть

1

«Эй, по палаткам! Кто там ещё не слышал отбоя?!» — окрик дневального всхлипом болотной птицы прокатился, разорвал тишину и замер, сгинул в чахлом березняке.

«Не по уставу, — хмыкнул себе под нос Тёма, — опять не по уставу». Впрочем, по уставу-то как раз и не положено — он, конечно же, знал об этом. Все знали, что про устав следовало до поры забыть. Чтобы без фокусов! Чтобы никаких там лычек, шпал, ни-ни! Никаких знаков различия. А главное, никакого оружия! Одним словом, летние лагеря, да и только. «Физкульт-ура! Физкульт-ура-ура-ура! Будь готов!» — полюбуйтесь! Будто какие-нибудь там скауты, по-ихнему, прыгают, бегают, тягаются на турнике. «Впрочем, нет, скауты — это у англичан, а у немцев нынче совсем другое — юнгер... юнгер... как их там?.. — Тёма запнулся, припоминая свой скверный немецкий. — У них юнгфольк, во как!» Сам-то он немцев не видел ещё, но дозорные говорят, что и у них то же самое — хоронятся, не светятся лишний раз. Кошки-мышки, короче говоря. Взрослые мужики, ну смешно же, ей богу!

А меж тем среди ночи хлопнет вдруг в чаще одинокий выстрел, и опять тишина. И ждёшь, ждёшь продолжения, вслушиваешься до звона в ушах, как по брезенту палатки мелкой дробью сыплют редкие капли дождя. «Полночь... слушай...» — всплыли из глубин читанные где-то слова, а кто автор и что за книга, теперь и не вспомнить. Попробуй-ка, засни после этого. Вот тебе и летние лагеря.

Ещё и месяца не прошло, как комполка Бывалый — и каких только имечек в армии не придумают! — давал вводную:

Георгий Гратт (Воскресенский Георгий Борисович) родился в 1954 году, работает учителем математики и информатики в школе. С 2005 года регулярно публиковался в журнале «Дружба народов». Автор нескольких повестей и романа «Изгнание русского духа, или Улыбайся в Нью...». Лауреат премии «ДН». Живёт в Ярославле.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2022, № 11.

— Пограничные столбы видали?

— Ну видали, ага. И чё? — хмыкнул тусклым шёпотом Сашка за спиной у Тёмы, но комполка всё равно расслышал.

— А самих погранцов видали? — надал он тревожной меди в голосе. В ответ все угрюмо молчали, и Бывалый сам же и ответил, нащёлкая воронёным стеклом по хромовому голенищу: — Нет, не видали, товарищ боец! Не видали! — и только что не продырявил Сашку своими колючими глазищами. — А почему не видали?! Да потому, что мы с вами и есть эти самые пограничники. Мы теперь на переднем крае, на самом переднем! Там, — ткнул он пальцем куда-то в пространство, — лежит мир, которого никто из вас, сопляков, ни разу не видел, и даже я не видел, хоть давно уже не сопляк. Немцы теперь совсем рядышком, без всякого цейсовского бинокля разглядишь. Немцы теперь с нами морда в морду, чтоб вы знали, могут и стрельнуть, если чё. Это я к тому, чтобы жопу не показывали. А то мало ли... повезут домой в деревянном макинтоше, — и для пушей убедительности постучал костяшками пальцев по фанерной мишени.

Ну, с границей, понятное дело, не поспоришь, а вот с немцами как? Долго ли в прятки играть будем? Про такое, пожалуй, и комполка не расскажет. В задумчивости Тёма тянул папиросу за папиросой. Давно уже в лагере протрубили отбой, а у него сна ни в одном глазу. Да и уснёшь тут разве? — ночь, налившаяся ароматом молодого смородинового листа, опустилась на всю округу, звала, пьянила неясными надеждами. К тому же пару минут назад прискакали девчонки-шифровальщицы из штаба дивизиона, устроили птичий переполох. Слава богу, его не заметили, приютились чуть ниже на краю сосняка. Вот и сидел он на берегу ручья, разгадывая загадки этой странной шахматной партии, затеянной то ли Москвой, то ли Берлином, в которой, как и полагалось, пешкам не дано знать замысла гроссмейстеров. И душа его металась, блуждала меж лирикой и политикой, не зная, к чему притулиться. А девчонки всё хихоньки да хахоньки, всё больше про отцов-командиров, и первую скрипку там играла Марго — Сашкина пассия, уж её-то голосок ни с чем не спутаешь. «Хотя почему Сашкина? — ухмыльнулся Тёма. — Не он один в полку на неё глаз положил. Взять, к примеру, того же Вовку Галкина, старшину из хозблока, уж как он только к ней не подъедет: “Вы сегодня такая красивая, Маргарита, ну прямо светитесь! Аж глаза режет! Надо бы вам поостеречься — не выдавать расположение полка”».

Сашка его как увидит, так сам не свой: «Опять сварочные очки не надел? Глаза испортишь». Хотя что Вовка? У неё и без того поклонников навалом, целая коллекция собралась — нет, не позавидуешь Сашке.

«А тебе-то, Тёма, что с того? — усмехнулся он самому себе. — Ты и сам безлошадный. Вот и не суйся, куда не звали, ты же хотел совсем о другом подумать».

Иногда, в пору редких откровений, он любил заговорить с собой как бы в третьем лице. Обычно у него получалась такая вот горькая усмешка: да, была у Тёмы любовь, да сплыла, не срослось, а теперь вот даже письмо написать некому. Но такие откровения случались с ним нечасто. «Да просто девчонки отвлекли, — отмахнулся он от собственных возражений, — с ними всегда так».

А девчонки тем временем чего-то притихли. Тёма невольно прислушался — ушли, может? Нет, замурлыкали песенку нестройными голосами, потом другую, незнакомую, а после уже только одна Марго: «В этот синий-синий свет, где ни слёз, ни горя нет, сердце хочет улететь от бед...» И Тёме тут же припомнилось, как Варька водила его в «Ударник» на премьеру этой комедии. И вечер был такой же тёплый — конец мая или июнь, сейчас не вспомнить, лет пять прошло, — и Варька, как нынче эти девчонки, тихонько напевала обратной дорогой: «Если б мне достать рукой ваш серебряный покой. Звёзды очень далеко». А месяц затёртым серебряным рублём знай себе катил безмятежно над кремлёвскими башнями и — вот же она, реально вот сила таланта! — манил за собой в эту бескрайнюю, бездонную синеву.

Разумеется, Тёма тогда совсем молодой был, зелёный, необстрелянный — только-только школу заканчивал и на сестру смотрел как на взрослого малопонятного человека, но фильм и ему понравился. «А ты? Как бы ты поступил на месте этого холёного американца?» — сверлила его Варька своими хитрыми смеющимися глазами. «А что я? Чего? — отбрёхивался он от её пустой назойливости и пожимал плечами. — Вот доживу до его годов, тогда и спросишь». Больше всего его раздражало в сестре вот это вот менторство, желание поучать. «Подумаешь, и всего-то на пять лет взрослее... ну, на шесть», — кривил он усмешку. Он давно смирился, что она вечно оставалась за старшую на время долгих, порой до полугода, командировок родителей, но терпеть её наставления, особенно при друзьях, это уже ни в какие ворота. А пацаны, мало ли, давили фасон — причёсочка полубокс, чёлка скобкой под левый глаз, кепарик-восьмиклинка на самый затылок. Ей понять разве, кроту учёному? Небось, её оставляли за главу их маленькой «комсомольской ячейки» вовсе не для того, чтобы всякий раз утирать ему нос своими нравоучениями. Другое дело там — приготовить обед, выдать мелочь на проезд, наглядить рубашку, ну и прочее в том же духе, — ворчал он после очередного «урока». Впрочем, со временем он научился избегать скользких тем, вызывающих приступы морализаторства у сестры.

«Весьма неплохое умение по нынешним временам, — согласился с его рассуждениями Марик, когда он поделился с ним результатами этого самоанализа. — Я бы ещё предложил переводить это всё в плоскость юмора». И тут Тёму накрыло волной воспоминаний. «Бедный Йорик! — печально улыбнулся он. — И угораздило же его втюриться в мою сестричку». Но худо не без добра — итогом этой несостоявшейся любви стала их странная дружба с Марком. Может, всё-таки не дружба — товарищество, — сомневался он. Ну в самом деле: Варькин одноклассник — и он, сопляк. Разве могло быть у них что-то общее? Но ведь было! Во всяком случае, хотелось так думать. Хотелось думать, что не только он, Тёмка, сгорал от нетерпения, ожидая новой встречи с Марком, но и тот заходил к ним не просто так, не для того только, чтобы лишний раз убедиться в холодности его сестрицы. Раз как-то Тёма даже побывал у него в гостях — относил конспекты по Варькиной просьбе. Стоял в некоторой растерянности перед дверным звонком, изучая сложную систему оповещения: «Штепа Лев Соломонович, лично — один длинный; по работе — два коротких.

Штепа Полина Исаевна — три коротких. Штепа Марк — четыре коротких». Азбука Морзе какая-то.

Ладно, дружба — не дружба, — отмахнулся от назойливых уточнений Тёма, — но парень-то был замечательный! Не существовало темы, от которой бы он предательски улизнул, а некоторые особо хитрые вопросы он мог разжёвывать с ним часами. Сидели за чаем на кухне и спорили, спорили, спорили... И Варька не раз раздувала им самовар. А потом Марк исчез. Просто исчез, и всё. Прошло несколько дней, неделя, другая... может, заболел? И от Варьки никакого проку. Одно только и выдавила сквозь зубы, что в институте он тоже не появлялся давненько. Наконец, собравшись с духом, Тёма отправился по знакомому адресу, но вместо старой азбуки Морзе на дверях застал новые неизвестные позывные. В отчаянии он чуть было не нажал звонок, как вдруг неожиданно и совершенно отчётливо понял, что никакого ответа не будет — никто ему ничего не скажет. Отрешённо спустился, вышел на улицу, оглянулся. И вся улица будто сгорбилась, ссутулилась, опустела. Кончался февраль, ветреный, хрустящий.

Неужто же правда то, что однажды по большому секрету поведал ему отец? В тот год они с мамой «вернулись с поля» — это на их профессиональном жаргоне означало вернуться в город, в цивилизацию — в позднем декабре, под самый Новый год. Папа нервничал, говорил вполголоса, притушив свет, мёртвой хваткой вцепившись ему в запястье. Предупредил, чтоб под страхом казней египетских никому ни слова! Ни единой душе! Молчок! Он сказал, они били шурфы на золото где-то в Восточном Саяне, и однажды к ним в лагерь пришли беглые, три человека. «Уголовники?» — переспросил он. «Нет, сынок, политические, как при царе». Одного он знал ещё по институту, но имени не назвал: «Лучше тебе не знать его имени». Он проходил по делу о шпионаже в пользу Японии, хотя, как усмехнулся отец, ни одного живого японца в глаза не видывал. Попросили еды и карту, посмотреть карту, — они пробирались куда-то в Монголию. Нельзя было не дать. А любая карта — это такая вещь, которая хранится под грифом «Секретно», её и в отряде-то не всем показывать можно. Помощь беглым — уже статья, а тут целая карта!

«Ты боишься, что тебя арестуют?» — догадался Тёма. «Да нет же! Хотя да, в общем-то да, боюсь, — он не сразу нашёл верный ответ. — Я боюсь за вас с Варей. Мы-то с мамой привычные. Но если что-то случится, будет лучше, если ты узнаешь это всё от меня».

После того памятного разговора Тёме стало как-то особенно не по себе, снились сны один мрачнее другого. Отцу повезло, им всем повезло тогда, что беглецов не поймали, но липкий осадок остался, и прежней свободы как не бывало. Однажды он заговорил об этом с Марком. Нет, он ни словом не обмолвился про тайну отца, — всё в общих чертах, обтекаемо. «Говори уже прямо, — не выдержал тот, — что тебя гложет?» — «Неужели, правда всё то, что пишут про политические процессы? Ты этому веришь?» — «Тебе ведь не для политинформации, правда? Тебе самому нужен ответ?» — Марк мучительно долго молчал, и Тёма подумал, что сейчас последует долгая-долгая лекция, но ответ прозвучал до обидного коротко. «Это спектакль, хорошо срежиссированный спектакль, не более. Каждый раз один и тот же спектакль».

И как бы упреждая ещё не заданный вопрос, уточнил: «А зачем в Риме был Колизей и гладиаторы? Вот всё за тем же».

И после эта тема так или иначе не раз всплывала в их застольных беседах. На память приходили разные нелепые истории, в основном из школьной жизни. Как-то, ещё в девятом классе, они репетировали пьесу про антифашиста, сбежавшего из-под ареста и угодившего прямиком на их диспут. Всё было очень условно. Посреди общей дискуссии вдруг раздавался страшный стук в двери. Первая мысль — гестапо! И невольное облегчение — арестантская роба, узник. А потом, с его слов, постепенно начинала разворачиваться целая драма: «— Развяжите меня, наконец! — (он поворачивался к ним спиной, протягивая скрученные узлом кисти рук) — А как вы стучали в двери? — Да боже! Я колотил башмаками! Вы что, не верите? — А почему мы должны вам верить? Может, это провокация. — А я ему верю, — вмешалась Руфь». Вообще-то, это была Катя, она играла эту роль. У них тогда что-то было с Катей, ещё с восьмого класса. Вместе ходили на каток, покупали мороженое... но, видимо, не судьба — разбежались по взаимному согласию.

А спектакля, кстати, так и не вышло — вмешалась Софья Петровна, учительница математики и заодно руководитель их драмкружка: «Как вы не понимаете?! Это же политически неграмотно!»

Марик только рассмеялся в ответ на его рассказ: «Разве ты не видишь тут параллелей? А вот ваша математичка увидела!»

Тёма невольно усмехнулся, — ну и наивен же он был в ту пору. И как только Марку хватало терпения с ним нянькаться? Раз как-то взял с собой на рыбалку на Истру, — тряслись в болезненной электричке. Не то чтобы он был заядлый рыбак, просто посидеть с удочкой, развести костерок, сощуриться осеннему солнышку...

По-над дальним лесом вспыхнула, повисла осветительная ракета. Тёма невольно поёжился и огляделся по сторонам. Последние дни было особенно беспокойно в округе, караулы удвоили, поползли слухи о диверсантах и перебежчиках, а вот кто из них кто, поди разбери. На прошлой неделе случилась история: вышел обрыв связи на линии, и они с Сашкой прозванивали провод, когда наткнулись на невзрачного мужичка с корзинкой. Он вроде как грибы собирал в перелеске. «Только вот какие ж грибы в начале лета? — подумал Тёма. — Да и корзина у него странная, как на картинке из букваря. Пришлось отвести в штаб, пусть прояснят, что за гусь. Бог знает, что там выяснилось, но комполка Бывалый объявил им благодарность перед строем за проявленную бдительность.

С Сашкой-то они познакомились ещё на учебных сборах. К ним тогда в качестве тягловой силы приписали рядовых из осеннего набора. Радиостанция и сама без малого пуд тянет, да ещё запас батарей — потаскай-ка! Ребята прозвали их неграми. Сашка не обижался — подумаешь, ну негр и негр, чего тут такого? Не еврей же.

Сам он тоже был москвичом, как и Тёма, правда, обитал где-то у чёрта на куличках, за Рогожской заставой. Тёма в тех краях и не бывал ни разу.

По слухам там проживал в основном рабочий люд — слесари, жестянщики, железнодорожники... — те, что попали в столицу по случаю. В общем, Тёма не больно-то умел общаться с такими, да и чего бы он там забыл? Не то чтобы он считал себя выше, нет, просто они были слеплены совсем из другого теста. Но с Сашкой на удивление проблем не возникло. Сашка был обычным центровым парнем откуда-нибудь со Сретенки — гонял в футбол, мотался в кино, в общем, всё как обычно. А то, что он был на два года моложе, ничего не значило. Даже и к лучшему.

А то ещё было дело — припомнилось Тёме, — в соседней части, говорят, отравили обед — полсостава животами маялось. Якобы диверсант, переодевшийся в красноармейскую форму какую-то дрянь в котёл подсыпал, да с количеством не рассчитал. И чего только бойцы не набрешут? А ещё о войне говорили, о будущей. В их палатке для младшего комсостава только и пересудов, что о ней — ну когда же уже? Скоро ли? Скорее бы начинать!

Тёма о войне мало думал, ну... почти не думал. А чего о ней размышлять? Такой, как её крутили в кино, точняк не бывать — эту глупость только на пионерских утренниках показывать, а другой... — другой он понять никак не мог. И в самом деле, что есть война? Что у неё в основе? А в основе у неё дух справедливости, дух возмездия, — рассуждал он. — Без него, без этого духа, это уже не война, а обычный разбой. А для разбоя не солдат нужен — бандит, насильник. Ну заняла Германия пол-Европы, а нам-то что прикажете делать? Освободительный поход начинать? А нас кто-то просил? Звал на помощь? Да вроде никто не звал.

Нет, там, в Кремле, что-то другое затевали — не мог же Сталин не понимать таких элементарных вещей.

У Тёмы всегда так: когда сам с собою спорил, мысли путались, сбивались. «Эх, — вздохнул он, — вот бы Марика сейчас сюда! Хотя бы на часок... поговорить, поспорить...»

Он ещё потом и в палатке долго не мог заснуть, ворочался с боку на бок, а в голове, словно в пустой бочке, стучало гулким чужим голосом: «Нет, нельзя нам самим начинать. Никак нельзя!»

* * *

В тот самый вечер, как Тёма задавался едва ли не Гамлетовским вопросом, который наверняка не давал покоя не только ему, одинокий всадник пробирался краем леса. Он уже третьи сутки трясся в седле и изрядно устал, но рассчитывал нынче к закату добраться до места. Сам-то он — невелика птица, всего лишь вестник, посланник, но приказ, что он вёз, должно было доставить в срок, и потому он спешил. В истории сыщется немало примеров тому, как запоздавшая, не вовремя переданная депеша меняла дальнейший ход событий. Кто скажет, чем бы всё обернулось, если бы не такая предательская задержка. Хотя, с другой стороны, может, это само провидение так исхитрилось, выдернуло из колоды насмешника джокера? Как знать. Так ли, иначе, но любые рассуждения на эту тему ущербны, потому как ни у единой души нет ответа на вопрос: «Что было бы, если бы?..»

Здешние места хорошо знакомы всаднику, прежде он не раз ездил здесь по различным надобностям. Справа тянулся пологий лесистый увал, поросший сосной, слева — неглубокая лощина в пожухлой траве, а вдаль, замыкая горизонт, лежала синеющая гряда холмов — цель его устремлений.

Ему бы и скакать напрямки, серединой долины сокращая маршрут, но он правил, прижимаясь к лесу, стараясь оставаться незамеченным. Мир для него был полон тайн и опасностей, и неясная граница леса и поля, эфемерная граница света и тени служила ему надёжной защитой от неизвестности. Такую уж стезю он выбрал. Или стезя выбрала его? Вопрос спорный.

Конь его тоже был не без странных кровей. Наперво стоит отметить звезду, но не совсем во лбу, а как бы чуть сбоку, вокруг левого глаза, отчего он походил на этакое предводителя конского дворянства с умным моноклем. Но главную особенность таил его корпус. Начинаясь чуть ниже холки и до самого крупа, тянулись узловатые связки то ли мышц, то ли жил, будто под кожей прятались некогда росшие там крылья. Будто это и не конь вовсе, а потомок древнего Пегаса. Впрочем, он и кличку носил такую же — Пегас, видимо, в память о древнем, давно позабытом предке.

Конь и всадник, безусловно, понимали друг друга и двигались осторожно, почти бесшумно. Всякий раз проезжая мимо очередной сосны, Пегас едва ли не тёрся об её ствол, одновременно выцеливая своим моноклем следующую лесину. Со стороны такая нарочитость могла вызвать разве только усмешку, но у неё была своя и очень веская причина. Дело в том, что некоторое время назад оба они — и конь, и всадник — заметили неясную тень. Ну подумаешь, тень, мало ли, чего не бывает? Померещилось... Но она упрямо следовала за ними противоположным краем долины, изредка теряясь всё в том же местном сосняке. Лишь позже, к полудню, когда долина заметно сузилась, удалось разглядеть в этой тени другого такого же всадника. То, что это был враг, теперь уже не оставалось ни малейших сомнений. И двигался он скрытно и осторожно.

Тут взбурлило целое море объяснений, но ни одно из них не предполагало благоприятного исхода. Да и времени оставалось в обрез — до вечера или до конца долины, — смотря как мерить. Разумеется, можно было бы подняться на увал, скрывшись в сосняке, чтобы избежать стычки. Но неизвестно, как поведёт себя противник. Не воспользуется ли он таким преимуществом? Скорее всего, бросится следом, и тогда окажется за спиной. Устроить ему засаду? А что если его цель совсем другая? Если он просто хочет опередить? Тогда он получит явную фору. Будешь таиться, выжидать, а он тем временем окажется далеко впереди.

Вопросы, сомнения роились как мухи. Нет, только не поддаваться минутной слабости! Надо придерживаться прежней тактики — постоянно держать его на виду, — по крайней мере, так можно мгновенно среагировать на любой шаг.

А ложе долины неуклонно сжималось. Бросая короткий взгляд, всадник уже мог различать винтовку за спиной врага. Интересно, сумеет ли он упредить его выстрел? Не станет же тот стрелять на скаку? Или станет? Невольно потянулся рукой за спину, ощупал своё оружие — старенький верный маузер — пять патронов. Нет, он не позволит какому-то проходивцу одержать верх!

Не для того он тут третий день стаптывает подковы. Чтобы какой-то там недоуздок диктовал ему свою волю?! Такому не бывать!

Он подхлестывал гордыню, но злоба никак не закипала. Весёлый азарт — кто кого? — и только.

Выстрела он не слышал. Лишь уловил краем глаза короткую вспышку, и тут же хлопнул, сдавил шенкелями Пегаса. Конь рванулся, фыркнул, забрызгав слюнями. Пуля чмокнула в ствол где-то чуть в метре сзади. Вскинул на ходу ствол, выстрелил почти не целясь, но не в него — в коня, а этот... этот пусть поживёт пока. Пускай-ка пешком помучается.

И тут же несколько злобных пуль просвистело рядом, но это уже так... несерьёзно. Это уже вдогонку, дрожащей рукой.

Солнце ещё не село, но холмы погружались в глубокую тень, когда он начал подъём. Сочила надежда увидеть заходящее светило над океаном. «Как когда-то на Патмосе», — улыбнулся он стародавним воспоминаниям. Его всегда волновал этот тонкий момент слияния. И что греха таить, он искренне завидовал морякам — они могут наблюдать это чудо каждый вечер. Было время, он тоже мечтал о море. Не срослось. Судьба задала другую загадку. Но он не унывал — ничего, как-нибудь в другой раз.

Неожиданно на середине подъёма в неглубоком сухом распадке возле самой тропы сверкнул костерок. Сквозь ветви он различил две печально поникшие фигуры в грязной серовато-зелёной форме. «Неужто уже началось?» — промелькнуло сомнение. Принудил коня, крикнул весело:

— Здорово, служилые!

Один, что помоложе, даже не поднял головы, а другой с сединою в усах поманил скрюченным пальцем.

— Выпьешь с нами? У меня ещё осталось во фляге.

Поморщился, мотнул головой.

— Я при исполнении и спешу.

— Не русский, что ли?

Скривил усмешку в ответ.

— Тут за мною пойдёт один. Задержите его, он с вами точно выпьет, — и тронул поводья.

Слышал, старший было крикнул в спину: «А ты кто такой, приказывать?» Но младший отвлёк его странно гнусавым фальцетом: «А закусить бы чем?»

— На, гляди вот!

И опять гнусавый:

— Это же эльфы, их так нельзя.

— Можно, они как сосиски, — хмыкнул старший и густо закашлялся. — А какие у нас были сосиски на Моссельпроме — пальчики оближешь!

А больше уже было не разобрать, голоса потонули в тёмном лесном распадке.

* * *

На краю земли, на самом дальнем её краю, там, где по слухам лежат пределы обращения светил и слышно, как пронзительно скрипят петли мира, проворачивая день календаря, и где океан вынужден вечно отстаивать право первородства у суши, там, на вершине величественного утёса, сидели трое. Одеты они были неброско — наподобие древних бродячих философов — в грубые некрашенные хламиды, ниспадающие до середины икры, и простенькие сандалии на козьей коже; одеты они были так, что при случае вполне могли бы сойти за героев рублёвской «Троицы» с известной иконы, если бы не их занятие. Впрочем, само их пребывание на этой вершине не было вызвано никаким мистическим актом и носило абсолютно иной — прозаический, а то и вовсе практический — смысл. Они играли. Вот только угадать их игру, её характер и значение вряд ли представлялось возможным. Сидя по сторонам внушительных размеров треугольника, вырубленного прямо в камне скалы и разлинованного вроде шахматной доски, они время от времени передвигали по клеткам искусно вырезанные фигурки, не соблюдая при этом никакой очерёдности, и, казалось бы, совершенно не обращая внимания друг на друга. Случалось, один такой ход затягивался на всю длину человеческой жизни, а другой был молниеносен, как удар кобры. Движения рук скрещивались, переплетались, фигурки смешивались, падали, выставлялись новые, и оттого всё действие выглядело сумбурным, непонятным, лишённым какого бы то ни было смысла. Единственное, что мог бы почерпнуть из наблюдения за их игрой сторонний наблюдатель, — фигурки, которыми манипулировал каждый, были одного определённого цвета. К примеру, тот, что сидел спиной к океану, играл белыми, а двое других — чёрными и красными. Да и сама внешность играющих тяготела именно к этой своей цветовой гамме. Впрочем, никаких таких наблюдателей поблизости не замечалось, местность была исключительно безлюдной.

Странной и загадочной была их игра, и такими же тайными, тёмными были их речи.

— Ты, Андвари, никак решил поквитаться за прошлое? — усмехнулся один из игроков, глядя на ряд выстроившихся против него чёрных фигур.

— А разве ты должен упрекать меня в этом? — сощурился тот, упирая на «ты». — Пусть бы это сказал Галейон.

Тот же, кого назвали Галейоном, промолчал. В некоей прострации он печально наблюдал за белыми фигурками, забившимися в самый угол. И тогда опять заговорил визави Андвари.

— Эй, Андвари! Так ты готов принять битву?

Повисла довольно мучительная пауза. Она была наполнена жалобами чаек и дрожью скал под натиском неистового прибоя. Наконец, прозвучал ответ.

— Вот что я тебе скажу, Абарис. Когда умолкнут барабаны войны, мы с тобой будем равны перед Судьёй. Судья высоко сидит, далеко видит. Камень под ним не пошатнётся.

— Глупости! — отрезал тот, — Я никогда не позволю замолчать своим барабанам!

При этих его словах Галейон непроизвольно вздрогнул, но не проронил ни слова, а Абарис меж тем продолжал.

— Посуди сам, чем ты станешь заниматься без нашей игры? Разводить штамбовые розы в своём палисаднике? Ходить на охоту со спаниелем? Вырезать профили гостей из цветной бумаги? Во что превратится твоё жалкое существование? Игра — это жизнь, мой друг! Игра — это всё, что у тебя есть.

— Разве ты никогда не мечтал об отдыхе, об уюте? — тихо процедил Галейон, с явной неохотой отрываясь от своего уединения.

— Ненавижу слово уют! Уют — это толстый бургер в халате и тапочках с кружкой подогретого молока. Можешь нарисовать более мерзостную картину? Когда-то он был молодым пареньком в шортах, карабкался по горам, целовал девчонок, гонял мяч во дворе, а теперь обрюзг и обленился. И ты мне предлагаешь помечтать об этом?! Да всё твоё стадо это и есть такие же в точности бургеры, — презрительно фыркнул он, ткнув подбородком в сторону белых фигурок, и рассмеялся.

— Что поделать, возраст всегда берёт свою дань, — печально улыбнулся Галейон, бережно поправляя белую паству.

— Угу, вот только кто-то явно спешит уплатить её впрок, — хмыкнул в ответ Абарис.

Разнообразие в этот их заунывный диалог вносили беснующиеся чайки. Некоторые едва не задевали их крылами. По временам на скалу рядышком подсаживалась какая-нибудь очередная воровка. Целила глазом, выглядывая, чем поживиться, но, не найдя тут никакой добычи, издавала пронзительный крик и срывалась в бездну.

А с недавних пор повадилась ещё и другая напасть. В солнечные часы на отдельных фигурках стала отчётливо проступать плесень. Она вполне могла бы сойти за пену прибоя, если бы не смертельная высота — невозможно даже вообразить, чтобы сюда достигали брызги бушующего океана. А меж тем плесень день ото дня множилась, росла, поражая всё новые строи на поле. Вдобавок она принимала цвет той фигурки, на которой поселилась, — такая вот удивительная мимикрия. Надо заметить, что и ложилась она неравномерно. Более всего доставалось фигуркам Абариса и Андвари, тогда как белое воинство оставалось почти не затронуто. Возможно, Галейон, сидящий спиной к прибюю, защищал их от дурного поветрия? Хотя вряд ли плесень была как-то связана с влиянием океана.

Озадаченные игроки боролись с этой заразой, как только могли — скребли, тёрли, — но всё было напрасно. К тому же Иберий, посланник Судьи, передал строгий запрет — плесени не противиться, придёт время, она исчезнет сама собой. Посему выходило, что это такая «награда» свыше, Судья посылает им очередное испытание.

Но уныние и смирение с неизбежным, даже если это проделки самого Судьи, недостойны бывшего игрока, — тут, если уж не монах, так пересмешник. И вот в пику высоким помыслам родилось иное, скоморошье — родилось соперничество: а которая плесень лучше? Чёрная или красная?

— Чёрная, разумеется, строже. Чёрная плесень — это стиль! — уважительно кивал Галейон, причмокивая языком. — А что красная?.. Тоже неплохо, к тому же оригинальнее — на кетовую икру смахивает.

Он всегда умел подбодрить обоих.

Абарис же, склонившись, припав щекой едва ли не к самой доске и немного кося глазом, прошипел вкрадчиво:

— А вы что наострились, олухи? Царь небесный не для ваших ушей вещает. — И вдруг выпрямился, взорвался: — А ну-ка, цыц! Смирно! Встать на свои места! — рывкнул он, распугав чаек.

И мгновенно по всей красной колонии пронёсся трепет, и фигурки застыли в немом оцепенении.

— Хуже того нет — свою паству баловать. Совсем страх потеряют! — назидательно произнёс он, потирая руки, и повёл головой в ожидании возражений.

Галейон и возразил:

— А зачем страх человекам?

— То есть как это зачем?! Как зачем? Страх — это самое настоящее, самое сильное чувство, какое только и можно себе придумать.

— Разве не любовь?

— Любовь — цветок, любовь увядает, — отмахнулся Абарис, сморщившись. — А страх... страх, если хорошенько припугнуть, он на всю жизнь. Вот скажи, брат Андвари, — обернулся он ко второму соседу, — бывало ли когда такое, чтобы ты ничего не боялся, ну вообще ничего? Чтобы жил без страха? Чтобы вскочил и крикнул на всю вселенную: «Эге-гей! Я ничего не боюсь!»?

— Что-то не припомню такого, — усмехнулся тот. — Вроде бы не кричал. Да и, не ровён час, услышит кто. Мало ли что подумают...

— Вот я и говорю, — перебил Абарис. — Страх острее любого кинжала. Страх — это лучший погонщик, лучший кнут для стад!

— Для стад! — фыкнул Галейон. — Разве вот это вот стада? — и повёл широко рукой над всем полем.

— Разумеется, — бросил Андвари, — а что же ещё, по-твоему? Человецы неразумны есть. Куда их погонишь, туда и пойдут.

— В прошлой жизни ты тоже так думал?

— В прошлой жизни? — усмехнулся тот. — А была ли она, прошлая жизнь?

— Кажется, к нам гости, — перебил их затянувшуюся перепалку Абарис.

* * *

«Ну-ка, солнце, ярче брызни, золотыми лучами обжигай!» — мурлыкал себе под нос Тёма, а сам крутил солнышко на перекладине. Здоровский турник смастерили артиллеристы, честь им и хвала — прикрутили меж стволов старенький кардан — всего и делов-то. Зато теперь весь полк не нарадуется. Днём и не подступись — очередь, как за пивом в ЦПКиО, а вот ежели с утречка, да до подъёма — то крути не хочу.

И-и-раз, и-и-раз, крутил Тёма: «От всех границ ты их отбивай! Левый край! Правый край! Не зевай!» Вот же ж, привязалась песенка,

не отвяжется. С чего бы? И вспомнилось, так вчера ещё прицепилась, аккуратно об этом и думал.

«Политически неграмотная песня, — сказал бы замполит. — Не про вратарей надо теперь петь, а про нападающих. Вот какая перед нами задача стоит, товарищи бойцы!» Так бы вот прямо и ляпнул, не ходи к гадалке. На каждую политинформацию прибежит — сухопарый, подтянутый: «Ну, как настроение, товарищи бойцы? Огурчиком?! Готовы бить врага на его территории?» Ага, они-то и готовы, быть может, покуда до дела не дошло. А там посмотреть будем, какие из них вояки.

Накувыркавшись вволю, Тёма пружинисто спрыгнул и собрался было на ручей, успеть купнуться до подъёма, до построения. Утренняя водичка вышибает сердце из гнезда! И он уже предвкушал студёную прохладу на разгорячённом теле, как словно из-под земли вырос перед ним помощник дежурного по полку: «Товарищ помкомвзвода, разрешите обратиться. Вас вызывает к себе комполка. Срочно!» И, переходя на доверительный шёпот, добавил: «Из штаба армии звонили».

Бывалый, видно, только что встал и встретил его не по форме. Майка навывпуск поверх галифе, бритва в одной руке, полотенце в другой — правая щека выбрита, левая ещё в пене, — стоял он возле своей палатки перед складным зеркальцем и наводил марафет. Оттого и заговорил не по уставу, а почти по-приятельски, запанибрата:

— Значит так, Тёмыч, берёшь с собой Белозёрова и дуешь прямиком до станции, на вещевого склад к Соломону, радиостанции получать. Полуторка будет ждать через полчаса у штаба. И проверь там батареи на месте, не забудь, а то подсунут какую дохлятину, сам знаешь. Ну да ты парень грамотный, чё тебя учить? Думаю, суток-полутора хватит обернуться. Вопросы есть?

Пока выговаривал задачу, продолжал бриться и, надувая щёки, корчил себе такие рожи в зеркало, что Тёма невольно прыснул, но вовремя прикрыл рот ладонью и погасил улыбку. Закончив, обернулся, ожидая вопросов. Теперь он сверкал обеими щеками, как надраенный самовар.

— Белосельцев, товарищ майор. Белосельцев его зовут.

— Белосельцев, Белозерцев, какая, хрен, разница? — отмахнулся он. — Одним елеем мазаны. Ладно, беги уже! Да не забудь там сухпаёк получить у старшины, товарищ сержант, — крикнул ему уже вдогонку Бывалый.

Ну вот, и до радиостанций дело дошло, — размышлял на ходу Тёма. Значит, уже скоро, уже вот-вот! Он знал, знал не из приказов, а по своей неведомой солдатской почте, что любую радиосвязь Жуков настрого запретил. Запретил ещё при выдвижении к границе, а уж тем паче здесь, во всей тревожной приграничной полосе. Только по старинке, по телефону. Чтобы ни-ни! Ни слова врагу! Так что будьте любезны, ставьте столбы и тяните провода, граждане, в смысле, — товарищи бойцы. Не ленитесь! Или, на худой конец, прикапывайте кабель.

Наперво Тёма растолкал Сашку, до подъёма оставалось ещё минут пять. Тот долго ворчал спросонья: «Такой сон досмотреть не дал! С батей рыбачили,

здоровущая щука взяла, вот таковская, — раскинул он руки, — ну совсем почти вытащил, а тут ты...»

Потом бегом на кухню, успеть хоть чаю глотнуть на дорожку. Сухпак забрать опять же, всякое другое по мелочи. За всей этой беготнёй одно не давало покоя. Он никак не мог прикинуть, далеко ли до станции? Сюда-то ночами шли — маскировка. И с полной выкладкой — пошагай-ка! Сообразишь тут расстояние разве? Тут ещё и лишних вёрст себе нарисуешь. Только и запомнилось, что редкие притихшие деревушки без единого огонька, перелески, болотца, темнотища — глаз выколи, да пыль скрипит на зубах от тысячи солдатских сапог.

Юрка-шофёр поведал, что до станции часов пять-шесть пилить, не меньше, и то ещё если повезёт, если мотор не барахлит и дорога не забита. С Юркой он не был знаком, впервые видел. Вроде ничего паренёк, только что по весне призвался. И с машиной дружит, сразу видеть.

Сам-то Тёма по колёсам не очень... всего пару раз за рулём и доводилось сидеть на сборах. «Именно что сидеть», — усмехнулся он, потому как с управлением машиной получалось у него туговато. Совсем не то что со связью. Вот с ней-то как раз проблем не возникало. В учебном комбинате связи он был первым в своём выпуске. Чуть что, всегда его в пример приводили — Артём Панин. И на стенде в холле, где про достижения, его фотография на самом видном месте висела — «Артём Панин — равняйся на лучших!» Сколько себя помнил, именно к лучшему он всегда и стремился в любом деле, за какое бы ни брался. Получалось это, правда, далеко не всегда.

Юрик, даром что молод, но вот же, шофёрская привычка — болтал всю дорогу без умолку. Из его пулемётной трескотни вылетало то одно, то другое. Большую часть Тёма пропускал мимо ушей, даже не успевая осмыслить, что-то другое оседало ненужным грузом, отвлекало от собственных размышлений. Так, например, отложилось, что дед того возглавлял рыболовецкую артель на Волге, что сам тот девятый в семье, а всего их одиннадцать сыновей и только одна девка, и что Кочёминых в Костроме любая собака знает.

А ещё отливал какие-то завиральные пули про Европу:

— А что, дед мне рассказывал, он всю германскую прошёл, у них там в каждом дворе по велосипеду, и всё чисто, брусчатым камнем выложено — бабы ихние что ни день с мылом моют. А чтобы лошадь где, навоз — ни-ни! Мальчонка со специальным совком бегаёт, всё подбирает.

И чуть погодя:

— А как думаешь, скоро нас на запад поведут?

— Ты спешишь разве?

— А что я видел-то?! Что я видел? Считаю, кроме своей Костромы, ни хрена и не видел. Я и в армию-то пошёл, думал, посмотрю хоть на мир, что ли. Знаешь, у нас как бывает, пароход проплывёт мимо, белый, двухпалубный, аж светится весь, а там музыка, песни, люди гуляют нарядные. И думаешь, вот же ж, жизнь где-то, а ты тут ничего и не знаешь, рыбой насквозь провонял. Когда призывали уже, говорили, через Москву повезут. Ну, думал, насмотрюсь вволю. Ага, насмотрелся! Как же! Теплушку-то забирали, небось, чтобы

кто не выпал. Да и ехали всё ночами — только фонари по щелям мелькают. А днём на какой-нибудь станции отстаивались — опять-таки за вагонами не разглядишь ни черта. Старшина фамилии начнёт выкликивать. Кого назовёт, те выходят, а мы дальше едем. На какой-то станции и меня назвали. Слышу — Кочёмин, — кричат, — на выход с вещами. Там на шофёра учили, а потом уж сюда перебросили.

— Забавный ты парень, гляжу, — хмыкнул Тёма.

— А чё забавный-то, чё? У нас, если не служил, так позор один, и девки любить не будут. Ты это, значит, того — дефектный, коли комиссии не прошёл. А то вон у нас есть один — в армии не был, а инспектором в рыбохране работает. Ещё и оружие выдали, как же? Такой пройдоха, всё вынюхает, любую снасть учует! Перша — так его кличат. У него фамилия-то то ли Першев, то ли Першнев, толком не знаю. В нерест не лови, перемёты не ставь, на ямах тони не делай, ячея не меньше вершка — одни запреты! А с одной тони много ли наловишь?

Юрик распахнул дверь, сплюнул и выругался.

— У него катер «Калоша». Как мимо едет, кошку бросит и багрит — одну сеть зацепит — вернёт, а что больше, так себе заберёт, собака. У деда миномёт закопан за амбаром, и мины есть — ещё с германской хранит. Мы с пацанами хотели на берегу поставить — у нас берег высокий, далеко видать. А как увидим, что калоша эта плывёт, прицелиться и жакнуть. Молодой был, дурак ещё.

— Почему же дурак?

— Ну, не знал, как миномёт стреляет, думал, пушка такая.

— И что? Не попали?

— Да, нет, не нашли даже. Всю поляну перерыли — дед там потом картошку сажал. Я так думаю, обманул, наверное. Где-то в другом месте спрятал.

— А зимой что?

— А что зимой, не понял.

— Ну, ты про рыбу говорил, что ловили.

— А... зимой-то? Так и зимой ловля. Лёд пробьёшь, когда встанет, и подо льдом. Зимой ещё проще — зимой калоша не приедет и рыба не портится, хошь, впрок таскай.

Тёма непроизвольно зевнул, и Юрка, покосившись в его сторону и плохо скрывая обиду, заметил:

— Это ничего, что я так много болтаю?

Тёму, разумеется, притомила Юркина болтовня, но обижать его он вовсе не думал.

— Слушай, я тут подремлю немного — ночи чуть-чуть не хватило, — он привалился к сиденью, расслабился и закрыл глаза.

Ну в самом деле, что тут ему ответить? Деревенский парень, мечтает мир посмотреть, повоевать. По-другому себя и не видит, не знает. А интересно, кто-нибудь это знает? Хотя бы одна живая душа знает? Должен же знать кто-то. Хоть кто-то...

Вчера он так и не додумал что-то важное про войну, про то, как она вдруг случится. А то, что она непременно случится, прото любой собаке известно, не ходи к гадалке. Не то чтобы о ней как-то особенно спорили, нет, скорее

молчали и даже противились подобным рассуждениям, гнали прочь дурацкие мысли. Но они, эти мысли, существовали уже помимо людей. Будто какое-то неведомое устройство транслировало их наподобие того, как радио транслирует «Марш энтузиастов». Вряд ли кто-то мог определённо сказать, когда это всё началось, он вспоминал и не мог вспомнить. Первое, что цепляла память, был плакат на глухом торце дома на Сретенке по дороге в школу. То было пусто, и он даже не обращал внимания на этот невзрачный домик, но с некоторых пор вдруг появился плакат, не просто плакат — плакатище! — высотой этажа в три. Крепкие загорелые парни зывали с него: «Комсомолец, будь готов к обороне, учись стрелять метко!» Потом на мрачном заборе возле Трубной появились кузнец и сталевар, скрестив кисти рук, один с молотом, другой со здоровенным железным крюком, они докладывали: «Куём мечи Родины!» И даже глупый малыш в обнимку с игрушечным глобусом: «Весь мир будет наш!»

И следом понеслось: танки, самолёты, орудия, противогазы — всюду, куда ни глянь. Поначалу они были в диковинку, после стали мозолить глаза, а потом и вовсе приелись, смотрелись обыденно, и он перестал замечать их. Но по радио гремели бравурные песни, и фильмы крутили всё больше о войне — о будущей войне, следовало полагать.

Вот только что это будет за война и как она начнётся, — об этом молчок! Об этом не знает никто. «И даже ОН? Даже ОН не знает?» — задавался вопросом Тёма.

По крайности, в размышлениях с самим собой он не любил называть его по имени. Просто ОН, и всё, и так понятно. Отчего так сложилось, уже и не помнил, — какие-то детские причуды, страхи, стеснение, стыд... — так и представлял ЕГО, по рассказам взрослых, как сидит допоздна в Кремле под ленинской зелёной лампой. Вот сидит он у себя в Кремле, в кабинете, и двигает по карте, как пешками, полками и армиями. Этот корпус — на Белостокский выступ, эту дивизию — развернуть на Восточную Пруссию. Или нет, не так. Так, скорее, орудуют Жуков и Тимошенко, а ОН — ОН выше этого. У НЕГО магия цифр. ОН колдует над датами, жонглирует числами — когда? сколько?

То ли под свои размышления, то ли под Юркину болтовню вроде как действительно задремал — укачало. И сам не понял — воспоминания накатили или просто сон такой? Тёма помнил, был снег и темно, ехали на санках какими-то чужими дворами, за сугробами, он не знал дороги, а дядя Миша дал им палочки — Тёма давно хотел такие, точно такие, можно даже и без барабана стучать. А дядя Миша, он был очень старенький, — дядя Миша Вышеславов, так называли его мама с папой, он был каким-то дальним родственником — Тёма не запомнил каким, он тогда вообще не разбирался в родне, хотя его и пытались настойчиво приучить. Обычно дядя Миша усаживал их на колени, колот щетиной, пах одеколоном и ещё чем-то незнакомым и приятным, рассказывал про охоту. Особенно любил про зайцев рассказывать, он называл их «зайчики» или даже «зайчата», таинственно шурился и всякий раз обещал взять с собой на охоту, когда они подрастут. «Нынче-то уж поздненько, да и снег почти сошёл. Вот уж на следующий год и поедем», — говорил он. «Только, чур, пока это тайна, — и подмигивал, прикладывал палец к губам. — Не выдавать!»

«А ну-ка, барабаны, барабаньте! — гаркнул дядя Миша, будто на тачанке, и пропел: “По долинам и по взгорьям шла дивизия вперёд”, — а по тому, как вы барабаните, по звуку, я пойму, выдали вы меня или нет». И они принялись усердно колотить палочками по льду, по дороге, по забору, по чему придётся. Но надо же было какой-то мотив выстукивать, а Тёма не знал и придумывал что-то своё, словно что-то такое слышал. Ехали к Татарским, к дяде Вадиму и тётке Люсе, им так сказали. Ехали долго, он даже замёрз немного, и людей совсем не было. Из подворотни выбежала дворовая кошка с голубем в зубах и тут же нырнула в темноту. В низеньком одноэтажном доме мелькнул свет, это тётя Люся выглянула из-за тяжёлых штор. Он называл её про себя квадратной, хотя скорее она была прямоугольной или ещё лучше — угловатой, но таких слов он тогда не знал и потому называл, как умел. А дальше тёмная прихожая с ковриком на полу, им дали веник сбивать снег с валенок, а тётя Люся помогла им раздеться. А потом ещё был чай с сухарями и взрослые разговоры, но это уже неинтересно, и этого он не запомнил.

Очнулся Тёма неожиданно — грузовик сильно потрянуло на колдобине. Проезжали невзрачную деревеньку. Она казалась совершенно заброшенной, вымершей — ни людей, ни скотины, двери настезь...

— А где же люди? Куда попрятались? — невольно вырвалось у Тёмы.

— Так забрали, — Юрка зло крутанул баранку, объезжая брошенную посреди дороги телегу, и выплюнул за борт папиросу.

— Как это? Кто забрал?

— На прошлой неделе было, на станцию гонял за продуктами, остановили, проверили документы, велели ждать. Я часа два курил, наверное. Подогнали подводы и увезли всех до одного. Я внизу за пряслом стоял, далеко было, не особо видать.

— А куда увезли? Зачем? — дурацкий вопрос задал. Вырвалось. Он уже и сам догадался.

— Так война же будет.

— И в самом деле, — хмыкнул Тёма, — всё ясно. Глупость сморозил. Не проснулся ещё, наверное.

Через минуту они снова нырнули в лес.

«А вообще-то ничего не ясно! Ни черта тут ясного нет!» — спохватился он. Если верить всему, что твердят командиры, что талдычит всякий раз замполит про «бить врага на его территории», то при чём тут, спрашивается, советские деревни? Это же в глубоком тылу окажется! Зачем же людей выселять, гнать не пойми куда? Чем они помешали? Ерунда какая-то получается. «Вот ведь, — ворчал Тёма, — и поговорить толком не с кем. Ни у кого не спросишь». И опять же Марк вспомнился. А что бы такое он мог ответить? Что? Его и самого-то неизвестно куда уехали. «Ну, нет... — возразил самому себе Тёма, — Марк бы догадался! Он бы сообразил, в чём тут дело». На память пришёл один случай. Новогодний бал-маскарад в школе — это уже в выпускном классе случилось, — Тёма тогда в чёрном капюшоне палача появился. Правда, сразу надеть его не рискнул: боялся, не пустят. К тому же он пригласил с собой Александру, дочь маминой подруги, а она была в простой полумаске

и совершенно не в курсе его затеи. Он не знал, как она себя поведёт — предприятие готовилось в строжайшей тайне, — вдруг не пойдёт, заупрямится. И вот, улучив момент, в тёмном углу он напялил на себя капюшон. Сказать, что Александра перепугалась, — не сказать ничего. Да и не только она одна — все гости боязливо шарахались, завидев его мрачную фигуру. Но кульминация вышла чуть позже, когда навстречу им в коридор вырулил сам Пал Иосифович — директор школы. «Снимите немедленно эту гадость!» — только и выдал он из себя.

Разумеется, на глазах директора он разоблачаться не стал — сделал это чуть позже в таком же укромном местечке. И всё-таки кто-то прознал, проболтался... Через несколько дней его выдернули на ковёр, на комсомольское собрание. Экзекуцию проводила Людочка — старшая пионервожатая, а по совместительству ещё и комсорг. Люда, улыбка верблюда, мечта физрука, о чём похихатывала вся школа. Ну и, ясное дело, Панин Артём — едва ли не главный враг народа! В то время как вся страна напрягается... Марик давился смехом, когда Тёма пересказывал ему эту картинку в лицах: «А зачем ты на это собрание потащился?» — «А что было делать?» — «Ну, не знаю, не знаю... “Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых”». — «Откуда цитата?» — «Это из Псалтыря». — «Ага, у нас только не приди, попробуй! И вообще я не понял, чего они все так взъелись? Палач — это недопустимая фигура разве? Это такой главный контрреволюционер?» Этот его пассаж опять позабавил Марка. «При чём тут палач? — рассмеялся он. — Чёрный капюшон — атрибут кагуляров. Не слыхал? Это французские профашисты, чтоб ты знал. Но ты же газет не читаешь, правда?»

Короче, Марк всегда был в курсе политики, он бы точно расшифровал это событие. «Но Марка теперь нет, — вздохнул он. Приходится всё додумывать самому».

* * *

Вовремя он успел. Солнце едва коснулось зеркала океана, и сияющая дорога протянулась до самого горизонта, когда добрался до вершины холма. На фоне сверкающего золотом заката братья столпники выглядели силуэтами больших нахохлившихся птиц. Они будто замерли в тревожном ожидании или, может, в предвкушении грандиозных свершений.

— Здравы ли вы, братья? — приветствовал он их, спрыгивая с коня.

— Будь здоров и ты, Иберий. С чем нынче пожаловал?

Посланник приложил козырёк ладони ко лбу, щурясь от солнца, и долгим пытливым взглядом обвёл небосвод, словно выискивая на нём памятные ему приметы. Наконец промолвил:

— Судья требует начинать немедля, он не может бесконечно долго удерживать конфигурацию светил.

— Так и начнём, пожалуй, с рассветом. На ночь-то любое дело не впрок, — буркнул в ответ Абарис и сладко зевнул.

— Спи, да дело не проспи, — сощурился насмешливо Иберий. — Слыхал

я как-то про одного полководца, так бедолага умудрился проспять всю свою армию.

Галейон прыснул:

— Я бы, наверное, обиделся.

— Вот потому ты и играешь в самом углу, — выдавил ехидную усмешку Абарис.

Тот явно сконфузился, но достойного ответа у него не нашлось.

— А где же твой извечный скрытный дружок, где эта скользкая тень? — поспешил он перевести разговор в другое русло.

— Немед? — уточнил посланник. — Я отправил его длинной дорогой, он ещё не скоро сюда доберётся.

— Не понимаю, и чего ты до сих пор его терпишь? — нарочито возмущился Андвари. — Пустил бы в расход, да и дело с концом.

Иберий в ответ загадочно улыбнулся:

— Самый простой шаг не всегда самый верный. Чувствую, он ещё должен сыграть свою роль в этой пьесе.

— А давно он к тебе прицепился?

— Не знаю, я заметил его уже в долине.

— А вообще? С каких пор он за тобою следит?

Иберий неопределённо повёл плечами.

— Как только я стал посланником. Пожалуй, так. Порой мне кажется, он такой же посланник Судьи, как и я.

— Ты хочешь сказать, что Судья ведёт двойную игру?! — В чрезвычайном возбуждении Галейон даже вскочил с места и принялся расхаживать по самому краю обрыва. — И кто же тот второй, которому он служит?

— Нет ничего подобного! Никакого второго нет! — возмущился Иберий. — Немед не настоящий посланник. Ну, не совсем настоящий, — уточнил он. — Это как бы второе я Судьи, его Alter ego.

— То есть призрак?

— Какой ещё призрак? Никакой не призрак! Я бы сказал — некая сущность. Она проявляется как пустота, заполненная мыслью. Как некая сиюминутная данность, требующая к себе внимания и получающая через это своё существование.

— Я вот ни слова не понял, — обескураженно развёл руками Галейон, — поясни.

В то же самое время Абарис с Андвари напряжённо молчали.

— Ну, вот возьми, к примеру, Андвари, — начал Иберий и бросил быстрый, казалось, чуть насмешливый взгляд на хозяина чёрных фигурок. — Взгляни, как он предусмотрительно растянул свои войска вдоль всей линии. Он считает, что это весьма разумная стратегия, не так ли? Но в то же время он не может быть полностью уверен в действиях Абариса. А ну как тот соберёт свои силы в кулак и ударит в каком-то одном месте, как это делали древние римляне. Они называли такую тактику клином. Говорят, они выучились ей у македонян. Тогда он запросто прорвётся на его поля и будет творить там всё, что заблагорассудится. Андвари же не настолько глуп, чтобы не думать об этом,

правда? По этой простой причине его начинают одолевать сомнения. Внешне он твёрд и непреклонен в своих действиях. Внутренне же — слаб и нерешителен.

Он взял долгую театральную паузу и продолжил:

— Так вот, если он долгое время пребывает в такой раздвоенности, этот слабый второй рано или поздно пробьётся наружу, станет заметен. Достаточно кому-то извне обратить на него внимание, и он вызовет его к существованию. Через такое внимание этот слабый второй получает свою самость. Теперь он уже не просто сомнение Андвари, он нечто замеченное и, возможно, поддержанное кем-то ещё снаружи. Он получает право на своё собственное бытие, отдельное от хозяина. Он становится таким анти-Андвари. В примитивном мире мы имеем деление клетки, а в высшем мире это деление на образ и антиобраз. Главное, понять, что как только мы уделяем чему-то достаточное внимание, мы тем самым вызываем это к жизни, олицетворяем его, персонифицируем.

Иберий умолк, а Абарис достаточно бесцеремонно хлопнул товарища по плечу и расхохотался.

— Да уж, дружок, тебе не позавидуешь. Смотри держись! А то я как дуну, как плюну!

Андвари же в ответ демонстративно надулся и пробубнил:

— Ты, Иберий, в следующий раз выбирай для демонстрации другой манекен.

А поздней ночью, когда уже давно погасла заря и на небе высыпали все звёзды, которые только можно увидеть, на вершину пробрался Немед. Липкой тенью скользнул он вдоль игорного стола, поочерёдно прикиная к каждому из братьев. Неведомо что он шептал им той ночью, но доподлинно известны его слова, сказанные Абарису. «Начинающий проигрывает», — произнёс он едва слышно, и всё, и больше ничего — только эти два слова.

Он скрылся так же неожиданно, как до того это сделал Иберий, и тогда поднялся Абарис и нервно, но вместе с тем радостно потирая ладони, произнёс:

— Ну что же, отцы пустыnnики, кажется, игра начинается.

* * *

«И вот ведь ещё какое дело, — рассуждал Тёма, трясясь в кабине, — когда спорили с Марком, то он не давал соскользнуть с темы, и разговор катился как поезд по рельсам. А если что, Марк всегда возвращал его в нужную колею». В одиночку же у Тёмы так не получалось — задумаешься над чем-то одним, а в результате свернёшь неизвестно куда. И вот теперь, размышляя о начале войны, он старался удержаться в теме, а потому представлял Марка своим собеседником: «Требуется же какой-то повод к войне, верно? как его? — казус белли, — убеждал Тёма своего оппонента. — А какой тут вам ещё казус нужен, если приказано на огонь с той стороны не отвечать? Считать провокацией. Разве мало у нас таких поводов было? Вот бы и начинали».

А его незримый собеседник возражал на это: «Ну хорошо, представь, начнём мы войну в ответ на какой-то случайный выстрел, а оттуда нота: стрелял рядовой Ганс, девушка ему изменила, напился пьяным. Рядовой уже наказан,

инцидент исчерпан. Приносим свои глубочайшие извинения. А вы за войну сразу?! У нас же договор с вами подписан, ай-я-яй...»

«Смешно, — соглашался Тёма, — выходит, и нет у нас никакого достойного повода?»

«Выходит, что нет».

«А всё-таки война будет. Нутром чую! — упорствовал Тёма. — Она уже не может не быть. К ней столько готовились. К ней уже всё готово! Да что я — любого спроси, каждый солдат скажет. Но вот спроси ЕГО, *когда* начнётся, — молчок! Никто не знает. Загадка. Так как же?»

«Не получается этак, значит, предложи другой повод».

«А что если освобождение мирового пролетариата? Не сойдёт в качестве повода?»

«“Мировой пролетариат” — это фикция, надувательство. Для лозунгов и плакатов сгодится, для всяких там партсобраний, а как повод для войны — совершенно не годен. Разве кто-нибудь чувствует единство с мировым пролетариатом? Ты, например, его чувствуешь?»

«Ладно, а если без повода? Если просто взять и начать?»

«Тогда это уже не армия будет, а орда — ты же сам говорил об этом, — практически неуправляемая орда, годная лишь на мародёрство и грабежи. И боевые задачи такая армия решать не может. Тебе, к примеру, укрепрайон брать, а ты в соседнее село подался по девкам или куриц красть. К тому же, как только ты зайдёшь на чужую землю, так сразу окажешься врагом номер один, и тот же самый пролетариат, который ты пришёл освободить, с удовольствием всадит тебе пулю промеж глаз. Заметь, и ты бы на его месте поступил точно так же».

«Значит, остается одно — немцы должны напасть первыми».

«Ну, и им ведь тоже повод подавай, просто так начинать не резон».

«А как насчёт скопления войск на границе, а? Это ли не повод?»

«Хочешь сказать, что мы сознательно провоцируем Гитлера?»

«Ну да. А как ещё объяснить наше поведение?»

«Но зачем?! Зачем? Разве нам так нужна эта война?»

На этом месте он обычно спотыкался. Во-первых, терял свою партию в споре, уже толком не понимая, за кого играет? Где тут Марк, а где он сам? А во-вторых, и это самое главное, — зачем нам всё это? Действительно, ну зачем нам эта война? Разве нельзя жить в мире? Он слышал множество мнений на сей счёт. Но, пожалуй, самое простое и в то же время самое непонятное объяснение дал когда-то Марк. «Война — это неосознанная функция человеческой общности. Это как для отдельно взятого индивида пожрать или сходить в туалет», — сказал он однажды. С его слов выходило, что в войне заложена роковая неизбежность. Пришёл аппетит, и она стучится в двери, и ничего ты с этим не поделаешь. Это как Сцилла и Харибда — мимо не проскочить.

Разумеется, всё это никак не укладывалось в его собственные убеждения. Тёме-то всегда казалось, ещё немного, ещё чуть-чуть потерпеть, и кончится это дикое напряжение. Страна наконец выдохнет с облегчением, распрямится, стряхнёт с себя непомерную тяжесть. Наступит всеобщий мир, и люди станут

как братья друг другу. А иначе полная бессмыслица получается. Зачем, скажите на милость, возводить города, прокладывать дороги, разбивать сады, если завтра на фронт, если снова война, и всё это будет уничтожено, превратится в прах? Нет, война, конечно, возможна, но случайно возможна. Случайно! А если верить, что она неизбежна, то зачем, спрашивается, облагораживать жизнь? Зачем наводить красоту? Всё равно всё пропадёт пропадом. Просто готовься к следующей войне, вот и всё. И ничего другого, никаких отвлечений.

«То, что кажется бессмыслицей сейчас, в другой раз обретёт смысл», — возразил ему на это Марк.

«В какой такой другой? В какой ещё другой раз?»

Марк тогда ничего не ответил, но когда опять всплыла эта тема и Тёма высказал ему все свои накопившиеся возражения, тот срезал его, как учитель нерадивого ученика. Вообще-то, Марк был словно не от мира сего — чего его ни спроси, у него на всё был готов ответ. Ответ мог тебе не нравиться, ты мог его и вовсе не понимать, но это уже, как говорится, твоё личное дело. Марк не особо утруждал себя объяснениями. Но на этот раз объяснения последовали. «Если рассуждать, как ты, так и жить незачем — всё равно умрёшь. Впрочем, это уже философия — не твой конёк, верно? — хмыкнул он. — Погляди на ребёнка, который хнычет, что сломалась игрушка. Чего он хочет? Чего добивается? Что он требует от отца? Чтобы всё вернули на место! Чтобы снова стало как раньше, чтобы колёсико крутилось, ага?! Мы каждый раз отстраиваем свою жизнь заново, с нуля, а уж война тому помехой, или землетрясение, или ещё какой катаклизм — не суть. Проблема даже не в том, что с нами всегда что-то случается. Проблема в том, что мы не можем не реагировать на это».

Тёма чертыхнулся — опять он сбился! Свернул на сторону. Снова не получилось у него выстроить стройную, непротиворечивую версию. Версию начала. Как будто бы эта ещё не случившаяся война сопротивлялась мыслительному процессу — не желала укладываться ни в какую здравую логику. Отчаявшись докопаться до истины, он принялся бубнить себе под нос всякую белиберду, какую-то бессмыслицу вроде: «Карта — квартет, кварта — квартал, драка — драккар...» — ещё со школы глупая привычка прилепилась. Помнится, в науке это называлось то ли ононимы, то ли паронимы, чёрт их разберёт, но порой у него выходило что-то внятное, осмысленное, некие вполне законченные пассажи, вроде как «на устах устав» или «галл, смени галс». Кажется, под своё бормотанье он опять задремал. Очнувшись оттого, что Юрка тряс его за плечо: «Подъезжаем!»

Уже на подъезде к станции стало понятно, что быстро им тут не управиться. Всё пространство по обе стороны дороги было запружено техникой, людьми, лошадьми — пехота, связь, артиллерия, танкисты — кого тут только не было. Всё это порознь и группами складывалось в какой-то невероятно разношёрстный военный табор. У кого-то горел костёр, готовился обед. Где-то, не попадая в ноты, пищала гармошка. Люди пели, смеялись, кричали, курили, спали, растянувшись в тенишке, писали письма или просто сидели, погрузившись в свои размышления.

— Вавилонское столпотворение прямо, — буркнул себе под нос Тёма. И ткнул зазевавшегося Юрку: — Давай езжай скорее.

Но тут же невесть откуда выскочила, преградила дорогу, бойкая девчонка-регулирующая:

— Стой! Куда прёшь, окаянный?

Тёма высунулся из кабины, попробовал в атакующем стиле:

— Мне на склад! Срочно! У меня предписание!

— Тут у всех предписание, — хохотнула она и махнула своим деревянным жезлом в сторону, — и всем срочно.

— И что же прикажешь делать?

— Спрячь машину в лесочке и пешим строем топай до завсклада. Договорись сперва, а там и решать будем. Тут недалёко, метров пятьсот всего лишь. А у тебя что за груз-то, сержант?

— Радиостанции.

— Эко, радиостанции, — хмыкнула она, — дивы-бы снаряды.

— И кто ж тут у вас порядок такой завёл? Кто распорядился в прятки играть?

В ответ девчонка задрала голову и, прищурившись, ткнула пальцем в небо:

— Видишь, рама летает? Она тут что ни день шпионит, зараза. А ты спрашиваешь, кто распорядился. Немец вот и распорядился.

Тёма невольно проследил за её взглядом. Там, под самыми облаками, нарезал широкие круги немецкий фоккер.

Пришлось подчиняться. Машину, свернув с дороги, воткнули под здоровенную старую ель, и Юрик, заглушив мотор и оглянувшись на дорогу, осклабился:

— Эх, как бы я с ней погулял... — и многозначительно цокнул языком.

— Никакой перспективы, — помотал головой Тёма.

— Это почему это?

— Ну, сегодня ты тут, а завтра неизвестно где. По морям, по волнам, нынче здесь, завтра там, — промурлыкал он в ответ слова известной песенки.

— А мне бы и разочка хватило, — обиженно хмыкнул шофёр.

— Вот этот вот твой разочек как раз и расшифруют, как папа Карло расшифровал Буратино, — подхватил тему Белосельцев.

— Какой ещё папа Карло? Какой такой Буратино?

— Ты что, не читал «Золотой ключик»? И даже кино не смотрел?

— А к нам в колхоз кина не возят, — окончательно надулся Юрик. — Было пару раз, привозили «Чапаева» и ещё «Ленин в октябре», да и то не к нам — к соседям в Мотовилиху, у них клуб больше.

— Ты же вроде про Кострому говорил — там живёте.

— Не, это рыбу в Костроме торговали, а живём-то не в городе. У нас посёлок на самом берегу, на холме. Знаешь, сколько Волги видать от нашего дома? Вёрст десять, поди! От одного поворота до другого.

Посоветовавшись, Тёма с Сашкой отправились за разъяснением ситуации на станцию. Сашку было не узнать, он всю дорогу будто пританцовывал

от нетерпения. В кузове растрясло, что ли? — недоумевал Тёма. Наконец, тот не вытерпел, спросил:

— Как думаешь, горячим тут можно разжиться? — и он скрюченным пальцем почесал шею. — У меня ещё с мая всё пересохло.

— Ага! Лавку «Центроспирт» для тебя тут поставили. Прямо на перроне. Даже и не мечтай! — отрезал Тёма.

С трудом отыскивали нужный склад среди доброго десятка пакгаузов. Но и тут незадача: у ворот толпилась очередь — опять ждать! Время просто утекало в песок. Тёму всегда выводило из равновесия такое пустое занятие, как стояние в очередях, — ещё с самого детства повелось, когда мать таскала его в магазин за продуктами, или ещё в поликлинику, бывало. И уйти никуда не уйдёшь, и заняться абсолютно нечем. Стоишь разглядываешь какой-нибудь кафельный пол, считаешь разноцветные квадратики под ногами.

Соломон оказался на удивление гражданским лицом и вовсе не таким, как представлял его Тёма. Маленький, крепкий, плотно сбитый, загорелый под цвет шоколада с витрины Елисеевского гастронома.

— Значит, так, «эрбэхи» четыре штуки, — водил он скрюченным пальцем по своему засаленному талмуду, — батарей анодных четыре упаковки, плюс четыре резервных. — И тут же кричал кому-то в складскую темноту: — Эй, Лёха! Тащи сюда восемь комплектов батарей, второй ряд, самая верхняя полка!

Откуда-то из складских недр вылутился этот самый Лёха, а вместе с ним ещё стайка таких же салаг-первогодков, сгрузили весь скарб прямо перед Тёмой.

— Распишитесь, — Соломон сунул Тёме огрызок химического карандаша.

— Сперва батареи проверим.

— А чем я тебе проверю, сынок? Вольтметра у меня нет и отродясь не бывало. Не положен, видишь ли.

— А что есть?

— А ничего нет, — развёл Соломон руками. — Так что расписывайся за эти.

— У телеграфиста на станции есть, — выкрикнул сзади кто-то из Лёхиных подручных.

— Вот ещё! — буркнул Соломон. — Не прикажешь ли за телеграфистом послать? А? Или, может, опечатаем склад и сами к нему двинем со всем хозяйством? Он, наверное, шибко занятый человек, ему до нас ходить некогда, так ведь? — вкрадчиво проговорил он. И тут же, отбросив всякую театральность, сорвался в крик: — Да у меня эшелон на подходе! С минуты на минуту встаёт под разгрузку! А он мне будет про телеграфистов заливать!

Тёма выпепил глазом паренька, того, что кричал, подозвал к себе, шепнул на ухо:

— Давай дуй до станции! Молнией! — Но вдруг засомневался, передумал: — Или нет, погоди, я сам сгоняю.

И метнулся на телеграф.

— Стой! — заорал ему вдогонку Соломон. — А расписываться за тебя Бонч-Бруевич будет?

— А я ещё ничего не получал! — крикнул не оборачиваясь Тёма.

В общем, худо-бедно вольтметр он добыл и радиостанции с батареями получил в полной исправности. Пока возился с проверкой, ребята подогнали машину, погрузились, и день в целом заканчивался весьма удачно. Жаль только, времени на обратный путь совсем не осталось. Пора было соображать с ночлегом.

Чтобы далеко не искать, решили приткнуться под ту же ель, благо место натопанное. И вот в какие-нибудь полчаса уже горел костерок и булькала в котелке похлёбка из концентрата — это ли не армейское счастье? Разумеется, руки чесались тут же всё опробовать в деле, подключить, покопаться в настройках, тем более что «эрбэха» — радиостанция батальонная — это как раз то, чему его обучали, натаскивали в комбинате связи. Вот только делать это прямо сейчас без приказа, когда даже не отменили режим молчания, никак не следовало.

Тёме вспомнился его первый, собранный ещё в школьном кружке гетеродин. Как мечталось тогда надеть наушники, постучать ключом и услышать откуда-то из неведомых далей отклик — я здесь! Я такой же, как ты, человек! Но всё это в одночасье отменил Анатолий Григорич, их руководитель: «Цыц! Только в режиме приёма! Исключительно! Ты же не хочешь записаться во враги, в шпионы, правда? Не хочешь завтра же очутиться со мною на одних нарах, в одной камере?»

Нет, такое самоуправство было категорически недопустимо, и от собственного бессилия, от нечего делать Тёма уткнулся в старенький засаленный, изрядно потрёпанный томик Шекспира, забытый кем-то в узловатых корнях ели и, судя по неряшливо оборванным страницам, использовавшийся на растопку или ещё на известно какие нужды. На его титульном листе синяком расплылась едва читаемая печать «Марыина-Горская поселковая библиотека», а на форзаце чьей-то варварской рукой было начертано странное послание: «Брату по духу и по оружию. Помни о славах Печоры». Тёма хмыкнул, полистал книгу, повертел её так и сяк, но яснее оттого надпись не стала.

* * *

Ночка задалась на удивление весёлая и, можно сказать, продуктивная. Абарис то ли задремал, то ли ещё что — поди его разбери, — сидел, свесив на грудь тяжёлую голову. Галейон тоже затих в своём углу, что-то бормотал под нос, и потому Андвари остался полным хозяином на поле, он мог делать всё что хотел. И он делал. Это была его ночь!

Перво-наперво почти все свои фигуры он передвинул вплотную к линии соприкосновения так, что между чёрными и красными не осталось ни малейшего зазора — то-то удивится Абарис!

За долгие-долгие годы противостояния он достаточно изучил своего соперника. Нет, этот добрый увалень совсем не умел играть. Другое дело — Галейон, вот уж хитрая бестия! Но нынче не его праздник. Андвари его прижал, припёр к стенке. Недаром тот так обиделся, характер решил показать. А характер у него тыфу! Дрянной характерец. Обычно-то и не подступись — кто он, и кто ты? — нос воротит. А чуть что не по нему, так затаится, надуется клопом бургундским, только что кровью не брызжет, ничем его из угла не выманишь.

«Проще надо быть, проще! — пенял ему в сердцах Андвари, — А от спеси какой прок? Спесь, она как чесотка: чем больше чешешь, тем больше расчёсывать хочется».

Чего греха таить, Андвари доставляло особое удовольствие осаживать его, укрощать его неуёмную гордыню. Сколько уже раз он ставил его на колени, — фигурально, конечно. Тот дулся, злился, пыхтел, а ничего поделать не мог, приходилось признавать своё поражение. И признавал. Скрипя зубами, признавал. Ага! И будет там скрежет зубовный.

А ведь когда-то, на заре своей юности, Андвари был едва ли не влюблён в Галейона, ловил каждое его слово, копировал каждый жест, восхищался блестящей игрой на поле. Галейон был гроссмейстер, бог игры. Он выстраивал фигуры, как древние греки свои фаланги, как римляне свои манипулы и центурии. Казалось, будто сам он на взмыленном жеребце носится с края на край доски. Он попевал всюду, он был подобен самому Зевсу, его разящей молнии.

И куда же подевался весь его пыл? Что осталось от бывшего величия? Нет, разумеется, он не разучился играть. Он разучился *хотеть* играть, вот в чём штука! И если прежде при малейшем поражении, просто при намёке на поражение, он брался за дело с утроенной силой, то нынче скорее надует губу, чем передвинет хоть какую-нибудь фигуру.

Нет, в его возрасте пора бы уже и остепениться, отучиться от своих великосветских замашек, от надменности. Сколько ему уже? Андвари наморщил лоб и, шевеля губами, принялся считать, загибая пальцы, — двадцать пять, двадцать шесть... Ого! Почти двадцать семь уже! Такое даже представить трудно — двадцать семь веков! Поговаривают, что и больше, но то мутная история. Всё равно многовато. Сам-то Андвари был куда моложе в сравнении с этим мастодонтом.

«Возраст, он ведь кому что добавляет, — размышлял Андвари, — кому мудрость, а кому и глупость, а Галейону вот спеси, как колея дереву, — усмехался он. — Вот истечёт, источится эон, взвесит его Судья и сочтёт всё высокомерие разом. Как-то несладко придётся ему в следующий раз исправлять взлелеянного в себе дворянина».

Но тут же осенила и другая мысль: а ведь что-то в этом роде Галейон может сказать и про него, да и Абарис может. Каждый из их троицы не без греха, и каждый знает что-то такое о другом, что-то дурное, о чём в самом себе не догадывается. Во всяком случае, о себе Андвари не мог сказать ничего скверного. О себе у него сложилось неплохое мнение — как игрок он стоил обоих своих противников. Даже объединившись, они мало что могли ему противопоставить. Но на этом и всё. А что ляжет на другую чашу весов? Вот об этом-то он как раз и не знал. В этом и парадокс! А ещё мелькнула мысль, что и самого Судью, верно, тоже взвешивают — только кто-то другой, более высокий, неведомый и могучий, Судья Судей.

Не добившись определённых успехов в эсхатологии, Андвари вновь переключился на поле. Некоторые его фигурки уже заскочили на позиции красных. «Знают, шельмы, что делать», — усмехнулся Андвари. Другие уже

выстраивались в колонны и готовы были начать победный марш. «Эх, и задам же я перцу этому простачку Абарису!» — причмокивал он, предвкушая скорую и сладкую победу.

Рассвет ещё не выслал вперёд ни одного гонца и ночь безраздельно хозяйничала над бездной. Немед, балбес, забыл потушить костерок, и теперь его пламя трепало ночным бризом, отбрасывая на скалы отблески вечно бодрствующего духа. Словно бы кто-то неведомый подглядывал со стороны за происходящим на поле. Подглядывал и ухмылялся, сдвигая тяжёлые морщины скал. «Что-то меня нынче на мистику потянуло, — вздохнул Андвари, — эх, не к добру всё это».

Он ещё раз метнул быстрый насторожённый взгляд на Абариса — дремлет! Ну, надо же. Разве можно в такой позиции оставаться безучастным? Что же такое шепнул ему на ухо этот пройдоха Немед? Уж не хитрит ли наш простофиля?

Хотя нет, вряд ли. Он и в прежние годы никогда не отличался изощрённостью ума — полная противоположность Галейону. С ним и играть-то по большому счёту неинтересно, разве что в поддавки. Ну в самом деле, ни тебе тактики, ни стратегии — играет как землю пашет. Что за радость играть с крестьянином? Нахватал с краю поля свободных клеток — надо ему, не надо, и сидит, как куркуль. Одно слово — деревенщина.

А всё же и жаль его. Расти ему ещё и расти, покуда достойным противником станет. А пока он только пыжится своё величие доказать.

* * *

Ночь — не ночь, вечер — не вечер, поди, разбери. В июне это обычно. Если не смотреть на часы, то и не угадаешь. Во всяком случае, жизнь вокруг ни на минуту не замирала, клокотала ключом. Те же песни, шутки, анекдоты. Пристанционный табор жил своей, отличной от обыденности, жизнью: ни тебе старшины, ни политрука — гуляй, рванина! Даже и думать не хотелось о неизбежном скором возвращении в часть. Всё это будет потом, завтра, а сегодня ветер свободы щекотал их ноздри, и они всей грудью вдыхали этот сладковатый, терпкий, этот мелкоигольчатый шампанский дух.

К костру то и дело подходили, окликали какие-то новые личности, завязывали разговоры или просто ограничивались парой-тройкой ничего не значащих слов и тут же исчезали в толчее, в водовороте. Неожиданно за спиной Тёмы кто-то натужно крикнул и затянул вполголоса незнакомую песенку:

— И ходит Гамлет с пистолетом, и хочет кого-то убить, пиф-паф-ой, и стоит вопрос перед Гамлетом, быть или не быть, — причём само имя Гамлет звучало в его исполнении отвратительно фальшиво с ударением на последнем слоге, рифмуясь со словом омлет, будто в какой-нибудь пошлой фабричной частушке.

Тёма недовольно обернулся. Сзади, прислонившись к стволу и заглядывая ему через плечо, слегка покачивался рядовой из старослужащих с трёхдневной

щетиной и сидящей щёткой усов. По всему выходило, что Гамлета он увязал с томиком Шекспира у Тёмы в руках и тем самым недвусмысленно выказывал свою осведомлённость.

— Это не «Гамлет», это «Макбет», — поморщился Тёма, решительно настаивая на правильном ударе.

— Не читал, не знаю, — хмыкнул в ответ незнакомец.

— А «Гамлета», значит, читали?

— Ну... так, по диагонали, — скривил губу тот. — Скукотища, скажу я тебе, — и, запустив руку за пазуху, извлёк помятую флягу, булькнув содержимым.

— Будешь?

Допустим, сама ситуация располагала к более тесному общению и знакомству, но вместе с этим вот «Гамлетом-омлетом» на Тёму накатила волна брезгливости, которой он, впрочем, тут же застыдился, застыдился перед самим собой, но ничего уж с этим поделать не мог. Он вздрогнул и отрицательно помотал головой.

— Ну и хрен с тобой, больше добра останется, — усмехнулся усатый, приложившись к горлышку.

А на Тёму вдруг нахлынула странная слуховая галлюцинация. «Попытка номер раз», — услышал он будто бы чей-то голос, но вот незадача — исходил этот голос не снаружи, а вроде как изнутри его, и эти интонации, тембр были что ни на есть его собственные. Вот только сам он ничего подобного не говорил, мог бы поклясться — сто процентов не говорил! Он и думал-то в этот миг совсем о другом.

Тёма опомнился и лишь сейчас оглянулся на своих друзей. Юрка дрых, привалившись к переднему колесу, а у костра возле Сашки тёрся какой-то доходяга в гимнастёрке на два размера больше, отчего она болталась на нём как на пугале, и что-то такое втолковывал, отчаянно жестикулируя.

— Понимаешь, это как перископ у подлодки — выдвинул, убрал, опять выдвинул. Вот ты улитку видал, как у неё рога выдвигаются? Так это и не рога вовсе, это глаза такие на ножках, — пояснял он отвратительно гнусавым голосом. — Вот и солдату надо такие на каске, ползёшь и всё перед собой видать, и головы поднимать не нужно. А то поднял, а там снайпер — бац! И тебя уже нет.

Сашка что-то ему возражал, но Тёма не расслышал. Он машинально взглянул на часы — половина десятого.

— Эй, Саня, хорош болтать! Давай отбиваться уже! Завтра подъём ни свет ни заря!

Легко с Сашкой, ему не надо сто раз повторять, он всё на лету схватывает, просто встал и пошёл укладываться. До немощного тоже, видать, дошло, что ловить тут нечего, — потащился к другому костерку заливать про перископы. И усатый словно испарился, будто и вовсе не бывало, прямо наваждение какое-то. Но мгновение спустя Тёма увидел их уже на дороге, они направлялись к станции. Только теперь за ними увязался кто-то третий — прежде-то его не было. И вот этот третий, хотя Тёма мог видеть его только со спины, почему-то показался ему особенно неприятен.

«Странно, и чего эта троица позабыла на станции на ночь глядя?» — хмыкнул он, но тут же согласился с тем, что, верно, в это грозное время склады функционируют круглосуточно.

Тёма долго ворочался на своём незатейливом ложе из плащ-палатки, не мог заснуть, отвлекал шум у соседей. Там что-то важное обсуждали, и он невольно прислушивался. Судя по голосам, спорили трое, может, даже и четверо. Сперва он не мог взять в толк, в чём дело. О какой-то драке речь шла вроде. Кто-то чего-то не поделил и теперь пытался выяснить причину, короче, как обычно, махал кулаками в неурочное время. Разговор то и дело срывался на крик и ругань, доходило и до прямых угроз — в общем, неприятный разговор получался. Но вдруг в какой-то момент среди общего гвалта отчётливо прозвучало: «А кто тебе сказал, что ты его первым ударишь?»

И вот эти-то слова не то чтобы резанули, они как-то разом всё прояснили, расставили на свои места, и Тёма, до конца удерживая в ушах их звучание, до звенящей пустоты, до физической боли, как до хруста в пальцах удерживает боксёр сжатые кулаки, всё пытался сопоставить их со своими давнишними размышлениями. Они — эти слова — словно нож в ножны входили в его собственный строй суждений про надуманность первого удара, про легковесность такого решения. И потому он совершенно позабыл и о соседских распрях, и о завтрашней дороге, и думал теперь только о своём, о наболевшем. Как же это он сразу не понял, не угадал? Ведь это же так просто! Не будет никакого первого удара! Нашего первого удара по немцу не будет. Его и не должно быть, его и не планировали! А вся эта шумиха про «решительным броском», про «на чужой земле», всё это ложный замах, чистейший обман. Потому что ежели ты нападаешь первым, то в глазах всего мира ты агрессор, и все цивилизованные народы мигом от тебя отвернутся. А вот если напали на тебя, то ты жертва, и неважно, что ты сам это нападение подстроил, — никто и разбираться не станет. Ты жертва, и тебе надо помогать, вот какой вывод тогда сделают.

Это точно как в детстве с пацанами — почему-то вспомнилось ему, — не то чтобы игра, а проверка на вшивость такая. Если впервые забрёл в незнакомый двор, то, может, бить и не будут, но обязательно проверят, что ты за гусь. С новичками всегда такой фокус выкидывают: кто-нибудь как бы невзначай замахнётся, сделает ложный выпад, поставит подножку. И тут главное — не поддаваться на провокацию, не моргнуть и не сдрейфить. Надо оставаться невозмутимым, словно это и не про тебя вовсе. Вот тогда ты свой, считай, что тебя приняли. А иначе ты слабак, и ходить тебе в слабачках вечно. Никто с тобой всерьёз и дружить не станет.

Это открытие настолько потрясло Тёму, обескуражило, что его так и подмывало тут же с кем-нибудь поделиться. Оно душило, жгло изнутри, как некогда грудь Кассандры сжигало, испепеляло видение о падении Трои. Но вот что странно: чем яснее он представлял себе и прорисовывал картину того, что непременно должно было произойти, чем больше он размышлял об этом, тем меньше ему хотелось это всё обсуждать. Будто бы ему доверили важную тайну и он поклялся её сохранять.

Да и в самом деле, всё это имело значение лишь до тех пор, пока оставалось предметом споров и размышлений, когда было что обсуждать. А нынче... а нынче он мог вполне успокоиться и сказать самому себе: «Ну вот, теперь я это знаю».

С этой мыслью он и заснул. Странный сон привиделся ему. Шёл какой-то пустошью, а эта давешняя троица увязалась за ним, не отставала. Гнусавый доходяга отчаянно жестикулировал и рассуждал о подлодках и перископах, а его спутник, знаток Гамлета, всё прикладывался к своей фляге и посмеивался в усы. Наконец, и третьего он почти разглядел, и неожиданно этим третьим оказался он сам. Не то чтобы он раздвоился, нет, просто увидел себя как бы в зеркале, со стороны. И вот же странное дело — как только он себя распознал, этот другой, двойник, бесследно исчез, испарился, словно и не бывало.

Мгновениями самым краем сознания он улавливал, что это лишь сон, неважправду, но иногда проваливался куда-то, и тогда принимал всё за чистую монету. Местность была ему явно знакома, потому что там, за пустошью, открывались деревня и лес, он знал, он вспомнил. Там жила тётя Шура — мама возила к ней летом однажды, и хотя она была ему вовсе не тётей, а двоюродной бабкой, называл он её всё равно тётей, уж так повелось.

А ещё он мучительно размышлял, как представить тёте Шуре своих спутников, он ведь и сам толком не знал их. Да что там, — вовсе не знал. Впрочем, эта мысль лишь мимолётно коснулась сознания и тут же сгинула, испарилась, как до того сгинул его двойник. И вместо неё явился вопрос: а что это за холм там вдалеке? Раньше он этого холма не замечал. Или это не холм, а какой-то утёс? Далеко было, не разглядеть, и казалось, сколько ни шли, ничуть не приближались — холм был всё так же далёк, будто в дымке. Какой-то верховой проскакал мимо на рысях. Гамлет-омлет окликнул его, перебросился парой фраз, и тот поскакал дальше. А усатый приложился к фляге, подмигнул и спросил с ухмылкой: «Ну что, поднялась бы рука на дядю?»

Тёма догадался — да нет, просто знал заранее, что речь шла о Клавдии, о брате покойного короля. Он пожал плечами и небрежно ответил: «Не знаю. Не думал об этом».

А тот осклабился и произнёс как-то коряво: «Э нет, паря, брось! Всё ты продумал!»

И тут же превратился в этого самого Клавдия в какой-то средневековой хламиде, поманил скрюченным пальцем, вроде бы приглашая в круг: «Ну, давай, попробуй!»

Тёма неуверенно шагнул, ощущая в руке шпагу и её сложно плетёную гарду, но этот оборотень опять изменился и теперь уже был не Клавдий, а Сталин.

«Пороху тебе не хватит», — криво усмехнулся он.

Тёма мог поклясться, что даже уловил знакомый акцент в его голосе.

Но тут вроде как из-за спины его вышел Марк и строго приложил палец к губам.

«Тсс! Тебя провоцируют», — он проговорил это едва слышно, как артист на сцене, обернувшись к залу, и посылающий реплику исключительно зрителям.

А через мгновение уже во всеуслышание продекламировал: «Мириться лучше со знакомым злом, чем бегством к незнакомому стремиться!»

И, выдержав паузу и раскинув руки, утвердил, будто некий постулат: «Попытки изменить существующий порядок вещей недостойны джентльмена».

А потом Тёма окончательно провалился в полное беспamięтство без всяких видений, и оттуда, из самых глубин этой бездны, прозвучало: «Очнись! На нас нападают!»

* * *

Чёрная мгла настигла, поглотила Иберия, едва он поднялся на перевал. Здесь, на седловине, было особенно неприятно. Казалось, тучи скребли по самым вершинам гребней, по их остриям, рискуя вот-вот распороть брюшину и вывалить наружу какое-то жуткое содержимое. Впрочем, это только казалось — никаких туч было не разглядеть. Всё, что могли видеть конь и всадник, это лишь отдельные камни да выступы скал на пути. Остальное поглотила тьма. О дальнейшем продвижении не могло быть и речи. В пору искать укрытие. Посланник спешил и повёл коня под уздцы. Помнилось ему, где-то рядом есть уютная глубокая расщелина. В самый знойный день она всегда радовала прохладой. В дальнем её углу под камнем журчал ключ, укрытый веткой плюща, а мелкий песок под ногами обещал усталому путнику отдых. Но сейчас Иберий не жаждал ни отдыха, ни прохлады. Достаточно было просто крыши над головой, потому что вслед за мглой он угадывал бурю.

И что же, ждать не пришлось. Едва он укрылся под скальным карнизом, как ослепительный зигзаг молнии распорол темноту надвое. Из прохуdivшейся мешковины небес тотчас посыпало тяжёлой ледяной дробью. В этом грохоте Иберий не услышал бы и собственного крика. Уже через мгновение перед входом в укрытие вырос целый ледяной бруствер. Град был размером с куриное яйцо, никак не меньше. Ледяной натиск то ослабевал, то вновь усиливался, но не прекращался ни на минуту. «Ну что же, вот и началось, — усмехнулся Иберий. — Попытка номер раз».

Почему-то эта канонада воскресила в памяти совсем иной сюжет: солнечный грот на Патмосе в зарослях тамариска и лавровишни, который он делил с юной нимфой. Йола была гением этого места — никак иначе он её не воспринимал. Каждый изгиб её тела, каждая линия шеи, рук, бёдер, смех её были продолжением ликующей всепоглощающей природы. Он буквально задыхался от переполнявших его чувств. Да и мир тогда был совсем молод, ещё не обезображен цивилизацией. Мир был наивен и прост: пара-тройка рыбацких деревушек на весь остров и только-то, ну и они вдвоём. Козье молоко, сыр да ломоть хлеба — что ещё нужно беспечной молодости? Смушали порой парусники Эллады, герои. Но не было ему дела до их забав. Он взбирался на самый высокий холм, часами рассматривая вереницы кораблей. В их размеренном беге угадывалось и величие, и падение Трои. Это было чудное зрелище! Но после всё равно возвращался к божественной Йоле. Боже, как же невыразимо давно это было! Разумеется, она являлась ему и после, в других облициях, в других местах и под другими именами, но разве всё это могло сравниться с той первой встречей? А теперь вот он мог видеть её

чуть ли не каждый день, но это ж совсем другое. Нет, то прошлое кануло в Лету, его не вернёшь. Эту песню нельзя спеть дважды.

Иберий пнул отскочившую к ногам градину, и его внимание снова вернулось к действительности. «Интересно, — задумался он, — какой ход предпримет теперь Абарис?» В том, что буря была проделкой Андвари, у него не было ни малейших сомнений. Впрочем, и ответ был очевиден: на бурю с запада восток всегда отвечал морозом. Во всяком случае, сколько помнил свою службу посланник, всегда так бывало, вроде как традиция сложилась у них такая. Вот у Галейона с Андвари иное дело — там буря на бурю, меч на меч. А как с Абарисом, так всегда на мороз. «Может, дело в самом Абарисе? Видимо, буря не его стихия, — рассуждал Иберий. Но почему же он вечно задирает братьев? Не может ответить им их же оружием? Не хочет? Не умеет? А что если не умеет? Надо бы спросить у Судьи, с какими стихиями он дружен? Управлял ли когда-нибудь засухами, наводнениями, вызывал ли трясение земли? Неплохо, конечно, виртуозно владеть чем-то одним, но для правильного развития, для совершенства этого недостаточно. Совсем недостаточно. Надо бы ему поучиться у братьев».

Скрежет льда под ногами вмешался в общий гул бури, заставил оглянуться. Мимо, не заметив его, прошмыгнул Немед. «Этому и град нипочём, — проворчал посланник, — и зачем приходил? Что ему нужно?» Разумеется, Немед всегда был некоей помехой в дороге, а то так и вовсе врагом. Хотя случались послания, исключавшие двойное толкование, и тогда можно было не опасаться погони. Вот только заранее установить полезность такого послания не представлялось возможным. Взять, к примеру, нынешнее — разве можно истолковать его как-то иначе? Ну, правда: Галейон заперт в самом дальнем углу, не пошевелиться. Абарис и Андвари выстроились лоб в лоб, им тоже не ступить ни шагу. Чем не патовая ситуация? А какое колоссальное напряжение! Разве может оно длиться вечно? Не пора ли разрубить этот гордиев узел? И какой же ещё скрытый смысл могло нести в себе решение Судьи? Для чего понадобился Немед?

Иберий долго ломал голову над этой задачкой, но так ничего путного и не придумал. Оставалось ждать, когда головоломка разрешится сама собой. А меж тем град прекратился, и в бой вступила дальнобойная небесная артиллерия, разящая молниями. «Прежде только великий Зевс мог похвастать таким умением, — хмыкнул Иберий, — а нынче любому отшельнику под силу. Вот такое вот оно, новое поколение олимпийцев».

Когда эллинский владыка оставлял свой высокий пост, он не больно-то охотно делился тайнами, так что Галейону и Андвари приходилось начинать с азов, с нуля, но к тому времени, как к ним присоединился Абарис, они уже разгадали все мудрёные загадки громовержца. Абарис же, наоборот, не проявлял особого рвения к наукам и не спешил постичь небесные скрижали, должно быть, полагая, что у него получится и так. Посланнику казалось, в его лице они столкнулись с типажом эдакого нерадивого ученика, вечно задирающего своих товарищей. Только вот как сумел он подняться до таких высот? Неведомо. Не иначе как сам Судья приложил к этому руку. «Ну да, Судья, конечно,

Судья, — рассуждал сам с собою Иберий, — но он, разумеется, ничего такого не скажет. Никогда и ни с кем не делится он планами. Вопрос задать можно, а вот получить ответ, это вряд ли. В общем, дерзай задавать вопросы, но ответы ищи только в самом себе, потому как мир — это и есть ты сам».

Гроза поутихла, отовсюду пробивался неяркий свет, и Иберий поспешил продолжить свой прерванный путь.

* * *

Тёма вскочил с первыми ударами. Разрывы слышались где-то далеко за лесом и станцией, но земля содрогалась так, будто какой-то мифический небесный кузнец колотил по ней своим тяжким молотом. «Дальнобойная кроет», — мелькнуло в голове мгновенное озарение. А вместе с этим первым пришло и другое — осознание собственной правоты, но вызвало оно вовсе не удовлетворение, а горечь. Да кому она нужна теперь, эта правота?

Всё это пронеслось в сознании мгновенно, он даже не успел толком вскочить на ноги, а вскочив, тут же бросился тормошить товарищей:

— Подъём!!! Началось! Война!

Снаряды ложились уже возле самой станции, и когда Юрка наконец-то завёл и вытолкал свою колымагу на дорогу, весь лагерь бурлил и кипел, словно растревоженный муравейник, разворошённый палкой. Вдоль железки горели пакгаузы, рвались складские помещения, и чёрный дым заволакивал округу, а над головой, сшибая листву, сучки, свистели и хлопали, врезаясь в стволы, осколки фугасов.

Юрка отчаянно жал на газ, едва не выдавливал кишки из машины. Взлетели на ближний увал, отдышались. Сзади над лагерем уже всюю полыхало — задержись они хоть на минуту... Дальше Тёма и додумывать не стал. Он машинально проследил за клубами дыма, пронизанными лучами солнца, восходящими прямо в зенит, туда, где на орлиной высоте, не слышимый за грохотом разрывов, парил вчерашний наводчик — фоккер.

Юрка с особой злостью крутил баранку и матерился, не сдерживаясь. Он чуть ли не плакал, растирая по щекам грязные сопли:

— Мы же сами должны были начать! Сами! Нам же товарищ Сталин сказал. Как же так? Что же теперь будет?

— Да уймись ты, не дрейфь! — утешал Тёма. — Всё норм будет! Вот отобьёмся и сами пойдём в атаку. Нам бы только к своим успеть!

— А вдруг там бои сейчас? — скулил Юрик.

— Тем более нам туда нужно. Скорей! Позарез нужно!

И Сашке тоже не сиделось спокойно в кузове, метался туда-сюда, то и дело долбил им по крыше или, перегнувшись через борт, заглядывал в кабину, тыча пальцем в сторону разрывов:

— Видали?! — орал он, выпучив глаза. — Вон ещё!

— Это уже по Бельску кроют.

— А далеко отсюда?

Тёма ничего не ответил, а дождавшись очередной вспышки, принялся считать вслух: «Один, два, три, четыре...» Когда он досчитал до двадцати двух, прогремел разрыв.

— Километров семь, примерно, — улыбнулся он Юрке.

— Как это? Откуда знаешь?

— Скорость звука какая в воздухе? — и, не дождавшись ответа, подмигнул: — Правильно! Триста тридцать метров в секунду. А это значит, что за каждые три секунды он проходит один километр. Видим вспышку — включаем счётчик, сосчитанное делим на три, получаем километраж, делов-то! Я насчитал двадцать два. Значит, примерно семь километров выходит.

Юрик даже челюсть забыл захлопнуть, так и сидел с распахнутым ртом в изумлении, смотрел на него, как на фокусника.

— Ну ты профессор, етить! — выдавил он наконец.

— Да ладно тебе, не дури. Ты это тоже в школе всё проходил. Задача по физике про гром и молнию. Только ты же не слушал, поди, ни хрена. Наверное, девок тайком рисовал. Признавайся!

— Про девок это ты да, — причмокнул Юрик, — угадал! У нас баня рядом была общественная, понедельник, среда, пятница — мужские дни, а остальные — женские. Нижние стёкла в окнах в рост человека краской замазаны. Малышня в них дырок нацарапала и пялилась. А мы с пацанами, постарше кто, на сарайке, аккуратно напротив. У приятеля бинокль полевой был — батя с Гражданской ещё притащил. Вот и разглядывали. А чё? Красота!

Он бы так и дальше трепался без остановки, Тёма уже достаточно изучил его манеру, но в этот самый миг в кабину отчаянно заколотил Сашка:

— Танки! Немцы!

Из-за поворота навстречу им выкатывалась танковая колонна. Чёрные кресты на башнях не оставляли никаких сомнений.

Тёма ещё не успел обмозговать ситуацию, а Юрка уже среагировал — мгновенно крутанул руль вправо, и они с разгона вкатились под занавес зелени. Оставалось надеяться, что их не успели заметить с головной машины. «Хотя, смешно сказать, — хмыкнул про себя Тёма, — какая же от них угроза? У них и оружия-то с собой нет никакого».

С противным металлическим лязгом, в грохоте и пыли, мимо них прокатилась целая армада танков. Тёма успел насчитать штук сто сорок, да ещё пару раз сбивался при подсчёте. За колонной в пешем строю и на грузовиках с прицепленными орудиями следовала пехота. По всему выходило никак не меньше дивизии. Им казалось, битый час длилось всё это представление. Их не заметили или, может, просто не обратили внимания?

— И что, теперь так и будем в лесу отсиживаться? — буркнул зло Сашка, когда светопредставление завершилось и воцарились прежняя тишина и пение птиц. — Ясно же дело, раз немцы уже здесь, то никаких наших там и искать нечего. Вряд ли кто в живых остался. Никаких шансов! Или в плену давно.

— А по мне вот совсем не ясно, — осадил Тёма. — Видел, сколько путей-дорог разных, развилок попадалось? Может, немцы совсем по другой проходили, и наши теперь у них в глубоком тылу? Как знать?

Юрик тоже опомнился от мрачных переживаний и даже сподобился пошутить:

— Так мы и сами теперь в тылу вроде бы?

— Вот именно! Так что задача у нас одна — вернуться в расположение части. Ну, или... — Тёма невольно помедлил и добавил мрачно: — Ну, или в то место, где она располагалась. Кто-нибудь там да остался.

— И ты в это веришь? — усомнился Сашка.

— Я верю в то, что прошлого больше не будет. Кончились учебные стрельбы, мишени, мирная жизнь, цветочки для девушек, танцы по воскресеньям. Кранты! Всё теперь будет по-другому, теперь будет война, и неважно, где мы в неё вступим — вместе со своей частью или здесь, на дороге. Всё равно нам придётся в неё вступить.

Результатом этого его короткого спича стало тяжёлое, почти физически ощутимое напряжение. Не то чтобы кто-то сомневался в справедливости его слов, нет, с этим-то как раз всё было в порядке, но вот само это высказанное слово «война» отдавало однозначностью, завершённостью и окончательностью всего случившегося, словно опасная, сорвавшаяся с цепи собака.

— И почему только мы первыми не ударили, а?! Как так случилось? Проявили! — в раздражении плюнул под ноги Юрка, — Всё сейчас по-другому было бы!

— «Было бы, было бы», — передразнил его Сашка.

Тёме совсем не хотелось сейчас спорить, а тем паче что-то доказывать.

— Это политика, Юрик, большая политика, — проговорил он. — А мы с тобой в ней чего-нибудь смыслим? Да ничего мы с тобой не смыслим. Ровным счётом ни черта!

Сашка хмыкнул:

— При чём тут политика? Не политика тогда уж — стратегия! Кто первым ударит, тот и герой!

— Может, оно и так, — согласился Тёма. — Разве в словах дело? Стратегия — та же политика, только в бою. Стратегия — это и есть политика войны.

— Парни, я это того, выползу на дорогу тихонько, осмотрюсь, гляну, как там чего... — пробормотал Юрик и нервно оглянулся, дожидаясь согласия.

— Валяй! Только поаккуратнее там. Смотри, немца какого не спугни.

— Да не... ничего! Я умею!

Он сгорбился, согнулся пополам и нырнул в придорожные кусты, в траву, в мгновение превратившись из долговязого парня в какого-то диковинного кузнечика. Тёма невольно обернулся на Сашку — смотри, мол, как это у него смешно получилось, но тот в рассеянной задумчивости обрывал какой-то сломанный стебелёк и явно не заметил Юркиного кульбита.

Юрка обернулся мигом — и десяти минут не прошло. Держался бодрячком, но выглядел не слишком уверенно.

— Боязно как-то, — напустил он улыбку. — Вроде чисто всё, а там кто ж знает? Как оно обернётся? А может, на дерево повыше залезть, оглядеться, чего да как? А?

Идея была так себе, но Тёма за неё неожиданно ухватился, подмигнул Сашке.

— У тебя же вроде медаль по пожарно-прикладному спорту? Помню, ты хвастал.

— Было дело, — хмыкнул тот. — Между прочим, чемпион Москвы тридцать девятого года.

— А в сороковом чего ж уступил?

— А в сороковом первенство не проводилось, — осклабился Сашка, но неожиданно посерьёзnel. — Да не, в сороковом я в больничке маялся с подозрением на аппендицит. Купались с ребятами в апреле, а я плавки мокрые вовремя не снял — думал, на солнышке само высохнет, ну и застудил тут слегка, — покрутил он большим пальцем возле паха.

— Ладно, ты зубы-то не заговаривай. Сколько в этой ели высоты будет?

Сашка задрал голову, прищурился.

— Этажей шесть-семь.

— За сколько осилишь?

Тот покачал головой, загибая пальцы.

— Полторы минуты, — выдал он, наконец. — А чем мерить будешь? У тебя и секундомер имеется?

— У меня часы с секундной стрелкой.

— Тогда засекай! — И он, точно белка, пружинисто вскочил на дерево, исчез в густой кроне.

Через какое-то время сверху донёлся его крик: «Готово!» Тёма глянул на часы, покачал головой.

— Две минуты взбирался, а говорил, в полторы уложишься.

Юрка в ответ только хмыкнул:

— Мне бы и полчаса не хватило. Вот если бы плавать....

Сашка спустился злой, весь в смоле и налипших иголках:

— Это тебе не со штурмовой лестницей, — ворчал он, пытаясь отскрести ладони. — Прямо хрен пролезешь, ветки по спирали растут, и тут либо крутись вокруг дерева, либо ныряй под каждую.

— Ладно, чего видал-то, чемпион? — хмыкнул Тёма.

— Да ни хрена особенного. На западе, куда едем, только сильно правее...

— На северо-западе, — поправил Тёма.

— А я как говорю? Так вот, там дым валит. Дорогу нашу только в одном месте видать, помнишь, где поворот был резкий и обрыв рядом. Там тихо всё. А больше не разглядеть ничего. Глухой номер!

Тёму одолевали мрачные мысли.

«Хуже, наверное, и не придумать, когда родной привычный мир становится тебе чужим, — размышлял он. — Враз всё поменялось. Каждый сучок теперь, каждая выбоина на дороге таят угрозу». За каждой ёлкой мерещился враг, всё ненадёжно, зыбко...

— Машину придётся бросить, — подвёл он тяжкий итог размышлениям. — Дальше только пешком.

— То есть как это? Как это бросить?! Легко тебе сказать — бросить! — взбунтовался Юрка. — Меня ж за неё в расход! Червей кормить... расстреляют!

— Немцы тебя вперёд расстреляют вместе с машиной. Видал, что на дороге творится?

— А как же твои радиостанции? — уцепился тот за последнюю соломинку.

— Боюсь, они больше никому не нужны.

Но за машину неожиданно вступился Сашка.

— Всё-таки надо попробовать, а? — нерешительно произнёс он. — Свернули же один раз, получилось, улизнём и в другой. А если и заметят, не будут же они по лесу за тремя безоружными гоняться?

— Может, и не будут. Просто повернут башню и осколочно-фугасным всех накроют. Как тебе такая перспектива?

— Если в разные стороны разбегаться, замучаются снаряды таскать.

— Тоже верно, — хмыкнул Тёма.

Вообще-то, он и сам был не против машины. Ему совершенно не улыбалось топтать сапоги неизвестно сколько часов до лагеря. Но и подставляться так глупо не резон. Поупрямившись для приличия, он в конце концов согласился с ребятами. Не без труда завелись. Юрка для пушей надёжности поурчал движком на холостых, приглушил. Прислушались. Тишина.

— С богом!

Выкатили на дорогу. Казалось, сердце заглушало мотор, норовило вот-вот взорваться. Но ничего, уgomонилось помалу. Тёма высунулся наружу, кликнул Сашку:

— Ты там давай не садись — гляди в оба, тебе сверху виднее! Если что, стучи сразу! — Но Сашка и без того торчал как корабельный ростр. Вцепившись клешнями в планширь борта, он зорко вглядывался в очередной поворот.

Дорога извивалась, летела, ныряла в ухабах, сама норовила броситься под колёса, взметала за спиной клубы пыли. И не было в мире сейчас ничего, кроме этой дороги. Весь мир сжался для них до размера лесной просеки, и как щепку в водоворот, их затягивало в эту щель. «На горе горе, на долу доля», — бессвязно бормотал Тёма себе под нос. На него нахлынула этакая неотвратимость — именно этим словом он пытался объяснить своё состояние. Не просто «будь, что будет», а именно «оно непременно будет», и уже никто и ничто не в силах этому помешать. Не увернуться, не отменить, как не остановить разматывающийся клубок дороги, и единственное, что в их силах, — встретить лицом к лицу, не дрогнуть, не сдрейфить. Но что это за «оно» такое, об этом он, конечно, не знал, а мысль, что это может быть такая же армада, что давеча прогрохотала мимо, — эту мысль он старательно гнал прочь. К тому же его глодала и другая, самая главная проблема — полная неизвестность, чего там и как? Что с полком? С лагерем? Что вообще происходит на белом свете? Остался ли кто живой? А что если все погибли? Но, с другой стороны, а что им ещё делать? Они просто обязаны вернуться в расположение. Ничего другого им и не оставалось.

Он покосился на Юрку. Тот тоже был явно не в себе, беспрестанно ёрзал на своей сидушке — геморрой у него, что ли?

— Нервишки шалят? — скорчил улыбку Тёма.

— Чего это? — вытаращился тот, и Тёме тут же вспомнился Буратино.

— Да ничего, — отмахнулся он. — Давай смотри на дорогу.

— Думаешь, уже всё? Уже началось, да? Война? — И при каждом вопросе Юрка подпрыгивал на своём сиденье, будто стайер, бегун с низкого старта, готовый сорваться, едва лишь пуля вылетит из ствола стартера.

— А сам-то как думаешь?

— Может, это, какие манёвры?

— Ну конечно, «манёвры», — невольно хохотнул Тёма. — Это манёвры, граждане, не отвечайте на провокацию! Соблюдайте спокойствие, граждане!

И не удержался, пробормотал под нос: «Нервы — маневры». А после произнёс нараспев:

— Мы нервирuem и маневрируем, а немец грассирует и галопирует.

— Поэт, что ли? — поморщился Юрка.

— Ага, Пушкин. Надев зелёный доломан, Онегин едет на канкан, — и Тёма театрально раскланялся.

— Пушкин помер, — обиделся тот.

— Как это помер?! — Тёма даже подпрыгнул от изумления.

— Так убили его. Белогвардеец какой-то. Нам в школе рассказывали.

— Вон оно как!? — невольно подстроился Тёма под его тональность. — То-то смотрю он и книжек больше не печатает.

Справа из-за леса повалил густой чёрный дым, послышались разрывы боеприпасов, и в тот же миг Сашка отчаянно заколотил по крыше:

— Гляньте, дымище! Это артиллерийские склады горят! Семёновский полк, должно быть. Соседи.

— Не... это не Семёновский, — мотнул головой Юрка. — Семёновский дальше будет, за сосняком. Ещё не доехали.

И в тот же миг ударило в лобовое стекло так, что оно разлетелось в крошево. Тёма ещё не успел оценить толком, что это — шрапнель или осколками накрыло? — а Сашка уже орал что есть мочи и дубасил по крыше:

— Немцы!!!

Прямо у них под носом, метрах в ста, на обочине уткнулся в кусты мотоцикл; выделялся немец-толстяк с автоматом наперевес, двое других сгрудились возле и чуть сзади вроде бильярдной пирамиды, и все трое смотрели на них в упор! Тут только до Тёмы дошло, что никакая то была не шрапнель, просто по ним выпустили очередь, и как это так, не убили? Он обернулся на Юрку — тот вжался в сиденье и вдавил газ-педаль в полик — на плече у него выступала кровь.

— На, сука! На, получи! — и он с разгона врезался в это неожиданное препятствие на дороге.

Разбитая пирамида, как и следовало ожидать, разлетелась в стороны. Сашка — вот же чёрт проворный — первым перемахнул через борт, повалил и прижал толстяка. Впрочем, тот и не сопротивлялся. Следом Тёма приложил и другого — очкарика. Третий же отлетел в кусты и не подавал признаков жизни. Юрка с трудом выбрался из кабины, придерживая окровавленное предплечье.

Всё это случилось в какое-то мгновение. Тёма даже не успел осознать толком, что это происходит с ним наяву — не то чтобы во сне, нет, а как бы в школьном спектакле. Мысль была мимолётна, и при этом он замечал и оценивал всё до мельчайших подробностей, но как бы со стороны, как зритель. Вот вылез раненый Юрик, вот под Сашкой очухался и зашевелился толстяк, и уже было брал верх. Вот Сашка зацепил придорожный камень и огрел того так, что толстяк затих. Вот замычал очкарик и залепетал жалобной скороговоркой. Тёма с трудом разобрал, что они не строевые, а что-то вроде комендантской роты — догоняют своих. Это обнадеживало, и краем сознания он отметил, что впереди, вероятно, никого нет и можно двигаться, не опасаясь нарваться. Но тут огоршил Юрка:

— В радиаторе пять пулевых отверстий. Считай, умерла машина.

— А сколько ещё протянем?

— Почём мне знать? Я на сухом не ездил. А движок заклинит — совсем кабздец!

Тёма демонстративно почесал затылок.

— Ну и что делать будем, мужи ахейские? — тяжело вздохнул он.

Сашка вопросительно глянул на товарищей:

— Мотоцикл?

— А немцы?

— Мой так уже и не дышит, отдышался, — ухмыльнулся Сашка, отряхивая запыхавшуюся гимнастёрку. — Видать, по виску угодило.

— А с этим? — Тёма кивнул на очкарика и встряхнул того для пушей наглядности, как угодившего в силки зайца.

— Туда же, в расход.

Но Тёме эта идея совсем не понравилась.

— А если отпустить?

— Ты чё, отпустить?! Заложит! Как пить дать, заложит! Ганс он и есть Ганс.

К тому же ему как-то оправдываться придётся — без мотоцикла, без сослуживцев... Откуда ты, гусь?

— Проголосуем?

— Сперва давай Юрика починим.

В мотоциклетном бардачке обнаружилась аптечка. Там же имелись вальтер с патронами и запасные магазины к автомату. А ещё спирт и какая-то закуска — колбаски, что ли? Всё аккуратно уложено, всё по-немецки, чин чинарём!

Юрку перевязали. Рана оказалась навывлет.

— Можно сказать, тебе повезло, — хмыкнул Сашка, — а то где бы сейчас доктора сыскать?

— А тебе вот не повезло, — огрызнулся Юрка, морщась от боли.

Сашка весь перелепался в кровавой каше, будто полевой фельдшер. Он уцепил зубами пробку немецкой фляги и жадно глотнул, крикнув от удовольствия: «Знатный продукт!»

— Будешь? — кивнул он Тёме.

— Сейчас не до того, не время, — зло отмахнулся Тёма.

— А когда оно будет, время-то? — хмыкнул Сашка и протянул фляжку Юрику. — На-ка, полечись, дружище!

Может, оно и так, рана совсем не серьёзная, зряшная, размышлял Тёма, но кровищи хватило с лихвой — вся перевязка насквозь пропиталась. Да и Юрка с подвязанной рукой выглядел довольно жалко, на своих нескладных ходулях он смахивал на журавля с перебитым крылом. Ладно, в коляске поедет, — отмахнулся Тёма от мрачных сомнений. Машину придётся спрятать, вон хоть за те кусты, в ельник, — размышлял он, — радиостанцию одну возьмём — с Юриком в коляске поедет. Ничего, он худенький, поместится, а за другими позже вернёмся, если всё хорошо сложится, если... А вот с очкариком-то что делать? С гансом этим? Парни оба — и Юрик, и Сашка — высказались за казнь. Однозначно! Но нельзя же его убивать, нельзя! Нехорошо это, не по-человечески, да и незаконно, в конце концов. Он ведь вроде пленного теперь, под охраной у них быть должен. Да он и не сопротивляется вовсе, не пытается сбежать. Тёма мельком глянул на рябое, чуть одутловатое лицо немца, на котором застыл даже не страх — ужас. Вряд ли он понимал, о чём они спорили, но суть уловил. Сколько ему? Слегка за тридцать? Женат? Кольца нет, да и по виду не скажешь. Подруга? Какая-нибудь фройляйн Эльза ждёт, письма пишет, цветочки сушёные шлёт, поцелуи в каждом конверте... Чёрт бы его драл, этого немца, только тоски нагнал! Сам же и виноват, сука! Сам припёрся. Зачем? Звали его сюда?

Но тут же Тёма и оборвал самого себя: «Как бы не сам?! Пригнали! Разве же Гитлер станет спрашивать этих гансов: “Парни, где вы нынче хотите повоевать?” Пинка под зад, и пошли расширять жизненно важное пространство. На запад — значит, на запад. На восток — значит, на восток. Как-то так, наверное».

Тёма перебирал в уме всевозможные варианты, мучительно искал выход и не находил. Что же с ним делать, с этим гансом? Связать его? Привязать к дереву? Но это ещё похуже смерти будет! Он понимал, что даже если этот немец к исходу дня и доковыляет до своих, во что он ну никак не верил, то всё равно никто не кинется на их поиски. Кому они на хрен нужны — какая-то неведомая троица, разъезжающая на полуторке? Подумать только, такая страшная угроза рейху! Да к тому времени, как он доберётся, их и след простынет. Но на парней все его доводы абсолютно не действовали. Они только что пережили сражение, они уже вступили в войну. Сашка даже укорять его вздумал:

— Как ты не понимаешь? Он же враг! А врагам никакой пощады! Давай уже с этим твоим очкариком поквитаемся.

Немец же, догадываясь, что решается его судьба, бросал умоляющие взгляды то на одного, то на другого. Он опять принялся лепетать свою скороговорку. Тёма силился понять, но угадывал лишь отдельные слова.

— Да что ты его слушаешь? — злился Сашка. — Он же брешет, как Троцкий. Враг, он и есть враг!

Сам он тем временем уже не раз приложился к трофейному спирту и захмелел порядком.

— Да он и не враг уже никакой, — возражал Тёма. — Глянь на него, — покорность и ужас.

— Ага, конечно! Это он сейчас такой тихий — без оружия и в явном меньшинстве. А доберётся до своих, и снова враг. Ещё и наших положит в отместку. А кто виноват будет? Мы же и виноваты окажемся, что немца вовремя не ликвидировали. Сам же голосовать решил. Два голоса против одного — всё по-честному! Ладно, отойди, если ссышь. Я сам его шлёпну. — И Сашка нетерпеливо передёрнул затвор.

Тёма впервые попал в ситуацию, когда его слово против их слова не значило ничего, оно и ломаного гроша не стоило — его слово. Выхода не было.

Выстрел прозвучал на удивление тихо, как ёлочная хлопушка. Не осечка ли? В недоумении Тёма даже заглянул в ствол вальтера. Но ганс обмяк и завалился ничком. Всё было кончено.

— Ну зачем же ты так? — Сашка мигом протрезвел и скривил при этом какую-то мутную улыбочку. — Надо же было по закону, по процедуре, зачитать обвинение, а иначе это просто убийство.

— Это и так убийство, как ни крути. Да и кому она, на хрен, нужна твоя процедура? Это только живым надо, чтобы оправдываться перед своей совестью.

Тёма был зол. Зол на ребят, на себя, зол на весь мир за эту дурацкую ситуацию. По крайней мере, хоть немец ничего не понял, не успел понять. Даже испугаться не успел перед финалом, просто ушёл в мир теней, и всё.

И снова он невольно назначил Марка своим то ли истцом, то ли ответчиком. «Нельзя авансом наказывать человека, наказывать за то, чего он ещё не сделал. Нельзя наказывать только за то, что он, может быть, когда-то там совершит», — штамповал он свои формулировки, как постулаты. Марк же отстаивал иную позицию. Не сказать чтобы она целиком противоречила его посылу, скорее она уповала на обстоятельства, на которые защита обычно ссылается в суде. «Это война, а у войны свои законы», — философствовал он.

«Воюют люди, а не звери и не машины, — упрямо гнул свою линию Тёма. — А значит, и законы должны быть человеческие, а не какие-то там законы войны».

Конечно, легче было бы спихнуть всё на ребят — ваш выбор, вы и исполняйте. Но такая позиция таила в себе ещё больший моральный изъясн. Вряд ли он мог объяснить причину, но чувствовал он именно так. И потому лично его эта отговорка никак не устраивала. Да и вообще: как выбирать, когда никакого выбора практически нет? В памяти всплыла глупая фраза, которой обучил их худрук в школьной студии: «О чём говорить, когда не о чем говорить?» Её следовало повторять вразнобой для того, чтобы создать у зрителя иллюзию оживлённой беседы. Вот и теперь — повторяй хоть до иступления «чего выбирать, когда нечего выбирать?» — суть от этого не менялась. Выбора у них действительно не было. Выбор был лишь один — кому нажимать курок, и тут он выбрал себя. Что он ещё упустил? Да вроде всё оговорено. Остался лишь горький и гадкий осадок. Он не должен был этого делать, но он сделал.

* * *

Иберий нагнал своего противника в самом начале долины. Тот, казалось, никуда не спешил — шёл, небрежно насвистывая, и легонько постёгивал себя ненужной теперь плёткой по голенищам сапог. Оттого и разговор у них получился почти обыденный, с привычным набором колкостей, не оставляющий преимуществ ни тому, ни другому.

— Некоторые обожают пешие прогулки, не правда ли? — ухмылялся посланник, объезжая Немеда кругами, причём нарочито впритирку, так что тот вынужден был всякий раз притормаживать, чтобы не ткнуться носом в Пегаса.

— Вот не понимаю, лошадь-то моя чем тебе не угодила? Или ты уже настолько слеп, что не можешь попасть во всадника, так выбрал себе мишень покрупнее? — делал вид, что обижается, Немед.

— И чего это ты раскудахтался, ей богу? Чего так за неё уцепился, за свою лошадку, за Фердинандшу? Что в ней такого особенного? Или она у тебя говорящая?

— Хотелось бы, конечно, — не с тобой же болтать по дороге. Но нет, пока что не говорит, не выучилась. И потом, сколько раз тебе повторять? Не Фердинандша, а Фердинанда. Ты что, простого имени запомнить не в состоянии? Как же тебя посланником выбрали?

На это замечание Иберий поморщился и, вскинув руку, досадливо щёлкнул пальцами, что можно было бы истолковать как «вот же ж, чёрт, опять позабыл», но вместо этого произнёс:

— Ну так нечего и беспокоиться. Что с ней станется? Путается где-нибудь в сосняке, тебя поджидает.

— А кабы говорила, это что-нибудь поменяло?

— Ну, разумеется. Разумеется! Была бы болтлива, так позвала бы себе другого хозяина, поинтереснее, поразговорчивее. Лошади, как женщины, — не могут они без общения. Без общения лошади чахнут. Не знаешь разве?

Он несколько помолчал и продолжил ни с того ни с сего:

— Сегодня тебе повезло, твой выстрел прозвучал первым, не так ли?

— Разве? — Немед неопределённо пожал плечами, выказывая явное недоумение. — Но стрелял-то я попугать, и только.

— Так и я не в тебя метил. Видишь, как мы оба удачно промахнулись, — усмехнулся Иберий. — Ладно, не переживай, мы же никому не станем рассказывать о нынешних промахах, правда?

— Не пойму, почему ты так наивно уверен во мне? С чего бы? Я, кажется, не давал повода? — оскалился Немед. — Не боишься, что доложу Судье, как было дело? — сощурился он.

— А ты, оказывается, ещё и ябеда, дружок? Вот бы ни за что не подумал! Да тебя следует объезжать за версту! — покосился Иберий на своего спутника и неожиданно прыснул, расхохотавшись так, что эхо прокатилось по всей долине, вспугнув стайку соек. — Ты и впрямь полагаешь, будто Судье есть какое-то дело до наших распрей? Да у него и без нас с тобой забот полон рот. И вообще, —

изрёк он, впадая в этакое пространное философствование, — достигнув бессмертия формы, задумываешься совсем о других вещах. Взамен отсутствия желаний, бессмертие накладывает иные интересы, нам ли с тобой не знать об этом?

— А разве я... разве мы уже достигли бессмертия? — театрально закатил очи Немед.

— Ну, не совсем ещё, чтобы... — Посланник покачал головой. — Не совсем чтобы так. Но ты же можешь принять любую форму, какую захочешь. Всё в твоих силах, правда же? Это ли не бессмертие?

— Честно говоря, никогда не думал о такой возможности. Вроде бы ни к чему, — буркнул себе под нос Немед. — Впрочем, любопытно послушать. А что, смена формы меняет поставленную задачу?

— Разумеется! А как же ещё? Новая форма — новая и задача! Только так. По-другому и быть не может!

— Тогда в следующий раз я, пожалуй, подумаю о том, чтобы обратиться в лошадь, — задумчиво проговорил Немед. И немного погодя добавил: — В молчаливую лошадь.

— А я подумаю, не обменять ли на тебя Пегаса? — подмигнул ему, растянув улыбку, посланник.

— Ну вот, такую мечту испоганил, — немедленно надул губы Немед.

Солнце тем временем уже достаточно высоко поднялось над лесом, ночная буря умчалась куда-то на восток, и навстречу им всё чаще стали попадаться израненные окровавленные бойцы. Поодиночке или группами тянулись они обречённо к далёким горам. Казалось, невыносимая тяжесть лежала на их согбенных спинах. Пара таких воинов поравнялась с ними — молодой с отрешённым взглядом неловко подволакивал ногу и тяжело опирался на плечо товарища с седеющими усами и забинтованной головой. «Не узнаю этих мест, друг, — промолвил тот, что моложе, — совсем не узнаю». «А я впридачу ещё и не вижу», — отвечал товарищ, и они уныло поплелись дальше.

— Ничего, скоро узнаете, — хмыкнул им вслед посланник.

— Это как сон стряхнуть, некоторые долго не могут, — согласно кивнул Немед. — Обычно, как на край выйдут, как море увидят, так и признают. — Он оглянулся на эту прошедшую мимо них парочку и спросил: — Так что ты там нынче толковал про бессмертие?

Иберий ответил не сразу, долго молчал и наперёд спросил сам:

— А какое послание ты вёз давеча?

— При чём тут это? Ты же знаешь, что я не могу...

— Знаю, знаю! — перебил Иберий. — Но послание передано, и должное свершиться свершилось. Не правда ли? Так чего ты боишься? Случившегося уже никто не отменит, его нельзя отыграть назад.

Но Немед угрюмо молчал, и Иберий продолжил:

— Молчишь? А я объясню твой страх. Есть тонкая грань — граница, до которой свершившееся ещё нельзя считать свершённым. Даже наш чудесно податливый язык не позволяет нам этого сделать. Мы сами себе не решаемся сказать до поры: «Ну всё! Свершилось!» Мы даём некоему времени истечь, некоей длительности излиться, прежде чем объявить такое. Эта дельта времени,

этот временной зазор субъективен, он для каждого свой — общего правила не существует. Но! Чем ты ближе к Олимпу, тем шире такой интервал. Ты спрашивал про бессмертных? Так вот, для них вообще не существует свершённости! Только движение, процесс...

Тут он пустил смешка и неожиданно сменил тему:

— Кстати, забыл спросить, а ты за белых или за красных?

— А может быть, я за чёрных, чего про них не спрашиваешь? — угрюмо фыркнул Немед, должно быть, обидевшись за «бессмертных».

— Э-э-э, дружок, тогда тебе лучше уж оставаться таким, как есть, — покачал головой Иберий. — Лучше и вовсе не обращаться в лошадь. А то... А я так уж и быть оставлю себе Пегаса.

— Ну и дурак же ты, в самом деле! Ты должен был протрубить начало, а меня послали всего лишь посеять сомнения. А ты тут целую историю раздул про бессмертие.

— Хочешь сказать, ты был выше пристрастий? Но почему тогда среди павших я вижу лишь воинов Абариса? Можешь объяснить этот казус?

2

Дом стоял на холме, на самой его вершине. Возможно, кто-то сказал бы, что это и не дом вовсе, а целый замок, но нет, на замок он походил мало, разве что своими размерами. Скорее дом какого-нибудь квакера, точнее — дом собрания друзей внутреннего света; незатейливый, без всякой лепнины, грубой каменной кладки. Единственным излишеством можно было бы счесть пилястры с рисунком греческого меандра да угловую башенку слева от входа, но и они, скорее всего, служили элементом конструкции, нежели украшением фасада. Окнами дом смотрел на зарю, оттого по утрам казалось, что он горит, полыхает в лучах солнца. Зато к вечеру он пугал пустотой своих холодных глазниц, в нём редко зажигали огонь и нечасто засиживались гости. Вот и теперь на исходе дня на веранде под тяжёлой зеленью лавра сидели лишь двое — Судья да Учитель — хозяин и гость. Огарок свечи, облюбованный мошкаррой, служил им единственным источником света. Сумерки уже укутали плотным туманом долину, поднявшись до середины холма и затопив округу, и потому дом, будто какой-то неведомый корабль, плыл в безбрежье наступающей ночи. Эта встреча происходила аккуратно перед тем, как посланнику отправиться к братьям, то бишь ровно день назад. Однако днями здесь никто и не мерил. Здесь считали звёздами, лунами...

— Несессий почти разгадал замысел богов, — продолжал гость прерванный, очевидно, не так давно диалог.

— Думаешь, это что-то изменит? Кто-то ему поверит? Да он и сам себе вряд ли поверит, — тихонько усмехнулся хозяин. Но тут же сомкнул брови: — И потом, мне ли уследить за всяким пейзажем, страждущим откровений? Пускай этим занимаются братья, — и он тяжело вздохнул.

Учитель почтительно кивнул, соглашаясь с таким веским доводом, но чуть погодя повторил приступ.

— Им, конечно, сподручнее, но уж больно они увлеклись игрой. Словно ничего другого на свете и не происходит, не существует.

— У тебя есть предложение, мэтр? Выкладывай.

— Ему нужен проводник, ваша честь. Хватит ему околачиваться внизу.

— Ты так считаешь? И у тебя уже кто-то есть на примете?

— Да, разумеется. Но придётся ещё повозиться.

— А это не покажется ли кому слишком явным вмешательством? Будто в котелок с похлёбкой кто-то сунул свою вороватую ложку, чтобы выудить из него кусок пожирнее.

— Нет, нет, — замотал головой гость, — всё будет обыденно. В нынешней суматохе устроить подобное совсем нетрудно.

Оба помолчали, разглядывая, как мошकारа, притягиваемая губительным сиянием и не ожидая подвоха, гибнет в смертельном пламени. Этот изо дня в день повторяющийся сюжет — меркнувший в чаше долины свет, неторопливый разговор, шорох листвы под ногами, — все эти привычные мелочи, словно паук паутину, ткали самую нить существования, нить времени.

— А скажи-ка ещё, мой друг, — опомнился первым хозяин, — нынче он лишь один такой? Ты лишь одного приметил? Бывало ведь ещё недавно, ещё каких-то лет сто назад... — но он не закончил, потому как Учитель принялся так усердно кивать, почти что трясти головой, ровно как китайский божок, что не было никакого смысла проговаривать известное им обоим. — Тебе самому это не кажется странным?

— Нисколько! Философия — сестра меланхолии, а боевые трубы задают совершенно иной строй мыслей, так что ничего удивительного здесь нет. Тут не до откровений, не до поиска смысла.

— Ну, знаешь ли, страх смерти, разумеется, перевешивает страсть к философии, однако некоторых это лишь подстёгивает к поиску ответов.

И опять гость вынужден был согласиться.

В этом, безусловно, есть разумное зерно, — кивнул он, — и всё-таки страх есть только лишь страх, не более. Для поиска ответов, для поиска правильных ответов нужен свободный полёт фантазии, безмятежность открытых пространств, — тут он широко раскинул руки, будто намереваясь взлететь. — А, впрочем, наш Несессий та ещё птица, — усмехнулся он. — Лавры Икара не дают ему покоя.

Судья рассмеялся, и смех его походил на долгое уханье ночной птицы.

— Припомнилось, как он вызвал Аполлона на состязание, — с трудом выговорил он, как только поборол свою слабость. — А уж красавчик-то наш недоумевал: «Он это что, всерьёз? И как мне прикажете наказать этого наглеца?»

— Да, в отрочестве водились за ним такие шалости. Поговаривают, с тех пор и вошло в обиход расхожее «шкуру с него спущу».

Минуто-другую оба они покряхтывали, перебирая в памяти старые анекдоты про бедолагу Марсия, с которого и началось изготовление барабанов.

— Но вот ведь какая загвоздка, мэтр, — Судья окончательно пришёл в себя, и от минутного веселья не осталось и следа. — Сейчас всё самое интересное

только начинается — самый разгар событий, если верить сценарию братьев. Захочется ли ему покидать сцену в этот исключительной важности час?

— Ну... мы пошлём за ним проводника, от услуг которого он не сможет отказаться, не посмеет, — помотал головой Учитель.

— Да и то сказать, посмотрит на происходящее сверху, свысока, — махнул рукой хозяин, невольно передразнивая манеру гостя подчёркивать сказанное.

— У них завсегда так, — вздохнул Учитель. — Кто-то актёрствует из раза в раз и ничего иного ему не надо, а другому сразу же подавай режиссёрское кресло.

— Это ты о чём сейчас? — насторожился хозяин.

— Так... просто вспомнил самого себя в том же статусе.

— Давненько же это было, — почтительно кивнул Судья.

— Ещё и Иерихон не пал, — кивнул тот.

Тень подкралась уже к самому дому, затопив сад, и на краю ночи отчаянно загremели цикады. Можно было бы легко различить каждую, но вместе они создавали ту неповторимую увертюру повечерия, в которую позже вступят и другие исполнители, затерянные до поры в листве. И хозяин, и гость невольно заслушались их сухой скрипичной трескотнёй.

— Так что ты там давеча обронил про актёрство? — продолжил после долгой паузы хозяин. — Оно ведь изначально повелось, такое деление на сочинителей и исполнителей, и не зависит от числа ролей. Это самое глубинное свойство души, ей богу, — вздохнул он. — Тех времён, когда оно зарождалось, я уже не застал, и потому мне его причины неведомы.

— То есть кому-то нравится просто играть, а кому-то — придумывать эти игры? — уточнил гость.

— Именно! Именно так, и это бы ещё ничего, но тут есть одна интереснейшая тонкость, — прищурился Судья. — Согласись, раз есть первые и вторые, то, очевидно, случаются ещё и третьи — те, которым нравятся оба этих процесса. Но тонкость в другом — не в этом.

Тут он затих и оглянулся, будто кто-то мог подслушать его слова, но никого, кроме назойливых насекомых, в саду не было, и он продолжил:

— Подвох в том, что из этих третьих — из тех, кому нравится и играть, и сочинять, — никому не интересно играть в игру, которую сам же и придумал. Во всяком случае, я таких не припомню. Как думаешь, отчего так сложилось?

Настал черёд задуматься гостю.

— Полагаю, что никому ещё не удавалось обмануть самого себя. Оттого и не играют, — заключил он. — Для того, чтобы возымело эффект обратное действие, надо всё начать заново. Надо выйти и снова войти.

— Выйти и снова войти, — непроизвольно повторил вслед за ним Судья, покачивая головой.

— По сути, проживая жизнь, мы пишем сценарий новой, — заключил Учитель. — Не так ли?

* * *

На въезде в лагерь их встретила натуральная полоса препятствий. Повсюду воронки от разрывов, поваленные, состриженные, точно гигантским серпом, деревья. И ни единой живой души вокруг. Они помрачнели.

— Таковую поляну изгадили! — проворчал Юрка. Он даже привстал в коляске, чтобы перекричать мотор.

На месте разбитой кухни зияла дымящаяся рывина, тянуло гарью. Разбитые лавки, тлеющий брезент столовой палатки, словно распоротое брюхо поверженного дирижабля. Бываловская эмка завалилась набок, но ни самого полковника, ни его водителя рядом не оказалось. В общем, сбылись их самые мрачные ожидания. Теперь оставалось только одно — срочно установить связь с соседями, узнать, у них — что происходит?

Неожиданно Сашка резко затормозил. Из развороченной дернины торчали чьи-то ноги. Собственно, это был первый человек, которого они обнаружили.

Он лежал, завалившись на бруствер, вполовину засыпанный землёй, сапогами наружу — песочный человек, да и только, — припомнилась Тёма какая-то мрачная сказочка.

Откопали — лейтенант, и вроде даже не ранен, просто оглушило взрывом, перевернули на спину, и вдруг нате вам! Тёма даже присвистнул от неожиданности — Марик! Ну прямо копия! Неужто он?! Здесь? Но откуда, чёрт возьми?! Он глазам своим не верил!

А тот приподнялся, распечатал иссохшие, присыпанные песком губы и вроде как улыбнулся даже, но вышла не улыбка, а скорее ухмылка.

— Марк? — с трудом выговорил, буквально выдавил из себя Тёма.

— Марк? — переспросил тот с явным недоумением, отплёвываясь от налипшего на губах песка. — Ну да, помню, я носил и такое имя.

— Постой-постой, что значит, носил? Ты что?! Ты разве не Марк? А кто же?

— Да Марк, конечно же, Марк! Ну? — и он приветливо раскинул руки вроде как приглашая обняться.

Тёму же насторожил этот жест. Нет, в поведении друга не было ни грамма фальши, но скорее чрезмерная искренность, которой он прежде никогда себе не позволял.

— Но почему тогда так странно отвечаешь? Тебя что, контузило?

— Контузило? Да, есть немного, — проговорил он задумчиво, несколько нарочито потирая затылок. — Тут фугасами всё накрыло. Ну, прямо адское пекло! А, впрочем, не обращай внимания. Прошло уже.

— Вот чёрт! Слушай, а где тебя носило всё это время? Считаю, два года прошло! Мы же тебя похоронили давно! — Тёма был в смущении и замешательстве. Он то и дело теребил гимнастёрку, оправлял складки, точно перед первым выходом на сцену. — Ни письма, ни весточки, ни гу-гу.

— «Мы» — это кто?

— Я и Варька.

— А, Варя... — и в его глазах вспыхнуло воспоминание. — Как она? Что поделявает?

— Учится, наверное. Должно быть, сессия теперь. На прошлой неделе писала. Но ты-то! Ты-то как?! Где пропадал?! Тебя посадили?

— Это сейчас неважно, уже неважно, — отмахнулся он. — Твои друзья? — он кивнул на ребят.

— Да, Саня и Юрик, знакомься.

— Что у него с плечом? Ранен?

— Да, ну... да, ранение сквозное, пустяк. Заживёт до свадьбы. Но ты-то, ты-то где пропадал?! Тебя судили? По какой статье?

— Ты задаёшь слишком много вопросов, — усмехнулся Мирик с какой-то тяжёлой вымученной улыбкой. — Ты скучал?

— Разумеется!

— Вот это и есть самое главное, дружище, а всё остальное не имеет никакого значения.

— То есть как это не имеет? Как не имеет? Ещё как имеет! Как ты вообще здесь очутился? Да ещё и в звании!

— Я пришёл за тобой.

А вот это уже перебор! Тёма буквально подпрыгнул от изумления.

— Это вааще под дых! — осклабился он. — Ты что же, узнал, где я? Но как, чёрт возьми?! Откуда?!

— Вот видишь, опять у тебя вопросы. Вопросы, вопросы... — поморщился Марк. — Неужели не наскучило жить в мире, где всё объяснено и всё растолковано? — И тут он лукаво подмигнул: — Оставь место загадкам, всему свой черёд.

Легко ему рассуждать, — насупился Тёма, — свалился, как снег на голову, а ты тут разгадывай его секреты. Весёленькое дельце! Ну не хочет он этого говорить, таит чего-то, так и скажи прямо — об этом нельзя. Но вслух он ничего такого не высказал, лишь наигранно-беспечно промурлыкал себе под нос: «Я Колю встретила на клубной вечериночке...»

Парни разбрелись по лагерю в поисках уцелевших, и Тёме ничего не оставалось, как смириться с этой неразрешимой загадкой. Какая-то неловкость повисла между ними — он буквально физически её ощущал. Казалось бы, куда как радость — Марк вернулся! Живой! Да это же чудо! Но угрюмая тяжесть давила грудь, не отпускала, неосознанная угрюмая тяжесть. «Вот завсегда так, — ворчал он про себя, — нет бы ликовать, бить в барабаны, а ты...» На этом «а ты» он споткнулся. Стоп! А какие такие огрехи он себе приписывал? Сомнения? Да любой бы засомневался на его месте. Взять ту же Варьку. Неужто бы она приняла всё как должное? Да куда там! Ещё бы и больше вопросов накидала! Надо будет написать ей, кстати. И тут же спохватился — какая же теперь почта? Куда писать? Что вообще происходит на белом свете? И невольно вырвалось:

— Марк, как думаешь, это уже война?

— Разумеется, война! А что же ещё? Ты разве её не узнал? Её же все ждали, вот она и явилась. Кто-то похозяйничал в храме Януса.

— Поясни, не понял.

— Есть поверье, что двери храма открывают лишь во время войны. Храм Януса, ну, тот самый, что на римском форуме, — пояснил Марк. —

Вообще-то, несколько иначе, — поправился он. — Их закрывают на время мира. Но мир в Римской империи... это, скорее, нонсенс.

— А разве он сохранился до наших дней, этот храм? — удивился Тёма.

— Ну нет, конечно же, — улыбнулся Марк. — Это я так... метафорически.

Повисла напряжённая пауза. Казалось, Тёма мучительно искал какое-то нужное возражение.

— Но ведь не такого ждали, — нашёлся, наконец, Тёма. — Должно же было как-то по-другому начаться, — он пытался сформулировать, объяснить некую общую, как ему казалось, схему, позицию, но спохватился.

А никакой общей позиции и не было. Недомолвки, намёки, расплывчатые формулировки, обещания, да что угодно, но только не приказ. Окончательный и бесповоротный, доведённый до самого последнего рядового приказ.

В ответ Марк лишь скривил усмешку.

— Такая — не такая, разве это имеет значение? Реальность отменяет ожидания. — И, глубоко вздохнув, добавил: — Всегда отменяет.

А Тёме почему-то припомнилось море, как ждал, как впервые увидел его ещё из мутного вагонного окна крымского поезда — необъятное, бесконечное и совсем не такое, каким оно представлялось в его детских мечтах с корабликом и чайками.

— Как думаешь, ОН предвидел что-то похожее? — спросил Тёма, особенно упирая на это неловкое «он».

Но вместо ответа Марк огорошил его неожиданным вопросом:

— Помнится, ты что-то там рассказывал про первую любовь. Как бишь её имя?

— Катя.

Тёма не больно-то любил вспоминать эту историю. Для друзей они просто разошлись, разбежались по общему согласию. Но это для друзей. А на самом деле его попросту бросили. Однажды она не явилась на договорённое свидание. Не пришла, и всё тут. А после он увидел её с другим парнем — сидели на скамеечке, тесно прижавшись плечами. Нет, он не стал выяснять причину — к чему скандал, когда и так всё ясно. Жалел ли он? Разумеется, жалел. Но выставлять напоказ свои переживания? Ловить на себе сочувственные взгляды товарищей? Ну уж нет, увольте! Не фартово как-то.

— Так вот, когда ты был вместе со своей девушкой, с Катей, ты предполагал какое-то иное развитие событий, кроме счастливого?

Тёма задумался. Нет, конечно же, ничего эдакого он не предвидел. Не то чтобы будущее рисовалось ему в розовом цвете — он о нём вовсе не думал. Даже времени не было на подобные глупости. Он просто наслаждался свалившимся на него счастьем, просто наслаждался. И потому теперь не знал, чем возразить другу — не задумывался? А если бы задумался?

Но Марк и не настаивал на ответе. Тёме показалось, он и без того знал ответ.

— Когда поглощён какой-то идеей, когда отдаёшься ей весь без остатка, то сам невольно становишься воплощением этой идеи. Ты и идея, вы срастаетесь заживо. Ты и она — одно и то же. Как же тебе отказаться от неё, увидеть

со стороны, разглядеть все плюсы и минусы? Отказаться от идеи — означает для тебя лишь одно — отказаться от самого себя.

— Хочешь сказать, что меня без идеи и нету?

— Ну, конечно же, есть, — усмехнулся Марк. — Вот только ясно это становится лишь тогда, когда эту идею у тебя отняли, когда ты лишаешься этой своей идеи. Вот тогда ты остаёшься самим собой. Взять, к примеру, того же Ленина. Кто он без идеи мировой революции? Третьеразрядный адвокат, не более. Не какой-нибудь там Кони. Жалкая сотня клиентов, дела по разделу имущества, тяжбы из-за клочка земли. Скуотища! И вот вопрос, а что тут главное — человек или его идея? Идея была на слуху ещё со времён Маркса, но многих ли она соблазнила? Скольких поклонников собрала? — несколько тысяч? Десятков тысяч? И тут появляется человек...

— Постой-постой! — Тёма нетерпеливо перебил его затянувшийся спич. — Ты хочешь сказать, что идея существует помимо человека?! Разве она может жить сама по себе?

— А разве идея уже не живёт в самом материальном мире? — улыбнулся в ответ Марк. — Смотри, ты складываешь ладонь в горсть, чтобы напиться воды — вот тебе и идея ложки. Ты подкладываешь под плот бревно, чтобы спихнуть его в воду, и вот у тебя идея колеса. Мир кишит идеями. Он буквально выстроен из них, как дом из кирпича. Только не ленись, открывай! Откуда, например, взялась идея полёта? Любой школьник тебе ответит — от птичек и бабочек. Не было бы этих тварей, человек бы ни за что не поднялся в небо. Невозможно создать то, чего бы уже не существовало в мире в виде некой отвлечённой идеи.

— А как насчёт двигателя внутреннего сгорания? — скривил улыбку Тёма.

— Это всего лишь конгломерат идей. Вначале, если ты помнишь, было движение пара.

В эту мирную их беседу неожиданно ворвалась отдалённая стрельба. Стреляли из автомата короткими — по два-три выстрела — очередями. Тёма прислушался. Прибежали ребята, затрещали наперебой, временами сбиваясь на шёпот: «Там немцы! Добивают раненых!»

— Эти, как их там? — зондеркоманда! — пояснил Юрик. — Падальщики!

— Между прочим, такие же, как твой давешний очкарик, — уточнил Сашка, — которого ты взялся жалеть.

— Что ещё за очкарик? — переспросил Марк.

— Понимаешь, я человека убил, — выдохнул Тёма.

— Да не человека, а немца! — перебил Сашка.

— Немец тоже человек.

А Марк опять выкинул одну из своих заковырок:

— Я ждал, когда ты об этом расскажешь, — он произнёс это тихо, точно как мама, когда обнаружила опустошённую банку варенья.

Ещё мгновение назад Тёма бы уцепился за это очередное откровение, но сейчас было не до подробностей.

— Сколько их? — спросил он.

— Двое.

— А нас четверо. Ну, или трое с половиной, — покосился он на Юрика. — Господь на стороне больших батальонов. Ходу!

— Поохотимся! — подхватил Сашка.

Рассыпались цепью. Условились, что первым выстрелит Тёма из доставшегося ему вальтера. У Марка тоже был пистолет — родной советский ТТ, но он, как ни странно, не проявил никакой инициативы и не спешил воспользоваться своим старшинством. И это в очередной раз заставило Тёму задуматься.

Затаились возле крайнего ряда палаток, точнее, возле того, что от них осталось: частокол, ободранный, обгорелый брезент да противопожарная канава. Подождали. Наконец послышалось характерное карканье. Шли двое. Рядовые. Один худой со шмайсером наперевес, другой — толстяк и пониже, — с чем-то вроде дротика или пики. Изредка он куда-то тыкал этим своим оружием — с их позиции было не разглядеть. Они шли размеренно, не таясь, отирая пот и тяжело отдуваясь. И всё время о чём-то болтали. Тёма невольно прислушался к их разговору, но понимал он далеко не всё. Впрочем, и то небольшое, что он сумел осознать, не оставляло никаких сомнений.

— Гуго, разве папа не учил тебя экономить патроны? — ехидно посмеивался толстячок. — Вот смотри, простого механизма достаточно. Раз и всё! — накалывал он очередную жертву. — Это была семёрка треф, между прочим. Не ахти что. А вот прошлый попался бубновый валет. Здорово!

— Ты просто мясник, Руди, обычный мюнхенский мясник, — беззлобно огрызнулся худой. — Сам мясник, и отец твой мясник. Это у вас родовое.

Тёма уже давно держал на мушке худого. Подначивало перевести на мясника, на этого Руди, но тот был не опасен для них, и он оставил его для Сашки. И всё случилось, как он и рассчитывал, мгновенно. Даже ни одна ворона не каркнула, усмехнулся про себя Тёма.

Невольно вставал вопрос, а что дальше? Следовало бы похоронить однополчан, но павших было так много, что парни не раз сбивались со счёта. Тут и целой похоронной команды не хватит. «Оставьте мёртвым хоронить своих мертвецов», — изрёк Марк какую-то одному ему ведомую максиму.

— Что это? — насторожился Тёма.

— Евангелие от Луки.

Сашка осторожно потянул Тёму за рукав — отойдём?

— Какой-то он странный, этот твой приятель, не находишь? — пробормотал он, морщась, и pokrutil пальцем у виска.

Тёму терзали те же сомнения, но он решительно встал на сторону друга.

— Ты не понимаешь, он же прошёл лагерь! — зашептал он в самое ухо товарища. — Мы с тобой такого не проходили.

— А за что его?

— Молчит, не рассказывает, — замотал головой Тёма.

— Ладно, — отмахнулся Сашка, — и куда мы теперь?

— Не знаю...

— На запад, — ответил за него Марк. — Если нет другого пути, всегда следуй за солнцем.

Ребята невольно переглянулись — он что, подслушивал?

— Но там же враг! — вмешался Юрик. До сих пор он угрюмо молчал, начиная от самой их охоты на немцев.

— Теперь повсюду враги, разве ещё не понятно?

Что-то странное творилось с его голосом. Прежде Тёма списывал это на контузию, но теперь понял — не в ней причина. Она бы не дала такого эффекта. Дело в том, что голос Марка обладал какой-то необычной внутренней силой. Он не то чтобы не позволял усомниться в сказанном, он просто оставлял за бортом любые сомнения. «Вот скажите на милость, — рассуждал Тёма, — откуда это странное решение идти на запад, вслед за солнцем? Но ведь никто же не возразил, приняли всё как должное».

Неожиданно возле правого фланговой палатки первого батальона послышался приглушённый стон. Какой-то тяжелораненый подозвал к себе.

— Слышь, браток, пособи, а? Окажи последнюю услугу. Только чтобы сразу, чтоб не мучиться. Один выстрел, а?

Он полусидел, привалившись спиной к сосне, и тихо стонал. Гимнастёрка в районе пояса насквозь пропиталась кровью.

Тёма застыл в нерешительности.

— Ну чего же ты тянешь, друг? Всего один выстрел, а? Ты что, меня не узнал? Печёрские мы, из Печёры. Забыл разве? Я-то тебя помню. Ты же Панин, ну? Панин? Один выстрел только...

— Попытка номер два, — отчётливо прозвучало у него за спиной.

На этот раз эти слова произнёс Марк.

Тёма в удивлении обернулся.

Марк решительно помотал головой — не надо!

— Отдай ему свой вальтер, — шепнул он.

Они отошли чуть в сторону, но выстрела сзади так и не услышали.

— Вот видишь, — поучительно кивнул Марк, хотя Тёма опять ничего не понял.

— Заболтались мы, — произнёс он устало. — Мне же связь установить надо, предупредить! Узнать, где что творится в округе.

Они вернулись к мотоциклу, и Тёма принялся за настройки. Но в эфире стояла мёртвая тишина, все каналы молчали. Тёма лихорадочно менял частоты — пустота. И тут только до него дошло — ведь радиостанции никто ещё толком не получал, только-только команда в подразделения поступила. Оттого и тишина в эфире. Просто он единственный такой, первый! А отсюда и ещё более страшная мысль: в Москве ничего не знают! Попросту некому доложить. И что делать? Тут же вспомнились училищные занятия. «Позывные и частоты соседей получите по прибытии на место службы, — рассказывал им наставник. — А вот это самая главная частота, — скрипел он по доске мелом, — это мозг армии. Но это не для вас, просто к сведению, не под запись. Там вас даже слушать не станут».

«А что будет, если набрать?» — выкрикнул кто-то с задних рядов.

«Что будет, что будет? — передразнил тот. — Наградят, конечно... за храбрость. — И, выдержав паузу, трагическим голосом завершил: —

Но это уже посмертно». Он был такой же балагур, как их школьный учитель по радиodelу.

Но Тёма циферки записал, точнее, запомнил. И вот теперь он выставил именно эту запретную частоту.

«Всем, кто меня слышит. Отзовитесь, кто слышит. Немцы атакуют по всем направлениям. Сегодня на рассвете. По всем направлениям!» — неустанно повторял он.

Наконец в наушниках раздался характерный зум, и чей-то хриплый голос прокаркал: «Кто докладывает? Почему не по форме? Почему не представились? Почему прямым текстом? Кто вас учил шифрованию?»

Кто-кто — лихорадило Тёму, — дед Пихто! Спыхватился. Он же и позывных не успел получить. Не давали. И что же теперь?

«Говорит Печора! — выхватил он первое, что попало на ум, — говорит Печора! Сегодня на рассвете атакуют по всем направлениям! Это война! Война! Слышите, это война!»

«Какой, на хрен, Печорин?! — взорвалось на том конце. — Забудьте эту частоту, рядовой! Немедленно! Не засоряйте эфир! И прекратить сеять панику! Под трибунал пойдёшь!»

— Ну вот, ты свою задачу и выполнил, — едва улыбнулся Марк, — ты объявил войну, и теперь ты свободен.

Странная интонация прозвучала в его голосе.

Тем временем опушка возле ручья, где он обычно просиживал после отбоя, ожила, пришла в движение. По всему выходило, что эти два падальщика были тут не одни. И едва Тёма осознал это, как яркая вспышка на мгновение ослепила его. Это было вроде удара. Он оступился, сбился с шага, но Марк вовремя удержал его, схватил за руку и не дал упасть. А следом он отколол и ещё более странную штуку. Тёма хотел было обернуться, взглянуть, что там с друзьями, но Марк ухватил его за подбородок и удержал:

— Не оглядывайся!

— А как же с ребятами?

— Не беспокойся, они нас нагонят, — бесстрастно произнёс Марк.

* * *

— Так что ты там собирался рассказать про очкарика?

Марк заложил очередной вираж, и Тёме снова пришлось подстраиваться под ход его мыслей.

— Понимаешь, нельзя было его убивать. Неправильно. Он ничегошеньки нам такого не сделал, он даже не сопротивлялся. Эдакий тихий, по виду совсем домашний человек. Да, он был в форме, но оказался здесь на войне совершенно случайно.

Марк как-то смешно фыркнул, повторив за ним то ли насмешливо, то ли нараспев слово «случайно», и предложил:

— Ну что же, давай порассуждаем. Представь ситуацию: ты остался один на всей земле, единственный человек, эдакий Робинзон Крузо. И ты знаешь об этом доподлинно. Неважно откуда, просто знаешь, и всё. Знаешь,

что ты один, и даже пытаться кого-то найти не следует. Ты просто один-одинёшенек. Скажи, что ты предпримешь в такой ситуации?

— Ну, не знаю. Буду просто жить, наверное, — пожал он плечами.

— Резонно спросить, а зачем? Жить ради просто того, чтобы жить? Без цели, без надежды, что что-то изменится, что появится какой-то другой человек? Такая жизнь пуста, не правда ли? Абсолютно пуста! Пуста и бессмысленна. А коли она пуста, то это уже и не жизнь вовсе, а мучение. Тебе попросту страшно окончить такую никчёмную жизнь, оборвать её. Возможно, тебе представляется сам процесс умирания ещё большим мучением.

Марк помолчал и продолжил:

— Теперь рассмотрим другого человека. Нет больше необитаемого острова, необитаемой земли. Он живёт в обычном мире среди множества других людей, но в какой-то момент узнаёт, что в его жизни уже ничего не случится, ничего не будет: ни жены, ни детей, ни друзей — никого. Его жизнь пуста, как выеденный орех. Он пустой человек. Он пустой именно с этой точки зрения — бессмысленности своего существования. Ты убил пустого человека. Ты сделал это за него. Или за кого-то другого. Говорят, человек умирает, когда приходит его время. Это не совсем точная формулировка. Человек умирает тогда, когда становится пуст. Возможно, сам он не замечает своей пустоты, не догадывается об этом. Возможно, не догадываются об этом и другие. Кажется, ему бы ещё жить да жить. Но он уже пуст. Почему приходит война? Потому что появляется слишком много пустых людей.

— И откуда же их столько берётся?

— О, я мог бы изложить тебе целую теорию или написать трактат по этой теме — впрочем, и то, и другое уже и создано, и написано, — но у нас на это сейчас нет времени. Если же совсем коротко, то волны жизни имеют не только гребни, но и впадины. Подумай об этом.

— Но разве может быть пуст человек, у которого есть жена, дети, масса идей, замыслов, которые он ещё не успел воплотить? Он живёт насыщенной жизнью, дышит полной грудью и вовсе не собирается умирать. У него есть чем заняться в мире, у него уйма дел! Разве может он быть пуст?

— Я же сказал, он может питать иллюзии, что жизнь его наполнена смыслом, что ему ещё многое предстоит совершить. Но это всего лишь иллюзии. Ему уже ничего не светит, он пуст. Сама его смерть говорит нам об этом. А все надежды его самого или его родни и друзей — это лишь заблуждения. Всё, что он должен был сделать в этой своей жизни, он уже выполнил. Он исчерпал свои задачи, он пуст.

— Хорошо, пусть так. Но разве нельзя жить пустому человеку? С чего вдруг такой запрет?

— А как ты себе представляешь такую жизнь? Что ты станешь делать, когда у тебя иссякли цели, задачи, амбиции, чувства? Ты способен себе представить такое существование? Изо дня в день, из года в год одно и то же — пустота, унылая пустота. Ты как губка всасываешь всю печаль мира. Разумеется, ты делаешь это исподволь, не отдавая себе отчёта. При этом самому тебе кажется, что ты озабочен поиском некоего смысла — вот-вот и тебе откроются тайны

мироздания, ты ухватишь этот самый эликсир жизни. Ты даже готов повторить вслед за Екклесиастом «в великой мудрости великая печаль...». Но всё это не мудрость, а мудрствование. Оно и яйца выеденного не стоит. В истинной мудрости заключена лишь радость. Но в своих иллюзиях ты не способен разглядеть это.

— Но если это так, если это только иллюзии, то как человеку узнать, что он пуст, что его жизнь подошла к концу? Может ли человек узнать это?

— Любопытный вопрос. Нечасто встречал я людей, которые им задавались. Ну что ж, попробуем. Ты ждал троллейбус на остановке, когда его долго не было? Всё не было и не было. Пять, десять, пятнадцать минут, а его всё нет. Что написано на лицах людей, ждущих вместе с тобой? Ожидание. Нетерпеливое ожидание. Ожидание, что вот сейчас он придёт и мы, наконец, поедem. Начнётся некое новое событие, начнётся движение. Наконец-то начнётся движение! Вот это и отличает человека, когда он пуст. Он ждёт чего-то нового, ждёт движения. Потому как смерти по существу нет, как нет и самого времени. Есть лишь постоянная смена событий.

Тут Марк неожиданно остановился, так что Тёме показалось, что он не столкнулся с ним, а пролетел мимо. Тот улыбнулся и спросил:

— Ну как, у тебя ещё остались вопросы?

— Почему-то меня постоянно гложет сомнение, что ты Марк, во всяком случае, не настоящий Марк. Прости, но это действительно не даёт мне покоя.

— Вот так штука! — хмыкнул Марк. — Ну что же, могу сказать, ты не очень далёк от истины. Вполне разумные сомнения. Отвечу так: я и Марк, и не Марк.

— Но кто же ты?

— А ты попробуй сам отыскать ответ. Он проще, чем ты думаешь.

— Но я даже не знаю, с чего начать? За что уцепиться?

— А ты уцепись за ассоциации, которые у тебя вызывает моя фигура. Они могут быть зрительные, или слуховые, или ещё что-нибудь в этом же роде. Просто оттолкнись от меня и ухватись за ассоциации.

— Буквально несколько мгновений назад, даже ещё до того, как я задал вопрос, рядом с тобой всплыло незнакомое мне слово Иберий. Оно буквально крутится на языке. Я даже не знаю, что это, — остров, минерал, имя собственное? Это что-то означает? Или это пустая игра ума?

Марк даже расхохотался в ответ.

— Вот видишь, как просто всё оказалось, — с трудом выговорил он сквозь смех. — Ты действительно вспомнил моё настоящее имя.

— Но прежде я его никогда не слышал, ты никогда не называл его!

— Это и неудивительно. Его не называл Марк. Тот Марк, которого ты помнишь. Он и не мог его называть, потому что и сам не знал этого имени. А теперь, может, вспомнишь ещё и своё? — своё настоящее имя.

— Несс? — нерешительно выговорил Тёма.

И снова Марк, или это уже был Иберий, пронзительно рассмеялся.

— Странно, что ты вспомнил именно это. Так тебя дразнила Деянира — ты ей напоминал влюблённого кентавра. На самом же деле ты Несессий. Прислушайся, как гордо оно звучит. — Он задрал голову и издал нечто вроде

орлиного клёкота: — Несессий! Впрочем, если это имечко кажется тебе слишком длинным, я могу называть тебя и короче. Скажем, Нессий. Такое сокращение тебя устроит?

— Пожалуй, это лучше, чем кличка кентавра, — улыбнулся он. — А почему ты мне давеча запретил оборачиваться? Это правда именно то, что я подумал?

— Да, именно это. А теперь ты здесь. И вот теперь ты можешь смело обернуться.

То, что он увидел, озадачило.

Казалось, что горизонт упал, завалился куда-то под ноги. Хотя нет, он-то, разумеется, никуда не делся, остался на прежнем месте, а вот сосняк ухнул вниз, обнажив бесконечные дали. Именно он и создал эту иллюзию провалившегося горизонта. Теперь они стояли на вершине холма, с плеч которого сорвало пятнистую сосновую шубу, а прямо перед ними во все стороны расстилались безбрежные воды, разбуженные утренним бризом. Но куда же подевалась ночь? Неужели они всю ночь проболтали?

— «Уже заря одолевала в споре нестойкий мрак...» — процитировал его спутник начало до боли знакомого трёхстишия.

— «...И, устремляя взгляд, я различал трепещущее море», — завершил он эту терцину.

Они переглянулись и невольно улыбнулись друг другу, а Иберий заметил:

— Ну вот мы и добрались, и, кажется, больше тебе не надо ничего объяснять. Там, внизу на скале, сидят братья. Не скажу что они заждались тебя, — у них и без нас дел хватает, но они будут рады повидать старого друга.

— Остались ещё двое, — бросил он ищущий взгляд на склон за спиной. — Хотелось бы прояснить их путь.

— А, эти-то... — усмехнулся Иберий. — Ты же знаешь, они пойдут через пустошь и ещё нескоро будут готовы к общению. А, впрочем, смотри. Видишь вон ту опушку перед холмом? — ткнул он пальцем в рыжий завиток на склоне. — Помнится, где-то там я и застал эту парочку. Догадаешься, за каким занятием?

— Дай попробую. Допивали трофейный шнапс?

— В точку! С привычками следует быть поаккуратней. Ты вот, кажется, до сих пор не погасил свою то ли дерзость, то ли насмешливость. Как это бишь называется — пересмешник?

— Насмешник-пересмешник, ага, — хмыкнул и развёл он руками. — Так с временем всегда нелады. Каждый раз самой малости не хватает чего-то поправить.

— Да, с этой субстанцией там проблемы, — согласился Иберий с тяжёлым вздохом.

— По мне так вообще нелепость все эти ограничения. Ну скажите на милость, зачем нужна идея конечности жизни на общем фоне бесконечности бытия? Что за причуда, право? К чему бы её пришить?

Иберий пустил смешка в ответ на его философию.

— Хотелось бы увидеть реакцию братьев на твой пассаж, — покачал он головой.

— А сам что скажешь? Или у тебя нет возражений?

— Сам скажу, что бесконечность индивидуума есть лишь малая бесконечность, но мы ничего не знаем о большой бесконечности, о Вселенной — бесконечна ли она? Никто не даст никаких гарантий. Так что тренируйся, пока ответ не найден.

Здоровенный валун преграждал им спуск вниз. На его плоском наверху восседала до боли знакомая нахохлившаяся фигура, смахивавшая издали на мокрую птицу.

— Немед? — удивился он не столько фигуре, сколько тому, как много всякой всячины утаивала до сих пор его память.

— Привет, Печорин, — выдал тот кривую ухмылку. — Ну что, наигрался в солдатиков?

«Ну глупость же, чёрт, сморозил!» — хмыкнул он про себя. И вообще, — он всё ещё Тёма или уже Несессий? Непривычно как-то. Просто сам переход был ошеломительно краток, он так и не вышел из роли. Он ещё какое-то время покатал на языке это утраченное и вновь обретенное имя и, выстроив самую приветливую улыбку, произнёс:

— Не всё же играть в ищеек. Иногда стоит делать и что-то полезное, правда?

* * *

Для Несессия наступила неминуемая пора осмысления. Долгими часами в одиночестве бродил он по залитой солнцем долине. Сам её воздух, настоящий на ароматах смолы и полыни, действовал на него умиротворяюще. Казалось, он соединялся, сливался с ним воедино так, что уже самого себя принимал не иначе как эти сосны и ветер, горечь трав. При этом спина его странным образом прогибалась, расправляя лопатки, и становилась ложем долины, а плечи, наоборот, вздымались, замыкая склоны, поддерживая янтарные мачты лесов. Он чувствовал, как свет и воздух проникают сквозь него и через него, и сам он становится нескончаемым источником света и воздуха. В такие мгновения радость переполняла его, и хотелось кричать, кричать что есть мочи, выплеснуть эту радость в мир. Но кричать было нельзя, чтобы не разрушить это хрупкое равновесие. Подобные медитации случались нечасто, но постепенно входили в привычку. Они приносили с собой целый букет новых переживаний. Он одновременно и хотел, и боялся подчиниться этой, казалось ему, чужой воле. Во всяком случае, он ещё не был готов к тому, чтобы признать её своей. В такие минуты, чтобы не потерять опоры, он всё чаще задавался вопросами: «Кто я? Где я? Зачем я?»

А порой его утомляла такая отрешённость, и тогда он днями напролёт просиживал на скале возле братьев, наблюдая их затянувшуюся игру. Разглядывал, как фигурки одна за другой бессильно валятся с поля. А то вдруг какой из братьев будто невзначай плеснёт рукавом и словно по волшебству выставит новую смену игрушек взамен выбывших. Очередной неопит помнётся, попереступает с ноги на ногу, словно застоявшаяся лошадь, и ринется в бой. И всё это под чаячий гвалт и несмолкаемый грохот океана.

Он вновь привыкал к этому забытому когда-то, но теперь открывавшемуся заново миру, полному неразрешимых загадок. Каждая иголлка на сосне, каждая песчинка на дороге таили свой смысл и были незримо связаны с миром нижним. К примеру, здесь можно вроде бы невзначай пнуть какой-нибудь камушек у дороги, а там, внизу, эхом прокатится горный обвал или даже целое землетрясение. А то ещё вот, — накатит вдруг ни с того ни с сего сомнение в подлинности бытия, и встречай тогда очередь самоубийц на пустоши. В общем, любая мысль, действие — всё требовало крайней осторожности и осмотрительности. Разумеется, всё это было доподлинно известно ему ещё с незапамятных времён, и теперь он просто воскрешал в памяти эти азбучные истины.

И случалось ещё другое.

Откуда-то с самых дальних глубин, как рыбы из тайников омуты, поднимались древнейшие воспоминания в виде, может быть, только слова, запаха, звука, поворота головы, охотничьей дудки, и он, смакуя, с усердием нумизмата перебирал их, сортируя по древности, по оригинальности сюжета — всё то, свидетелем чего был когда-то он сам. И, видит бог, он заставлял их звучать сызнова, эти знаки любви и ненависти. Он мог часами увлечься какой-либо безделицей, проигрывая партию давно истлевшего инструмента, в душе держа чистую ноту, не позволяя ни йоты фальши. И он не просто видел, как в новомодном кино, он заново участвовал во всём этом, он любил, страдал, мучился. Вот только героев тех пьес нынче волновали совсем другие амплуа. А, впрочем, последняя ещё игралась, и многие ещё не ушли со сцены. Да он и сам ещё не потушил тот огонь и потому частенько заглядывал в старую квартиру на Сретенке. Родителей в живых уже не было. Мама с отцом погибли поздней осенью сорок первого, попали под лавину в Саянах. Он тогда был вместе с ними и повёл их точно так, как до того вёл его Марк, повёл их дорогой солнца. Так что от прежнего их семейства осталась одна лишь Варя. Она уже совсем повзрослела и теперь сама учит студентов «тропить свой путь», как говаривал когда-то отец. Но в самом доме мало что поменялось, разве что выросла стопка грампластинок на полке возле привычного патефона — Варька всегда была к ним равнодушна: Изабелла Юрьева, Вадим Козин, Аркадий Погодин... А теперь к ним прибавились ещё и фокстрот и джаз. Оскар Строк, Александр Цфасман, Леонид Утёсов — читал он с интересом конверты. Достаточно было просто взять в руки пластинку, и он уже слышал чарующие звуки, его обволакивал знакомый бархатный голос, полный любви и печали. «Затихает Москва, стали синими дали. Ярче блещут Кремлёвских рубинов лучи...» — пел он. А самой этой песни при нём ещё не было, не написали, потому что он ушёл в самый первый день войны, вышел в её распахнутые двери.

Кристина Кармалита

Дорогою недуговой

Забайкальская баллада

Мы поедem с тобою на Ц и на Ч,
мы Алтайские горы набьём на плече,
поглядим из железной коробки,
как живут забайкальские сопки.

Мы прорежем стальнойю стрелою Байкал —
разобьём амальгамную гладь как бокал
и сквозь брызги влетим в зазеркалье —
в золотую страну Забайкалье.

Мимо низких вершин, мимо тонких берёз,
мы просмотрим туманные дали до слёз.
На озёрах бурята Ивана
вспоманём времена Чингисхана.

Времена декабристов — их семьдесят пять,
времена Кузнецова — его надо знать,
времена золотого укола
и забытого Халхин-Гола.

Ничего не запомнить на этой земле...
Раньше ездили только на А и на Б,
а до этого вовсе сидели в Москве
и глядели, кто первый умрёт.

Кармалита Кристина Евгеньевна — драматург, поэт. Родилась в 1984 году в г. Новосибирске. Окончила сценарный факультет ВГИК. Стихи и пьесы публиковались в журналах «Сибирские огни», «Наш современник», «Юность», «Алтай» и др. Автор книг «Сны» (Новосибирск, 2020) и «Книжка № 2» (Новосибирск, 2023). Лауреат молодёжной премии журнала «Наш современник» (2015). Живёт в Новосибирске. В журнале «Дружба народов» печатается впервые.

На высокой трубе, на кремлёвской стене,
на огромной засыпанной снегом стране.
Но кто умер зимой, тот воскрес по весне
и поехал на Е и на Ё.

А у нас за стеклом тарахтит лесостепь,
а за нашим вагоном несётся медведь,
и, вливая бессмертье в года,
поворачивает Ингода.

Забайкальское солнце не любит шутить,
заползает в окно и прядёт свою нить,
и в дурмане железной дороги
к нам приходят даурские боги.

Говорят: не печальтесь о зле и добре —
ничего не осталось на этой земле,
только ехать и ехать в космической мгле
и глядеть, кто скорее умрёт.

Мимо родины птичьей, бурятских степей,
мимо вечной тайги, пересохших морей —
по безбрежной Тартарии дикой,
угощаясь бессмертной брусникой.

Ничего не осталось — наплюй и налей! —
голоса у даурских богов веселей...
Ах, зачем мы с тобой христиане
и не слушаем ламу в дацане.

Мы с тобой христиане, такая беда,
мы уже не поедem с тобой в никуда,
наши рельсы омыла святая вода,
с них никто никогда не сойдёт.

Но всё время змеится в груди маята,
что куда ни езжай, вся дорога не та —
хоть на Ю, хоть на Я, хоть на тра-та-та-та...
Вот и нынче куда нас несёт?

Мимо тьмы горизонтов, дождей, проводов,
мимо ставших камнями даурских богов,
под гремящую музыку ночи
мы впечатались в город Могоча.

Здесь и песне конец, отключи интернет,
обними всей тоской Амазарский хребет.
Нам ещё возвращаться на У,
целовать эту курву — Москву.

* * *

Господи, Ты спросишь — я отвечу:
всё у всех как было, не в укор —
как разъединил однажды речью,
так столпотворенье до сих пор.

Ну а нас всегда война любила —
обнимала огненным дождём,
вот и нынче брата Михаила
третий год в степи донецкой ждём.

БПЛА уже как дни недели —
встроены в привычный звукоряд.
Пишут — до Казани долетели,
скоро до Сибири долетят...

А пока — фастфуды, гастрокорты,
ёлки, бани, бары, смех, коньки...
В Новый год поедem на курорты,
включим голубые огоньки...

Отдохни, страна моя родная,
рюмку за победу накати —
у России нет конца и края,
вот и в русском сердце — не найти.

Всё широким стало до безбрежья,
разделённый мир стоит толпой —
русское повсюду зарубежье,
зарубежный грохот под Москвой.

Обезвредит медным купоросом
время все терзания души.
Господи, не задавай вопросов,
лучше про бессмертье расскажи.

* * *

Пойду, пойду вниз по Кропоткина —
ни цели, ни забот.
Навстречу конь Петрова-Водкина
с Гагаринской пойдёт,

раскачивая гривой огненной
увядшую листву —
уставший, горестный и сгорбленный —
к Ельцовскому мосту.

А я ему при встрече ласково
чего-нибудь скажу
да карими своими глазками
с улыбкой погляжу.

Но он как звякнет зло подковами,
как буркнет алым ртом:
«Я конь известный — нарисованный!
А ты, девица, кто?»

И сразу станет взгляд коровкиным,
и я скажу, стыдась:
«Я тут на улице Кропоткина
однажды родилась,

прошла дорогою недуговой
немало сонных лет,
есть у меня канал ютубовый,
есть быстрый интернет.

По многим я скакала знаниям,
усевшись на курсор,
но, кто я в этой жизни раненой,
не знаю до сих пор».

Посмотрит он глазами грустными —
таясь, сморгнёт слезу.
«Что делать с вами, новорусскими!
Садись уж, отвезу».

Шагами тихими, короткими,
похожий на огонь,
пойдёт по улице Кропоткина
огромный красный конь —

в поля, в луга, в леса далёкие,
в густые облака,
в минуты радостные, лёгкие,
в кровавые века.

Страшнее мысли сумасшедшего
помчится он, хрипя,
и где-то в глубине прошедшего
узнаю я себя.

Денис Колчин

Чёрный сад

*Повесть**

1. Медведь

Лесная тропинка понемногу забирала вверх. Ели, берёзы и сосны поднимались на холм, разрушенный искусственным оврагом. До революции там добывали руду, а при советской власти забросили, и бывшие копи превратились в свалку и пристанище бездомных. За оврагом ландшафтных перепадов уже не наблюдалось — тянулась густая среднеуральская смешанная тайга, полная дикой земляники и комарья. Обернувшись, я увидел наш залитый летним солнцем огород, лежавший у лесного подножья. Киоск, вагончик, теплицы, грядки — всё было покрыто ярко-жёлтым и светло-зелёным.

Следовало идти дальше. Куда? Зачем? Тропинка уводила в чашу, но лес не выглядел сумрачным. Берёзы разбавляли хвойный массив. Кроме того, я помнил, что по ту сторону находится высохшее болото, превратившееся в поле, усыпанное кочками. Где-то за полем стучала невидимая железная дорога, уходящая на север, в сторону Нижнего Тагила. Около посёлка Шарташ её пересекала автомобильная трасса, тянувшаяся до «девятки» — детской клинической горбольницы № 9, притулившейся на краю частного сектора.

Между тем, лес начал редеть — близилось то самое поле. Внезапно краем глаза я уловил справа движение бурого пятна. Пятно остановилось, а затем двинулось ко мне, сминая кусты. «Что за херня?» — пронеслось в голове. Прищурившись, я стал близоруко всматриваться, а затем похолодел. Это был медведь. Обычный взрослый медведь. Рассерженно бурча, он не сводил с меня

Колчин Денис Сергеевич — поэт, журналист. Родился в 1984 году в Свердловске. Окончил журфак УрГУ. Работал военным корреспондентом в Крыму, Дагестане, Карабахе и на Донбассе. Автор книг стихов: «Подготовительный курс» (Екатеринбург, 2017), «Фронтир» (Екатеринбург, 2021) и нескольких книг прозы в жанре нон-фикшн. Печатался в журналах «Урал», «Звезда», «Знамя» и др. Живёт в Екатеринбурге.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2024, № 5.

* Журнальный вариант

маленьких злых глаз и постепенно увеличивал скорость. «Глядь», — промолвил я и припустил обратно.

Честное слово, никогда больше я столь быстро не бегал. Даже в Карабахе во время обстрелов. Ветки хлестали по лицу. Картинка прыгала в разные стороны. Спина взмокла, дыхание перехватило. А позади, тяжело рыча, неслись три сотни килограммов животного веса с когтями и клыками. Лицо моё перекосило от ужаса. С какой-то необычайной лёгкостью я перемахнул через пару поваленных деревьев и упомянутый выше овраг. Медведь не отставал. Мало того, он догонял. Всхлипнув, я попытался оторваться, но запнулся и покатился кубарем к забору.

Всё изложенное приснилось мне единожды и уже не повторялось. Но я до сих пор помню дикий медвежий рёв, сокрушающий мелкую лесную поросль топот зверя, накатившую волну страха и чувство отчаяния, заставлявшее нестись напролом к участку, который почему-то казался спасительным, хотя никого, кроме четырёх пенсионеров с тяпками, лейками и граблями, там не было. Но имелось понимание, что верно только одно — бегство. Безудержное. Почти олимпийское.

И я бежал.

2. РИА

Весной 2016-го я устроился в федеральное РИА «Вести». Мы с женой Мариной купили двухкомнатную квартиру на окраине города, перебравшись туда из проданной, доставшейся мне в наследство уралмашевской однушки. Платёж следовало закрывать, а суммы, которую выдавали на прежней работе — в маленьком екатеринбургском информационном агентстве, — не хватало. У РИА в городе находилась штатная корреспондентка, но ей требовалась помощь, потому они начали искать внештатника. И тут нарисовался автор этих строк. А почему бы и нет, если платили в два раза больше, чем на предыдущем месте?

В нашей зоне ответственности были две области — Свердловская и Тюменская. В приоритете — новости о происшествиях, криминале, судах, громких отставках, политических скандалах. Занимались в основном рерайтом пресс-релизов и прозвонами подробностей. Офиса не было, трудились на дому. Частенько случалось так, что двухлетняя Варвара сидела у меня на коленях, играя разложенными на столе возле ноутбука мягкими зверушками, одной рукой я держал телефон, выясняя детали очередного ДТП или пожара, а другой набивал текст заметки.

Периодически ездил в командировки по региону. За громким словом «командировка» зачастую скрывался обыкновенный пресс-тур. Пресс-туры запускала администрация губернатора, когда в область прилетал кто-то из крупных правительственных чиновников. Их везли инспектировать стройку, или завод, или открывшуюся школу, а мы — корреспонденты здешних изданий и филиалов федеральных СМИ — семенили за ними, стараясь поймать каждое

слово. Иногда случалось, что Президент на пресс-конференции или «прямой линии» обращал внимание на какую-то региональную проблему, и областные власти мчались галопом устранять недоразумение. Конечно, в сопровождении журналистов.

За пару лет я так и не встретил ни одного коллегу по РИА, не считая фотографа Паши Л., с которым мы несколько раз колесили по заданиям. Главный штаб располагался в Москве, а регионалы торчали по своим домашним адресам, пересекаясь лишь в общем чате. Там же контактировали с начальством. Первым руководителем внутрироссийского отдела агентства был неконфликтный дядечка предпенсионного возраста. Он всё понимал и уже давно ничем не горел. Его сменила женщина, быстро куда-то исчезнувшая. Но вот её преемницу мы хорошенько запомнили. Она была истеричкой и задержалась надолго. Впрочем, испытать на мне своё красноречие ей не удавалось, ведь я числился внештатником. А это означало, что не только меня могли уволить в любой момент, но и я имел право послать агентство куда подальше так же в любое время.

Несмотря на home-office, здоровье моё пошатнулось. Сидячая деятельность, бесконечный мониторинг, необходимость отпрашиваться даже для похода в магазин — не дай бог в тот момент произойдёт нечто важное! — доконали. Начали болеть кости ног и таза. Боль сопровождала каждое движение. Я грешил на то, что перед этим упал дома, сильно ударившись, но медицинские обследования не выявили повреждений. Мы с женой терялись в догадках. Наконец, она предложила:

— А давай ты просто найдёшь другую работу? Офисную.

3. «Инсайды»

Идея мне понравилась. Но куда идти? Возвращаться туда, где работал раньше, в нищее информагентство? Ни к чему. Податься в другое городское или областное СМИ? К тому моменту — а дело было весной 2018-го, — я успел набраться опыта в нескольких подобных редакциях и желания возвращаться к региональному формату не имелось. Ехать в Москву? А смысл? Из федеральных изданий привлекала только либеральная «Новая газета», но некрасивые истории, связанные с попытками опубликоваться там, останавливали. Так что же? И тут Марину осенило:

— «Инсайды»!

«Инсайды» было крупным окружным агентством с федеральными амбициями. В его состав входили семь филиалов на Урале и в Сибири, московское представительство и ряд других подразделений. Головная квартира — в Екатеринбурге. Размещалась она в центре города, в четырёхэтажном, переделанном до неузнаваемости особняке XIX века. Сама по себе редакция являлась источником постоянных скандалов. За шесть лет до описываемых событий ею руководила известная свердловская журналистка Аксинья Панкова, поддерживавшая местного поэта и борца с наркотиками Евгения Розанова. Поговаривали, что Розанов не нашёл общего языка с областной полицией,

а его оппоненты — нашли. В итоге Евгений оказался — лишь на время! — на обочине общественной жизни, а владельцы «Инсайдов» вынудили Аксиныю уйти, отдав директорское кресло её заместителю Максиму Югину.

Платили в «Инсайдах» очень хорошо. Выше рынка. Но как туда попасть? Помогли бывшие коллеги жены, числившиеся в службе информации агентства. Мне назначили собеседование. Явившись, как договаривались, я очутился перед стеклянной дверью. За ней сновали незнакомые люди. На стене справа красовалась огромная синяя надпись — «Инсайды». Далее тянулся коридор, покрытый с обеих сторон россыпью букв. Иногда они складывались в отдельные слова или словосочетания.

Курировала службу информации Нэлли Меховая — полненькая, рыженькая, веснушчатая молодая женщина среднего роста. Мы с ней кратко пообщались: я рассказал, где учился и работал, а она продемонстрировала список заметок и предложила выбрать, на мой взгляд, самые важные. Моим выбором Нэлли осталась довольна.

Теперь мне предстояло закрепиться. Тут надо отметить, что служба информации состояла из шести бригад: четырёх дневных и пары ночных. Работали они по графику «два через два». Каждая дневная состояла из редактора, выпускающего и двух-трёх корреспондентов. Позже была введена должность мониторщика. Каждая ночная включала одного или двух дежурных. Я выходил в утреннюю или вечернюю смену простым журналистом. Вернее — райтером. Райтер получал от редактора информационные поводы и писал новости. На новость следовало тратить минут десять. За восьмичасовую смену получалось двадцать — двадцать пять новостей. Авторы чувствовали себя участниками тараканьих забегов, а директор на планёрках не забывал попрекнуть их «санаторным режимом».

При первой встрече Югин показался милым. Высокий, коротко стриженный мужчина под сорок, слегка картавящий. Мы беседовали в большой переговорной. Он спросил, зачем я устроился сюда. Ради трёх вещей: графика, зарплаты и, надеюсь, возможностей. Тогда он спросил, что я писал раньше. Большие тексты и репортажи из горячих точек — Крыма 2014-го и Дагестана в том числе — для «Русского репортёра». Не считая новостей в разных СМИ. Югин понимающе кивнул. Этого понимания хватит до конца 2020-го.

4. Книги

Сейчас я прихожу к выводу, что всю мою жизнь определили несколько цветных картинок, увиденных в детстве. Они впечатались в сознание, в мозг, инфицировали данными. Те данные, будучи визуализированными, вели меня подобно волшебному навигатору. И я доверял им. Доверяю до сих пор. Даже текст, который вы теперь читаете, является воплощением, интерпретацией опыта, полученного благодаря им.

Речь о картинках в книгах детских писателей Олега Тихомирова и Сергея Голицына, чьи работы выпускало издательство «Малыш».

Обычно авторы брали героические сюжеты из средневековой русской истории. Будучи младшеклассником, я просил в школьной библиотеке голицынские и тихомировские томики и наслаждался. Они были красочными, яркими. На их страницах славянские витязи в светлых кольчугах рубились в окружении степняков, облачённых в тёмные кожаные доспехи, или сталкивались с ливонцами в белых одеяниях с чёрными крестами.

Иллюстрировал их книги художник Владимир Перцов, приходившийся Голицыну племянником. Родился он в 1933-м в Дмитрове. Учился в Московском полиграфическом институте. Рисовал для «Малыша», «Детской литературы», «Мурзилки», «Вокруг света», «Огонька». Получал различные награды и при советской, и при новой российской власти. Мало того, некоторые перцовские «холсты» хранятся в Русском музее и Третьяковской галерее. А перед работой над книгой Тихомирова о Куликовской битве Владимир Валерьевич ездил на место событий. Наверное, хотел представить. По крайней мере, попытаться. Если такое возможно... Умер в январе 2017-го, в возрасте восьмидесяти трёх лет.

По сути, каждая из этих книг проросла в моей душе ветвями разнообразных интересов. Первой была голицынская «До самого синего Дона» — повествование о походе древнерусских князей в половецкую степь в 1111 году. Там присутствовали румяный переяславский владетель Владимир Мономах и мрачный киевский Святополк Изяславович, древесно-соломенных оттенков половецкая орда и несущиеся ей навстречу окольчуженные дружинники. Уже потом, в юном возрасте, я прочёл Антонина Ладинского «Последний путь Владимира Мономаха», а затем ошеломивший меня труд Андрея Сахарова «Владимир Мономах». Оказалось, об истории можно писать легко, захватываяще. Так, что больше не отпустит. И меня не отпустило.

Потом была книжка Голицына «Сказание о Евпатии Коловрате». В её основе лежит старинная «Повесть о разорении Рязани Батыем». Один из героев — рязанский боярин Евпатий Коловрат, находившийся в отъезде, вернувшийся домой аккуратно после сожжения города монголами. По сюжету он присоединяет к своей дружине выживших рязанцев и начинает партизанскую войну. Заканчивается всё, как и положено, трагически. Отряд загоняют на замёрзшее болото и уничтожают с помощью камней. История легендарная. Вероятно, нечто подобное могло быть в реальности, но народная память снабдила случившееся «спецэффектами». Владимир Перцов создал атмосферные зимние батальные иллюстрации. Кстати, применение камней против заблокированного отряда выглядит эпично, хотя в жизни, скорее всего, монголы обошлись лучниками, — просто засыпав Евпатия и его людей стрелами. Но ещё до Голицына тему осадных машин в судьбе войска Коловрата продвигал в романе «Батый» писатель Василий Ян.

Не менее поразительные, снежные и ледяные, рисунки Перцов сделал и для книги Тихомирова «Александр Невский. Слово о походах». Меньшая часть её посвящена битве со шведами на Неве в 1240-м, большая — битве на Чудском озере 1242-го, где новгородцы, псковичи, владимирцы и суздальцы разгромили немецкую рать, состоявшую из баталии ливонского ландмейстерства Тевтонского ордена, хоругви Дерптского епископства и эстонского ополчения.

Именно уничтожение орденового авангарда изображают иллюстрации Перцова, ставшие своеобразной добавкой к фильму Сергея Эйзенштейна «Александр Невский», который я посмотрел в детстве. Потом был роман уже упоминавшегося Василия Яна «Юность полководца» и другие тексты, о чём подробно писал в рассказе «Во всём виноват Эйзенштейн». Так темы русско-половецких войн и монгольского нашествия дополнила тема сражений в средневековой Прибалтике.

Наконец, четвёртая «коллекция» картинок Перцова была обнаружена мною в тихомировской книжке «На поле Куликовом». Главная из них — на весь разворот — фиксировала эпицентр сражения: эпизод прорыва мамоевой орды к центру русского большого полка и момент гибели боярина Михаила Бренка, согласно преданию переодетого в доспехи великого князя московского Дмитрия Ивановича. Романы «Дмитрий Донской» Сергея Бородин и «Зори над Русью» Михаила Рапова дополнили впечатления. Впрочем, если ориентироваться на мнения профессиональных историков и археологов, всё изложенное в них — сплошная фантастика. Так, Андрей Булычёв полагает, что на поле с обеих сторон сшиблись примерно по полутора тысяч всадников, а общее количество погибших достигало 500—600 человек.

Как бы то ни было, все перечисленные труды спровоцировали зарождение разнопланового интереса к отечественной военной истории. И этот интерес уже никогда меня не покидал — во время учёбы на журфаке, во время работы в СМИ. Поездки на войну в качестве военкора стали попытками прикоснуться к большой истории, происходящей не здесь, в точке моего расположения, но именно сейчас. Крым, Дагестан, Карабах, Донбасс... А затем возникло желание зафиксировать пережитое, но не только в виде репортажей и стихов.

5. Служба инфо

Первая смена службы инфо начинала в 7:00. Сонная бригада отправляла уставшего ночного дежурного домой и приступала отписывать прежде всего пропущенные им новости. К 9:00 подгребало начальство — куратор службы Меховая и шеф-редактор Иван Красивый, вечно прилизанный, с аккуратной бородкой, облачённый во всё модное, сотрудники других отделов. К тому моменту ситуация на ленте несколько успокаивалась, ближе к 12:00, когда просыпались федеральные редакции, срывалась в карьер и к 15:00 ребята из утренней бригады сидели в мыле.

Тут являлась вторая смена, что называется — с корабля на бал. Она сразу включалась в работу и пахала с бешеной скоростью, примерно до 19:00. Дальше начальство отваливало, и все расслаблялись, дотягивая до конца дня спустя рукава, с ленцой. Привычный распорядок нарушали только крупные ЧП или внезапные резкие высказывания Президента. В таких случаях дежурные подсакивали как ужаленные и с удвоенной скоростью строчили новости, а отдел эксклюзивов прерывал свой неспешный график и принимался названивать профильным экспертам.

Смена завершалась, но редактор бригады продолжал оставаться в напряжении. Потому что утром следующего дня на него обрушивалась Меховая. Она изводила мелкими придирками, допытываясь: «А почему эту новость не взяли?», «А почему эту тему пропустили?», «А почему об этом поздно написали?», «А это зачем взяли?», «А о чём ты думал в ту минуту, принимая такое решение? А в ту секунду?». В итоге редактор усаживался за объяснительную на несколько листов, пытаясь придумать обоснование тем или иным своим проступкам.

Но Меховой всё было мало. Даже на выходных, когда, как мы полагали, руководство наслаждается личной жизнью, она встревала в процесс, отвлекая редакторов своими вопросами, уточнениями, наставлениями и замечаниями. Она ломала редакторские стратегии, на ровном месте доводя подчинённых до истерик и психозов, предпочитая тратить своё свободное время на мониторинг, положение дел на ленте и перепалку с дежурными.

Однажды в субботу или воскресенье, уже не помню точно, она вывела из себя Николая, возглавлявшего утреннюю бригаду. Поначалу ничто не предвещало. Коля — маленький, добродушный бывший сотрудник МВД — спокойно, никуда не торопясь, раздавал нам поручения. В какой-то момент выражение его лица сделалось озабоченным, он принялся активно печатать, а затем по редакции понеслось, отдавая эхом: «Гляяядь! Сука! Ну куда ты лезешь! На хрен иди! Иди на хрен! Гляяядь! Задолбала, тварь! Не мешай работать!»

А затем опять воцарилась тишина.

6. Библиотека

Школа, где я учился, стоит на окраине Уралмаша. Трёхэтажное п-образное здание из серого кирпича. Слева примыкают похожий на неё интернат и спортивное поле, огороженное решётчатым металлическим забором. Справа тянутся кварталы тёмно-оранжевых малоэтажек, возведённых пленными немцами после Великой Отечественной. Позади распростёрся крытый Уралмашевский оптовый рынок, а впереди, вдоль забора, — легендарная районная барахолка. За ней — трамвайная линия и массив новостроек, отгроханных на месте снесённого частного сектора.

Особенно мне нравилось ходить в школьную библиотеку. Она располагалась на первом этаже, напротив раздевалки. Открывая выкрашенную белым деревянную дверь, я попадал в маленькую комнатку с большим окном, здоровался с доброй седой библиотекаршей в коричневой шали и круглых очках. Её внук учился в этой же школе. Мы познакомились в летнем лагере и какое-то время даже были приятелями, но вскоре ему надоело общество юного библиофила, и он примкнул к мальчишкам, которых интересовали футбол, автомобили и компьютерные стрельки.

Его бабушка знала о моих пристрастиях. Как только я появлялся, она исчезала в обширной подсобке, уставленной книжными стеллажами до потолка, выносила книжки Тихомирова и Голицына. Или былины. Или адаптированные для детей древнерусские повести. Всё это я с удовольствием проглатывал.

Во второй половине 1990-х в библиотеке появился журнал «Родина» с иллюстрациями художника Олега Фёдорова, и ваш покорный слуга окончательно пропал. Но вдруг поднял от гладких чистейших журнальных страниц голову и уставился на бордовые «кирпичи» с золотистой аббревиатурой БСЭ, пылящиеся на полке.

Аббревиатура расшифровывалась — «Большая Советская Энциклопедия». Каждое слово с заглавной буквы. Я вытянул ближайший томик. Попались «П» и «Р». Открыл наугад. По глазам резануло чёрными строчками. Отпрянул. Глубоко вдохнул и нырнул. Стало холодно. Что там? Статья «Прутский поход». Сделал несколько шагов, и понесло течением. «Русско-турецкая война 1735—1739». Скорость была приличная. Больно ударился обо что-то черепашкой. «Русско-турецкая война 1768—1774». Вдруг — пустота, омут. Захлёбываюсь. «Русско-турецкая война 1787—1791». Ни хрена себе. Надо выбираться. Надо выплывать. Усилие. Ещё усилие. «Русско-турецкая война 1806—1812». Вроде, чувствую ил под ногами. «Русско-турецкая война 1828—1829». Уф, наконец мелководье. Отдышаться бы. «Крымская война 1853—1856». А всё же классно получилось. Адреналин. Сердце колотится как бешеное. «Русско-турецкая война 1877—1878». Кайф-кайф-кайф.

К тому же статьи снабжены картами: вот пехота, вот кавалерия, вот артиллерия, вот места сражений, вот стрелки, обозначающие направления татарских набегов. Помню скупой рассказ об осаде Измаила Суворовым. Воображение с лихвой восполняло отсутствие красок — бросок штурмовых колонн, османская картечь, резня на городских улицах, гибель крымских царевичей в отчаянной контратаке.

Чтением я не ограничился, а принялся конспектировать. Записывал всё в блокнот. Библиотекарь сперва не поняла, что происходит, а когда разобралась, только сердечно улыбнулась. Ну какой ещё ребёнок станет добровольно корпеть над текстами про дунайские кампании, оборону Севастополя, походы на Анапу? А я корпел. И получал массу удовольствия. Усердно скрипел пером, словно боялся: вдруг не успею, вдруг нечаянно найденный клад испарится в воздухе, вылетит в окно, провалится сквозь пол в школьный подвал?

Поздно вечером, засыпая дома, я думал не о симпатичных девчонках из параллельного класса, а о блокаде Плевны, о Шипкинском перевале, о тяжёлых сражениях за Горный Дубняк и Телиш. Перед глазами мелькали редеющие армейские штурмовые колонны, казачьи лавы, летящая наперерез черкесская конница, заснеженные Балканы. Под такое «кино» здоровый сон одолевал быстро.

7. Белорусская разминка

Летом 2020-го главной темой сделалась Белоруссия. Там состоялись президентские выборы, на которых вновь победил Александр Лукашенко, руководящий страной с 1994-го. Часть населения с итогами выборов не согласилась и высыпала на улицы городов. Их встретили силовики, и всё обернулось митингами, задержаниями, избиениями, пытками, уголовными

делами, репрессиями против оппозиции и бегством в Европу тех, кто успел проскочить. Постепенно акции протеста пошли на убыль. Зато кое-где начали жечь милицейские машины и стрелять через дверь по сотрудникам КГБ, явившимся для обысков.

Через пару недель, ближе к осени, у меня случился разговор с куратором региональных редакций и заместителем Красивого Екатериной. Она спросила, готов ли я отправиться в Белоруссию.

— Для чего?

— Делать репортажи о ситуации.

— О какой ситуации? Там уже всё закончилось.

— Серьёзно?

— Разумеется.

— Но Югину и Красивому нужна командировка.

— Это бессмысленно. Мы приедем, ничего не сделаем и уедем обратно.

— И что можно предпринять?

— Ну, я могу составить план действий по данной теме. С учётом актуальных реалий.

На том и остановились.

Много времени не понадобилось. За вечер я накидал список возможных тем. Предполагалось основное внимание уделить связям белорусских и уральских предприятий, а именно тому, как протесты повлияли на работу первых и каким образом это отразилось на их контактах со вторыми. Плюс интервью с уральцами, очутившимися в разгар демонстраций в Минске, Витебске, Могилёве, Гомеле, Гродно или Бресте. Для эффекта присутствия. Не только ведь аналитику читателям подсовывать.

План одобрили. Реализацию поручили региональным филиалам агентства. Я передал подготовленные материалы руководителям подразделений и... ничего не произошло. У филиалов своих дел имелось по горло. Изобразив понимающие лица, редакторы положили бумаги под сукно и через пять минут уже не помнили, о чём шла речь.

Но кое-какую пользу эта история всё же принесла. Мне стало понятно, что агентство готово к большим проектам в виде командировок в горячие точки и, раз так, реагировать на «тектонические сдвиги» в геополитике надо оперативнее.

8. Реферат

Снег застилал глаза. Метель белёсой стеной надвигалась на лагерь. Из неё, прорезая влажную студёную массу, вылетали пушечные ядра, плюхались в грязь траншей, зарывались в земляную насыпь, отделявшую армию от поля, по которому гулял снегопад. Иногда эти чёрные точки, увеличиваясь, мелькали над валом, ломали солдатский строй, отрывая людям в тёмно-зелёных, вишнёвых, синих кафтанах руки и ноги. Покалеченные орали, падая в мокрый снег, на вязкую землю, а их побледневшие, забрызганные кровью товарищи били залпами из мушкетов и фузей в слепящее нечто, извергавшее литой чугун.

Внезапно, всего в тридцати метрах от насыпи, из метели вынырнули шеренги жёлто-синей шведской пехоты. Они хarkнули свинцом, а затем усеяли передовую линию русского лагеря взрывами гранат. Оглушённые солдаты не успели очухаться, как противник, мерцая волной штыков, уже преодолел вал и обрушился на них. Прорыв занял не более пяти минут, поскольку основная часть полка, занимавшего этот участок фронта, была направлена на обустройство укреплений в другое место. Полк, державший позиции на высоте чуть севернее, тоже не выдержал и побежал, его командир погиб.

Так в ноябре 1700-го стартовала битва при Нарве, положившая начало участия России в Северной войне против Швеции. Битва для нас разгромная. Я писал о ней потому, что школьная учительница истории задала реферат. Тема — эпоха Петра I. Ну и отлично. Стрелецкие бунты, Азовские походы, сражения со шведами, Прутская кампания, экспедиции на Каспий и в Центральную Азию. Загляденье! В итоге реферат был сооружён за пару недель. Он уместился в толстую клетчатую тетрадь, которую я от обложки до обложки заполонил синими корявыми строчками и, страшно довольный собой, вручил преподавательнице.

Учительница ужаснулась. Она еле-еле продралась сквозь буреломы моего почерка, не понимая, о чём идёт речь. Мало того, её не устроила тема. А я так и не понял, чем именно ей не угодили прибалтийские и причерноморские баталии начала XVIII века. Видимо, пороховой дым отдавал беллетристикой, а не наукой. Что мне оставалось? Только подчиниться. Так тетрадь с изложением нюансов петровских войн очутилась на антресолях в кладовке. Вместо прежней я извлёк следующую, готовясь испещрить своими каракулями, повествующими о перипетиях петровских... реформ!

Мои планы поломала мама. Она где-то отыскала старую печатную машинку, купила стопку бумаги и чернильную ленту. И я принялся лупить по клавишам. По некоторым — с особым ожесточением, так как их литерные рычаги заедало.

Вся наша трёхкомнатная квартира погрузилась в грохот. Младшая сестра закрывалась в своей комнате, а я громыхал и громыхал, выстраивая абзацы про сенат, синод, двенадцать коллегий, фискалов, табель о рангах и прикрепление крестьян к заводам. Учительница была счастлива.

Стоит признать, что реферат этот мне очень помог. С ним я выигрывал районные, городские и областные олимпиады по истории. Рвал всех, получая почётные грамоты и дипломы. Призов, кстати, не выдавали. Зато на выпускном хвалили чаще отличников. И только физрук отказался «приукрасить» аттестат, вклеив тройку. К слову, совершенно заслуженно. Спорт меня никогда не заботил.

9. Подготовка

Проснувшись воскресным утром 27 сентября 2020-го, я по привычке сразу открыл новости. СМИ передавали, что подразделения азербайджанской армии перешли в наступление на позиции войск армянской республики Арцах, более известной как Карабах. Слово это состоит из двух частей: тюркской

и персидской. Тюркское «кара» означает «чёрный». Персидское «бах» или «баг» означает «сад». Получается — «чёрный сад». Война в Чёрном саду. «Арцах» же в переводе с армянского просто «блестящий».

Я очень удивился. Да, периодически на армяно-азербайджанской границе случались обострения, но продолжались они, как правило, недолго. А на регулярные обстрелы и подрывы давно уже никто, кроме местных, не обращал внимания. Первая — шестилетняя! — карабахская война, победная для армян, завершилась в 1994-м, и с тех пор стороны не решались проверить друг друга на прочность по-крупному. Ну что ж. Видимо, время настало.

Дежурные коллеги уже всю строчили заметки. Утренним редактором был Степан, высокий горбоносый флегматичный гитарист. Он позвонил и проворковал:

— Денечка, ты же специалист. Напиши, пожалуйста, справку.

Отложив завтрак, я вытащил черновик старой отвергнутой статьи про Первую карабахскую кампанию, выдернул из неё исторические куски, скомпоновал, подчистил и подогнал под формат «Инсайдов». Получился небольшой объясняющий текст по теме — от состояния региона на момент присоединения к России до наших дней.

Югин идею поехать на войну в Карабах воспринял с энтузиазмом и велел составить план командировки. Несколько дней я корпел над документом. Потом ещё несколько дней он лежал на столе директора, пока не оказался отвергнут. Югину не понравилось, и пришлось всё переделывать. Потом ещё какое-то время он хранил молчание и в конце концов дал добро. В итоге только на согласование предполагаемых действий мы потратили полмесяца. Война гремит, а Югин не может определиться, по душе ему мои «схемы» или нет. Впрочем, жизнь убедила — писать план было занятием бессмысленным.

Со мной на войну собрался штатный фотограф агентства Вадим. Тощий, бритый почти наголо, успевший поработать на Донбассе в 2014—2015-м, Вадик давно уже скучал. Уральские темы ему надоели, и он осаждал меня с 2019-го, когда я съездил в Дагестан. Вадим делал гениальные снимки, а областная повестка держала его в рамках, не позволяла развернуться. Мы начали собирать документы, но ни одна страховая компания не желала нас страховать. Ещё бы! Мы хотели отправиться на фронт в страну, которой не существовало. Даже Армения официально не признавала республику.

Проблема наличия страховки меркла по сравнению с проблемой иной. Страховку нам сделали. А вот бронежилетов, не говоря о касках, в редакции не имелось. Купить их не успели. Знакомые Вади — то ли страйкболисты, то ли ребята из военторга — вроде обещали одолжить, но затем передумали. Начальство велело отправляться так, без «брони». Мы слышали, будто на границе Армении и Карабаха бездоспешных корреспондентов тормозят, но понадеялись на русский авось. Значит, понадеялись не только мы, но и агентство.

Отпускали нас на пару недель. Отдела спецпроектов в «Инсайдах» тогда ещё не создали. Поэтому я отпросился у нового редактора службы информации Дины. Югин, подмахивая бумагу о двухнедельной командировке, намекнул — мол, если будет надо, продлим.

— Естественно, продлим, — сказал я и подумал: «Только не забудьте решение о продлении письменно оформить, нас предупредить заранее и продумать схему обеспечения баблом, транспортом и обновлёнными документами». А следовало, наверное, произнести вслух.

Кураторами над нами с Вадиком поставили заместителей Красивого — мальчика и девочку. Оба не имели опыта репортёрской работы. Оба видели горячие точки только по телевизору или в интернете. Оба искренне полагали: Югин не разрешит командировку. Но Югин разрешил. И когда я с Вадимом вернулся, девочка призналась: «Мы молились, чтобы Макс вам отказал, молились, чтобы вас не пропустили через границу. Мы были в ужасе. Мы не понимали, как себя вести».

А спустя много месяцев я узнал — был ещё один куратор, самый главный. Куратор, который ни разу не поинтересовался подготовкой командировки. Куратор, который за всё время командировки не вышел на связь. Куратор, который после командировки не высказал своего мнения о ней. Куратор, который постоянно молчал и держался в стороне. Этот куратор — шеф-редактор «Инсайдов» Иван Красивый.

10. Ереван

В Ереван мы летели через Москву. Стыковочного рейса ждали два или три часа. Борт подали поздно вечером, а потому в столице Армении приземлились глубоко за полночь. Народу было немного. На выходе из аэропорта сдали анализ на ковид. Фельдшер в голубом сунула нам в ноздри по маленькой трубочке с ваткой и отпустила. Очутившись за стеклянными дверьми, Вадик вызвал такси, и водитель, споро выруливая по пустынным дорогам, доставил нас к нужной гостинице в центре города.

И тут начались приключения. Выяснилось, что онлайн-бронирование не сработало и в отеле к нашему прибытию не готовились. Свободных комнат у них не имелось. Озадаченные, мы побрели во тьму. Шлялись недолго. Нашли с помощью вездесущего интернета другую гостинку, двинулись к ней. В какой-то момент мы вышли на безлюдную обширную площадь Республики. Нужный адрес обретался далее, на проспекте Тигран Мец. Маленькое местечко пряталось в подворотне, за магазином одежды. Мы зарегистрировались, поднялись в номер, бросили вещи, рухнули на кровати и заснули.

На дворе стоял октябрь, а в Ереване было тепло. Солнце заливало изумрудный каменный ковёр в центральной части площади Республики, гигантские мраморно-песчаные здания правительства, арочную национальную галерею и фонтан перед ней. Далее простирались кварталы сталинского ампира, прорезанные зелёными аллеями с миниатюрными водоёмами. Вообще, весь ереванский район Кентрон, где мы поселились, опоясывала гигантская древесно-растительная подкова парка Еритасардютян, также известная как Кольцевой бульвар. Там можно было бродить часами, провожая взглядом красивых молодых армянок, рассматривая храмы, памятники и фасады университетов.

Получив справки об отсутствии у нас ковида, мы каждый день таскались через сквер имени Шаумяна в министерство иностранных дел. Торчали внизу перед будкой с охранником, звонили в пресс-службу, спрашивали, не готова ли аккредитация. Аккредитации не было. Мы разочарованно брели обратно, под солнцем, затем сидели в сквере или отправлялись в забегаловку, фоткая по пути многочисленные граффити — вот ансамбль песни и пляски в красно-белых одеяниях, вот какие-то зелёные призраки, вот армянские витязи, — устраивались у окошка, заказывали харчо, выпечку и студёное пиво, изредка заглядывая в интернет, чтобы узнать, как дела на фронте.

Родная редакция в лице кураторов — мальчика и девочки — о нас не забывала. Они регулярно писали нам, интересуясь текущей ситуацией. Поскольку процесс получения аккредитации явно завис, кураторы начали придумывать разные «интересные» идеи.

— Есть задание, — сообщал мальчик. — Срочное!

— Какое ещё задание? — лениво отвечал я.

— Нам нужны инсайды! — улыбалась девочка.

— Что, простите? — изумлялся Вадим.

— Инсайды-инсайды, — тараторили кураторы.

— Как вы себе это представляете? — уточнял я.

— Ну, попробуйте в правительственные кабинеты попасть, — предлагал мальчик.

— В правительственные? — нехорошо ухмылялся Вадик.

— Ага. В правительственные. Лучше использовать эффект неожиданности. Вдруг получится, — объясняла девочка.

— Двери с ноги открывать, что ли? — обращался ко мне Вадик, когда связь прерывалась.

— Угу. Двери в будку охранника, — произносил я.

К счастью, воплощать в жизнь замыслы нам не пришлось. Мы получили аккредитацию в МИД Армении. Но для работы на войне нужна была ещё аккредитация МИД республики Арцах. Как прекрасно. Заказав такси, мы поехали в арцахское посольство. Арцахское посольство квартировало далеко, на улице Наири Зарьяна в старом каменном особнячке с портиком и колоннами. Внутри стояла пыльная доисторическая мебель, под ногами скрипели половицы. У нас приняли документы, но никаких бумаг не выдали.

— Мы тут не выдаём разрешений на въезд, — сказали нам.

— А где выдают?

— В Горисе. Там сейчас представительство министерства. Отправляйтесь туда.

Легко сказать: «Отправляйтесь в Горис!» На чём? И где это? Погуглили. На границе Армении и Арцаха. Горис — он же Герюсы. Ну, хорошо. Остаток дня пережидали жару в отеле, а поздно вечером поплелись на автовокзал искать ночной рейс. Миновали Английский парк с планетарием, площадь России и очутились на мосту Победы. Внизу, во тьме, шумела река Раздан. По её берегам ютились домишки, садовые участки, кое-где горел слабый свет. Автовокзал, когда мы, наконец, дошли, был заперт. Ни вечерних, ни ночных, ни утренних рейсов. Дежурившие возле остановки маршрутки курсировали только по городу.

Выручил нас Овик, Ованес, приятель редактора фото-службы «Инсайдов», Вадиного начальника. Длинный, с короткой аккуратной бородой, спортивный, он работал IT-шником. Жил в многоэтажке с видом на гору Арарат. Вадиного босса Овик знал давно. Тот был его сенсеем, учителем по каратэ в Москве. Он разрешил нам оставить ноутбуки и съёмочную технику в своей квартире и потащил в двухэтажный ресторан. Мы уселись на верхнем уровне просторного заведения, попросили принести салаты, мясо и вино. Овик сказал, что доставку нас в Горис берёт на себя. Он возил гуманитарку, и у него в машине имелось немного свободного места.

Рано утром мы уже неслись по трассе вдоль границы с Турцией. На юге белел недоступный в османских владениях Арарат, постепенно истаявая. Красная легковушка Овика забирала в горы. Сидевший рядом с ним Вадик снимал видосы, а я лежал позади, стиснутый коробками и пакетами с лекарствами, одеждой, подгузниками, бинтами и зубной пастой, накинув сверху зелёную потрёпанную куртку, поскольку в приоткрытое окно нещадно задувало. Где-то высоко-высоко мы организовали привал. По сторонам тянулись каменистые, усыпанные снегом кряжи. В чистейшем лазурном небе висел огромный сияющий диск. Мимо гремели фуры с иранскими номерами и военные колонны. Фронт был всё ближе.

11. Горис

В Горис мы заехали вечером. Овик высадил нас в центре, возле парка Вены. Городок представлял собой шахматную доску кварталов, потерянную кем-то на берегу речки Вараракн, посреди хребтов, охваченных жёлтым и зелёным. Максимум двухэтажная застройка. Исторический центр в объятиях частного сектора, изобильного фруктовыми садами. Весь Горис можно пройти из конца в конец спокойным шагом за пятнадцать минут. Везде сновали армянские военные, волонтёры и репортёры из разных стран. Напротив администрации, около драмтеатра и школы искусств, загружались и разгружались газельки с гуманитаркой. Они без сопровождения сновали через границу по горным тропам, рискуя угодить под удар азербайджанских беспилотников.

Поблагодарив Овика, мы с Вадиком поплелись в гостиницу «Горис». Она располагалась недалеко от центра, на возвышенности. Там размещались беженцы из Арцаха — тучные говорливые женщины, сухие молчаливые старики, бегающие туда-сюда орущие дети. Но для нас тоже нашлось пристанище. Рядом проживали сотрудники пресс-службы арцахского МИД. Обедать и ужинать все ходили вниз, в столовку отеля, где посетителям, рассевающимся за грубо сколоченными деревянными столами, подавали лаваш, чай, супы и рассыпчатый плов с тушёными овощами.

В Горисе мы застряли надолго. Каждое утро над гостиницей в сторону Арцаха проносилась пара вертушек. Позавтракав, мы с Вадиком тащились в пресс-центр, где нас встречали арцахские мидовцы. Выписывая пропуска другим корреспондентам — российским, европейским и американским, — они

твердили, что наши документы ещё на проверке, что надо ещё немного подождать, сочувственно смотрели в глаза, пожимали плечами, вздыхали. Понимающе кивая, мы выходили на улицу, под солнце, и, выругавшись, отправлялись в пеший неспешный рейд по городу, изучая улиток в монастырском дворе, каменных, почти германских орлов на усадебных воротах и легковушки с надписями Reuters, BBC, Russia Today и Associated Press.

Когда мы сидели с разочарованным видом на скамье у драмтеатра, перед нами возник низенький крепкий лысый мужчина в джинсах и камуфлированной футболке.

— Случилось что-то, ребята? — поинтересовался он.

— Да вот, на фронт не пропускают, — сказал я.

— А вы журналисты?

— Угу, — подтвердил Вадик.

— Из России?

— Из России.

— Так в чём проблема? Давайте со мной.

— А вы кто? — осведомился я.

— Гуманитарку вожу. Вечером отправляюсь. Прямо на передовую. Хотите?

Мы с Вадиком переглянулись. Предложение заманчивое. Но сомнение заострённой деревянной палочкой царапало моё сердце.

— Спасибо. Мы попробуем официально, — выдал, наконец, я.

— Ну... Ладно, — произнёс лысый и пропал в солнечных бликах.

Второй раз мы встретили его через несколько дней. Выйдя на гостиничное крыльцо после ужина, остановились у припаркованных машин телевизионщиков. Не успели перекинуться двумя-тремя словами, как он, упакованный в дорожную блестящую коричневую кожанку, материализовался буквально из темноты, лукаво улыбаясь.

— О! Привет, ребята. Всё ещё здесь?

— Как видите, — буркнули мы.

— Ещё не передумали?

— А какой у вас маршрут? — попытался уточнить я. — Нам надо в Степанакерт.

— А мне туда не надо. У меня своя программа, — протянул он, — Ну так что? Решились? Выезжаем через полчаса!

И вновь я отказался. Вадим потом укорял меня — мол, надо было соглашаться. Но я откровенно рассказал ему о своей смутной тревоге и о том, что мне не хочется стать ритуальной жертвой, демонстрирующей безжалостность «азербайджанской военщины».

— Думаешь, с аккредитацией у нас меньше шансов сдохнуть? — саркастически уточнил Вадик.

— Думаю, в обществе этого гражданина шансов сдохнуть существенно больше, — парировал я.

Изнывая от безделья, мы коротали время, шарахаясь по окрестностям. Однажды забрались на соседнюю гору Ластихут. С неё просматривался весь Горис. Вадик фотографировал парящих над нами орлов, а я смотрел на горные

цепочки, стелящиеся в сторону Карабаха — сначала зелёные, затем — синие и голубые. Внезапно запищал телефон — звонили из офиса армянской партии, с представителями которой я по работе пытался связаться ещё в Ереване. Мы немного побеседовали, договорились созвониться по приезде в столицу и распрощались. Ещё чуть-чуть побродив, стали спускаться. В городе снова посетили пресс-центр, получив очередную порцию «завтраков». А когда выходили на улицу, зазвучала сирена. Прохожие бросились к маленькой площади с фонтаном за драмтеатром. Мы последовали за ними. Оттуда было видно, как в небе над Ластихутом тянулся белый инверсионный хвост ракеты, ползущей к Горису. Потом ракета превратилась в облачко — её сбили. Толпа радостно загомонила, а я зарделся от стыда: ходить в горы и трещать там по сотовому не советовали — азербайджанские радары фиксировали телефонную активность на стратегических высотах, передавали примерные координаты ракетчикам, и те отрабатывали по цели. То есть по факту я спровоцировал обстрел.

Между тем редакция, не зная, как помочь нам в преодолении бюрократических препон, не получая текстов, психовала. Кураторы передавали противоречивые указания, требовали давить на сотрудников пресс-центра, придумывать темы для работы в Армении, идеи о нелегальном проезде отвергали. В итоге им надоело ждать, и нам велели собирать манатки и сваливать в Ереван.

— И что же делать? — уставился на меня Вадик.

— Что-что... Саботировать. Мы сюда приехали, дабы поцеловать шлагбаум, и всё? Нет, пусть на хрен идут со своими решениями, — отрезал я, понимая: теперь придётся действовать нестандартно.

Утром мы опять заявили в пресс-центр. Служащие демонстративно не обращали на нас внимания. Я кашлянул:

— Здравствуйте.

— Здравствуйте, — отвлёкся один из них от своего ноутбука.

— Вот зашли узнать, как дела, — начал я.

— К сожалению, пока нет никаких известий, — ответил он.

— Да? Странно. Очень странно.

— Почему же?

— Почему? А потому что наше терпение и терпение нашей редакции не железное.

— В смысле?

— В том смысле, что мы уезжаем. Да-да. Уже сегодня.

— Как же так?

— А вот так. Нас ведь не пропускают. Значит, ловить тут у вас нечего. Поедем в Ереван, значит. Ну, естественно, придётся поделиться с коллегами и общественностью информацией о том, как российским журналистам МИД Арцаха создаёт проблемы на границе.

— Какие проблемы? — опешил он.

— А вот такие. Мы ведь не можем ничего скрывать. Нашим читателям наверняка всё это будет очень интересно, — резюмировал я.

— Думаешь, сработает? — осведомился Вадик на улице.

— Давай подождём полчаса.

Ждать полчаса не пришлось. Через десять минут на мой телефон упало сообщение: «Добрый день. Вы ещё тут? Зайдите, пожалуйста, в пресс-центр».

Теперь предстояло найти таксиста. Водитель французских журналистов отказался нас подвезти. Ещё несколько волонтеров слились, сославшись на срочные дела. Другие заявили, мол, им родственники запрещают кататься в Арцах. Серьёзно? Ну хорошо-хорошо. И тут мы с Вадимом увидели Синода. Сутулого, с обширной седой шевелюрой, обрамляющей глиняную лысину, в светлой рубашке навывпуск поверх серых брюк. Он стоял в жарком слоистом мареве у памятника создателю армянского алфавита Месропу Маштоцу. Стоял молча, шатаясь, ни на кого не глядя. Рядом нагревалась его серая «Лада».

— Похоже, наш человек, — обронил Вадик.

Мы не ошиблись. Синод согласился подбросить нас до Степанакерта за умеренную плату. Но по-прежнему оставался нерешённым вопрос касок и «броников». Где и как бесплатно достать их в прифронтовой зоне, когда подобные вещи в жутком дефиците?

— Сейчас всё порешаем, — произнёс пенсионер и двинулся в мэрию.

Там он провёл нас на второй этаж, постучал в кабинет замглавы города и, не дожидаясь реакции, вошёл. За столом сидел плотненький массивный коротко стриженный камуфлированный дядька. Они что-то обсудили на армянском, замглавы куда-то позвонил, и спустя десять минут мы тряслись в легковушке Синода по окраинам Гориса, пока не тормознули у какого-то склада. Синод пнул железные ворота, ему открыл молодой офицер. Они поговорили. Офицер кивнул и скрылся внутри, а затем вынес пару тяжёлых жилетов и касок времён Великой Отечественной.

— Смотри, какие раритеты, — усмехнулся Вадик.

— Ага. Прямо из запасников краеведческого музея, — согласился я.

— Ребята, это с возвратом, — категорично сказал пробивной Синод, знавший, видимо, вообще всех в городке. И добавил: — Ну что? Погнали?

На выезде из Гориса трасса на Карабах сразу резко взяла ввысь. По ночам по ней спускались красные огоньки — медицинские машины везли по больницам раненых военных и гражданских. Теперь мы катили по этой дороге в противоположную сторону, в красные и оранжевые осенние горы, туда, где большинство людей никогда не захотело бы оказаться.

12. Карабах

Первым увиденным нами в Арцахе-Карабахе местечком был горный городок Бердзор, по-азербайджански — Лачин. В годы предыдущей войны здесь функционировал так называемый Лачинский коридор, соединявший территорию Армении и непризнанной республики. Потом армяне заняли окрестные районы, азербайджанцы бежали, и коридор перестал быть таковым. Останавливаться там не планировали. Но арцахскую военную полицию заинтересовали мы с Вадиком.

— О, посещали Турцию? — спросил рослый полицейский, разглядывая мой загранпаспорт.

— Да, лет семь назад. Стамбул.

— И как вам?

— Красивый город.

— И что? После происходящего ещё раз поедете?

— Не знаю. Учитывая официальную работу здесь, вряд ли.

— Это да, — усмехнулся он.

— Не хочется оказаться в итоге в азербайджанской тюрьме, — добавил я, имея в виду союзнические отношения Баку и Анкары.

— И не говорите, — произнёс полицейский, возвращая документы.

За Бердзором нас уже не тормозили. Синод вёл свою легковушку, которую ласково величал Лада Чебурашка, по извилистому серпантину, приговаривая:

— У меня здесь самая удачливая машина! Самая! Как началась нынешняя война, сколько народу провёз в обе стороны — никогда ничего не случилось!

Мы кивали, вцепившись в сиденья, лишённые ремней безопасности. «Лада» периодически сворачивала на какие-то сельские грунтовки, потом снова выруливала на шоссе, проносясь над речками и пропастями по мостам, покусанным ракетными обстрелами, пока не вкатилась в Шушу, пригород Степанакерта.

В Шуше война ещё не поселилась. Лишь навевалась периодически. Но здешним обитателям этих визитов хватало с избытком. Основная часть населения на тот момент уже эвакуировалась в Армению. Последние жители прятались в подвалах. Потому на улицах господствовала тишина. Тьма загустевала в окнах, лишённых стёкол взрывными волнами. Прямо посреди проезжей части у Дома культуры из асфальта торчала неразорвавшаяся реактивная ракета. Сам ДК был руинирован прямым попаданием авиационной бомбы — потолок над актовым залом отсутствовал, внутри висела мешанина перевёрнутых разорванных красных кресел, кусков бетона и вырванных арматурин. По словам Синода, бомба прилетела, когда в здании проводили совещание арцахские силовики. Погибло человек тридцать, о чём свидетельствовали сваленные в кучу у входа покрытые пылью и запёкшейся кровью каски. Странно, но в других помещениях ДК всё уцелело. Мы бродили по коридорам, выложенным разноцветными мозаиками и огромными панно, изображающими горные пейзажи.

— Ребята, давайте быстрее. Скоро темнеть начнёт, — торопил нас возница.

Вторую неразорвавшуюся ракету мы заметили около шиитской соборной мечети Гевхар-аги. Набитая взрывчаткой металлическая болванка воткнулась в тротуар под углом. Вадик принялся её фотографировать, и сию секунду из кустов вылез чёрный кот. Посмотрев на нас, он неспеша подошёл к ракете и стал тереться об неё. Мы замерли, ожидая нехорошего. И совершенно зря, ведь боевая часть смертоносного изделия находилась под землёй, а над асфальтом возвышался только хвостовик. Оставив товарища завершать фотосессию, я поплёлся вниз по улице, к мечети XVIII века. Она представляла собой типичную постройку в иранском стиле — прямоугольный корпус, арочная, отделанная мрамором входная группа, пара узорчатых минаретов. Синие двери были закрыты. Позади мечети, в траве газона, приютилось миниатюрное мусульманское кладбище. За оградой, выложенной булыжником, россыпью стояли привычные хрущёвки.

Третью остановку в Шуше мы сделали у собора Святого Христа Всеспасителя, известного здесь по названию квартала, где его возвели, — Казанчецоц.

У храмовой ограды нас встречали гипсовые ангелы с лицами, посечёнными осколками. На плиточной дорожке валялись металлические обломки азербайджанской ракеты. Сам собор издали казался целым — зефирный крестово-купольный комплекс и массивная колокольня середины XIX столетия. Но это издали. За распахнутыми дверьми всё пространство храма покрывал слой обвалившейся штукатурки. В крыше над южным приделом зияла круглая дыра. Прямо под ней лежала груда серых кирпичей, некогда составлявших сводчатый потолок. Росписи на стенах были усеяны царапинами и выбоинами, словно внутри собора вращалась монструозная железная юла. И лишь сбоку я заметил чудом уцелевшую фигурку молящейся Богородицы. Храм получил пробоину за несколько дней до нашего приезда. Боеприпас «доставили», когда двое российских журналистов вели оттуда прямой эфир. Оба пострадали, но, к счастью, выжили.

Дальше Синод гнал в сумерках. Прекратив нахваливать Ладу Чебурашку, он изумлялся нашему с Вадиком телосложению:

— Какие вы худенькие! Ай-ай! Наверное, потому что молоденькие! А до вас только толстенные попадались!

Тут следовало посмеяться, но меня занимало иное. Артиллерийская канонада — тяжёлый гул, нараставший от горизонта по мере приближения к Степанакерту. Глухой утробный звук полз по долинам, горным склонам. Ровные смутные раскаты, навевавшие тревогу, внезапно превращались в резкий гром — в животе всё сжималось, ладони начинали потеть, — затем гром сменялся невнятным бормотаньем, как будто где-то впереди кто-то на исполинском костре разогревал исполинский же чайник с водой. И осознание того, что мы вот-вот подберёмся к этому костру, заставляло задуматься о правильности жизненного выбора.

Степанакерт мы узрели в последних сполохах оранжевого заката. Мягкий свет падал на обочину, устланную жухлой травой, цеплялся за жёлто-коричневый щуплый кустарник, исчезая у подножия холмов. Над частным сектором уже властвовала тень, но дома угадывались по белым цепочкам жестяных рифлёных крыш. Ближе к центру призрачно маячили несколько многоэтажек, а за ними слоились горы серых, голубых, синих, фиолетовых оттенков, сливаясь кромками с почти ночным небом. Заехав с юга, Лада Чебурашка Синода проскочила медицинский городок, кафедральный собор Святой Богоматери, парк Шаумяна с транспортным кольцом и замерла у гостиницы «Европа».

Гостиница «Европа» — она и сейчас там есть, только город называется не Степанакерт, а Ханкенди, и над ним развеивается иной флаг, и живут в том городе иные люди, — формой похожа на бумеранг. На первом этаже — ресепшен, помещения для персонала, бар с интернетом (кстати, это была вторая точка на весь Карабах, где удавалось выйти на связь. Первая — в ресторане пафосного отеля «Арцах», расположенного около степанакертского стадиона). На цокольном этаже — столовка. Прилегающие комнаты забиты беженцами, спавшими вповалку на туристических пенках, расстеленных на мраморных полах. Несчастные поголовно болели ковидом, и зараза постепенно ползла вверх, обволакивая три уровня с номерами, занятыми журналистами и сотрудниками международных гуманитарных организаций.

Наглухо зашторенные панорамные окна выделенного нам «стандарта» выходили на северо-восток — на миниатюрное здание арцахского МИДа, примыкающие к автовокзалу брежневки и республиканский государственный университет. У стенки персонал отеля заботливо оставил пару больших матрацев на случай, если при очередном обстреле оконные стёкла вылетят. Предполагалось, что мы будем спать на полу, отгородившись от окон этими матрацами, которым предстояло принять на себя поток острых прозрачных осколков.

13. Предсказание

Интерес к теме войны возник у меня в раннем детстве. Вернее, началось с интереса к военной истории. Подробности есть в рассказе «Во всём виноват Эйзенштейн». В основу легли визуальные впечатления от художественного фильма «Александр Невский». Потом появились книги, о которых говорилось в начале этой повести. А в августе 1999-го — я тогда был 15-летним школьником — воскресным утром мама включила телевизор, и нам сообщили о вторжении ичкерийских отрядов Басаева и Хаттаба в Ботлихский район Дагестана. Через неделю мы поехали по туристической путёвке в Санкт-Петербург, и по ночам, лёжа на верхней полке в купе железнодорожного вагона, я наблюдал составы с бронетехникой, скользящие на юг мимо нашего пассажирского.

Именно в то время, ещё задолго до старта журналистской карьеры, я занялся мониторингом информационной кавказской повестки. Ежедневно утром и вечером смотрел новости про Чечню и самое важное выписывал в специальную тетрадку. Когда провели интернет, переключился на сайты новостных агентств. Раз в несколько месяцев составлял хронологию конфликта, регулярно обновляя её. Параллельно осмысливал случившееся на войне, пытался анализировать. Нормальные пацаны заигрывали с девчонками, устраивали футбольные матчи, осваивали компьютерные игры. А меня занимали иные вещи: штурм Грозного, почему колонны попадают в засаду и как под Улус-Кертом погибла целая рота ВДВ.

В какой-то момент актуального стало недостаточно, и я решил взяться за предысторию конфликта. Сперва на моём столе оказалась распечатка книги Моше Гаммера «Шамиль. Мусульманское сопротивление царизму. Завоевание Чечни и Дагестана». А затем сошла лавина — пять томов Василия Потто, шесть томов Николая Дубровина, изданные литературным журналом «Звезда» воспоминания участников Кавказской войны XVIII—XIX веков, труды Николая Покровского, Якова Гордина, Владимира Лапина, Амира Урушадзе, Патимат Тахнаевой, Хаджи-Мурада Доного, Сергея Манышева, Игоря Курукина, Юрия Карпова.

Год за годом недуг прогрессировал, и я уже со скепсисом смотрел на аналитические статьи в федеральных изданиях. Мне не нравилось там всё: подходы, оценки, трактовки, объёмы. Обнаглев, сам стал кропать гигантские публицистические материалы и экспертные заметки. По началу их брали малоизвестные ресурсы, писавшие о геополитике. Потом наступила очередь

толстых литературных журналов. Наконец, пал бастион под названием «Московские СМИ». В частности мои тексты печатала «Независимая газета». Один из них — о формировании в Дагестане добровольческих батальонов («новой армии») для борьбы с террористами — спровоцировал скандал на пресс-конференции командующего российскими внутренними войсками.

«Кто это написал? Подайте мне его!» — вопил генерал.

Но куда там... В редакции «Независимой» знали только адрес моей электронной почты.

Наконец, жена убила заняться социальными сетями. Я завёл аккаунты в «Живом журнале» и «Фейсбуке»¹, принялся регулярно комментировать важные для Северного Кавказа события. Параллельно активно добавлял в друзья журналистов, кавказоведов, востоковедов, исламоведов, социологов, политологов. Они видели знакомую тему и принимали приглашение, оставляя реплики и вступая в дискуссии. Коллеги-корреспонденты из региональных и федеральных СМИ, наблюдая всё это, стали обращаться с просьбами об интервью. Я не отказывал. Дошло до того, что один из экспертов, к которому обратились за комментарием из «Инсайдов», сказал: «А зачем вы мне звоните? У вас же там Колчин есть».

Популярности придавало применение вроде бы простых, но непривычных для отечественных медиа аналитических методик. Я тщательно, через разные открытые источники, изучал картину дня, фиксировал, а затем препарировал, учитывая бэкграунд и обширный набор сопутствующих факторов — социальных, культурных, политических, психологических, географических. Такой подробный разбор позволял прогнозировать развитие ситуации вперёд на пару шагов. Был случай, когда удалось, сидя за ноутбуком дома в Екатеринбурге, вычислить, кто, вероятно, станет очередной смертницей в Дагестане. И она стала.

Но апофеозом всего был «инсайд» о предстоящей гибели амира «Имарата Кавказ»² Алиасхаба Кебекова в апреле 2015-го. Мне никто ничего не сообщал. Просто за несколько дней до события я слонялся по квартире, обдумывая текущую дагестанскую ситуацию, и в голове из ниоткуда возникла мысль: «Кебеков скоро умрёт. Это произойдёт в пригороде Буйнакска. С ним убьют четверых поделщиков. Штурм частного дома».

Через несколько дней так и произошло. Никому, кроме жены, я тогда о своём озарении не сказал. Не хотел, чтобы приняли за сумасшедшего.

Позже знакомый московский журналист, которому на новой работе поручили заниматься Кавказом, спросил, как лучше построить схему действий. Я дал ему советы и отметил:

— Понимаешь, изучение нынешней Кавказской войны — парадоксальное занятие. Если не бросишь тему, со временем сам станешь экспертом. Мало того — и тут прошу не удивляться, — научишься не только видеть тенденции, но и предугадывать события в мельчайших деталях.

Кажется, он со скепсисом воспринял мои слова, а через год сменил работу и позабыл про Северный Кавказ. Я же не забываю до сих пор.

¹ Признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ.

² Террористическая организация, запрещена в РФ.

14. Военкоры

Не успели мы с Вадиком переступить порог «Европы», как нас подхватили и потащили в сторону бара, к диванам и столикам, на которых мерцали экранами распахнутые ноутбуки, бликовали в приглушённом свете ряды бутылок с вином, коньяком и вискарём. Воздух состоял из перезвона стаканов. Сыпались приветствия, вопросы о том, как мы доехали, как и где устроились, из-за чего столько времени проторчали в Горисе. Нам жали руки, дружески похлопывали по спинам. Бурю восторга вызвали наши древние каски. Все стремились примерить их и сфотографироваться. Шутка об экипировке из краеведческого музея перестала быть шуткой и сделалась частью репортёрского фольклора.

Бар «Европы» в те дни был сердцем, толкающим кровь по невидимым венам журналистских связей и знакомств. Центром миниатюрной вселенной. Здесь выясняли отношения, делились невзгодами, обсуждали планы, обстановку в редакциях и, чего греха таить, отсутствующих коллег. Сюда приходили выдохнуть, пропустить пару-тройку рюмашек, обменяться идеями, договориться о взаимопомощи. Утром и в обед бар пустовал — корреспонденты работали на выезде. Но вечером и ближе к ночи он превращался в пристанище выпивох, сказочников и молодых талантов.

Громче остальных, помню, был Лёша С. из Москвы. Высокий шатен, облачённый в камуфляж, он рассуждал о том, что никогда не женится, ведь это несовместимо с профессией военкора.

— Я друга оставил следить за квартирой. С другом, вообще, комфортнее. Его в любой момент можно послать, а девушку посылать как-то совестно, — говорил Лёша и очень удивился, узнав, что я женат уже десять лет.

От него веяло позитивом. Несмотря на годы, проведённые на Первой Донбасской и Сирийской войнах, он излучал оптимизм и непринуждённость. Потом, когда мы с Вадиком снова встретили его в какой-то степанакертской забегаловке, чудом работающей, Лёша с искренним интересом слушал о наших похождениях, хотя сам мог рассказать не меньше о своих приключениях.

Вернувшись из Карабаха, Лёша сделал документальный фильм о той войне. Я не смотрел, но, судя по отзывам коллег, картина получилась отменная. В 2022-м он вновь поехал на Украину и почти не вылезал с фронта. Мы с ним не пересекались, поскольку у меня получилось выбраться туда всего один раз, да и то — на другое направление: он заезжал через Луганск и дальше на Бахмут, а я торчал на окраинах Донецка. Параллельно читал его телеграм-канал, но потом отписался, как и от всех военкоров. В 2024-м его перебросили в Африку, где российское минобороны пыталось реанимировать контракты ЧВК «Вагнера», разогнанной после мятежа.

Там же, в баре «Европы», я познакомился с Даниилом Ф. Даня, плотненький очкарик-брюнет, числился в крупном федеральном информационном агентстве, с которым я сотрудничал несколько лет назад. Он давно уже таскался по войнам и революциям, но странным образом, как и в случае с Лёшей, эти перипетии не оставили никакого отпечатка на его задорной физиономии. Мало того, Даня

с куда большей охотой обсуждал свои тёрки с московскими риелторами, а не похождения в разных горячих точках постсоветского пространства и соседних территорий. В Карабахе он где-то раздобыл полицейский бронежилет, и у меня в мозгу сохранился кадр: крепыш Даня стоит посреди гостиничного бара, подняв руки, а мы с Вадиком с двух сторон пытаемся застегнуть на нём синий маленький броник.

В следующий раз мы с Даней увиделись через три года. Он приезжал к нам в Екатеринбург на похороны общего знакомого репортёра, погибшего на запорожском направлении украинского фронта. Я на церемонию не успел — был в отпуске на Южном Урале, приехал на следующий день. Даня квартировал в гостинице в самом центре. Ему предстоял утренний рейс обратно в Москву. Мы немного прогулялись, поделились новостями. Оказалось, Даня женился, у него родился сын. Мы уточнили, кто и где работал на войне в 2022-м. Прощаясь, Ф. скинул мне записки фотокорреспондента Андрея Стенина, убитого на Донбассе в 2014-м, и обнял.

А вот самым заметным из нашей журналистской братии в Карабахе тогда был Хуан К. Двухметровый бородатый чернявый здоровяк испанских кровей. Его предки-коммунисты в 1930-х эмигрировали в Советский Союз, проиграв гражданскую войну у себя на родине. На закате «красной империи» родители Хуана развелись, и мать увезла его на дедовскую землю, в Басконию, южные предгорья Пиренеев. Закончив школу, юный Хуан подался в журналисты. Знание русского, испанского и английского открывало ему многие двери в медиасфере, а обладание двумя паспортами — Испании и России — служило неплохим подспорьем. Хуан непрерывно травил байки и громогласно хохотал, но, усаживаясь за работу, становился непроницаемо серьёзен.

Именно факт наличия российского гражданства и оказал ему, спустя пару лет, медвежью услугу. Он постоянно сотрудничал с европейскими филиалами московских медиахолдингов, прессующих отечественную эмигрантскую тусовку. Постепенно Хуан примелькался на её мероприятиях в качестве корреспондента недружественной стороны. Апофеоз наступил в 2022-м, когда Хуана задержали в Польше, недалеко от украинской границы. Испанца обвинили в шпионаже в пользу РФ и отправили за решётку. Причём судебный процесс откладывали, а срок предварительного заключения регулярно продлевали. Лишь в августе 2024-го журналиста вернули в Россию в рамках обмена заключёнными.

Рядом с Хуаном держался его молодой товарищ Тимофей З. Я с Тимой очень быстро нашёл общий язык. Он заметил, что в качестве заставок у меня на мобильном телефоне картины чеченского художника Рустама Яхиханова. Мы разговорились. Карабах был «стартовой» войной Тимы, и он, светленький и тонкокостный, с живым интересом относился ко всему окружающему. По утрам мы уходили из гостиницы по своим заданиям. Иногда наши маршруты совпадали. Мне нравилось беседовать с Тимошей, и я обрадовался, когда, уже на пути в Россию, мы с Вадиком встретили их с Хуаном в ереванском аэропорту.

Дома З. женился, а в 2022-м его отправили на украинский фронт. Часть весны он провёл в Луганске, а я в Донецке. Встретиться нам не удалось. Потом, когда моя командировка закончилась, Тиму перекинули в ДНР. Мы списались,

обсудили разные технические моменты. И всё. Летом меня уволили из «Инсайдов», оставив без хорошей зарплаты, позволявшей таскаться по войнам. А Тима в основном был на фронте.

Настоящей звездой военного репортажа среди нас всех смотрелся Виктор Н., фотограф информационного агентства с обширной советской историей. Сухопарый белобрысый морщинистый дядька. Он начинал ещё на исходе 1990-х в Дагестане — снимал бои. Вторая Чеченская, Беслан, война 2008-го в Южной Осетии, конфликты в Сирии и Афганистане. По итогам работы в 2014—2015-м на Донбассе издал объёмную фотокнигу. С нами, молодняком, он держался запросто, без гонора и пренебрежения. К нему обращались с вопросами и получали исчерпывающие ответы.

«Сранные фрилансеры!» — порой негодовал Виктор по какому-либо профессиональному поводу, но быстро остывал.

В 2021-м мы с Виктором переписывались в соцсетях. Его интересовал мой опыт по реализации книг. Я поделился знаниями. Виктор хотел прилететь в Екатеринбург для презентации своего детища, но из-за эпидемии ковида план сорвался. В 2022-м он поехал на украинскую войну. Долго вкалывал там. Потом ему всё надоело, и он уволился. По иронии судьбы стал тем самым фрилансером. Но долго так не смог и вернулся. Снова ездил на фронт. К сожалению, больше мы не общались.

Единственной девушкой-репортёром в те дни в Степанакерте оказалась Вика О. Рыжая, белокожая фигуристая девочка из Тулы, она несколько лет работала для разных редакций на Донбассе. У неё была идея — объездить все непризнанные республики бывшего Союза. Арцах идеально вписывался в эту схему. Правда, аккредитацию ей не дали, и Вика пробралась на фронт тайком — договорилась с водителем фуры, вёзшим гуманитарку. Он спрятал её в кузове. Выезжала таким же способом. В столице Арцаха она устроилась в частной гостинице на окраине города. Но там не было интернета, и Вика приходила к нам в «Европу». Обладая обострённым чувством справедливости, она не стеснялась в открытую негативно реагировать на слухи о коллегах и эмоционально возмущалась, когда кто-нибудь без пиетета отзывался о республиках Донбасса. Естественно, Вика была объектом пристального внимания многих мужчин-журналистов.

— С кем ни начнёшь общаться — либо мудака, либо потрахаться предлагает. Мальчики, надеюсь, вы не такие? — жаловалась Вика нам с Вадиком.

— Конечно, нет, — отвечали мы.

Постепенно её возможности иссякали, но в 2022-м она сумела вернуться на украинский фронт. Мы пару раз связывались в мессенджере по рабочим вопросам. Вика сетовала на то, что многие корреспонденты, ранее не бывавшие в ДНР и ЛНР, пользуются её помощью, а сами помогать не спешат. Сползающая под откос экономика и летящие в небеса цены в конце концов убили независимую военную журналистику, и Вика вернулась домой, завязав с поездками в горячие точки. Впрочем, не только она.

Что касается иностранных корреспондентов, то в Карабахе довелось контактировать с украинским фотографом Ярославом Ц. из Associated Press.

Среднего роста, худощавый брюнет из Харькова, Ярослав не трепался, а постоянно был занят каким-то делом: отбирал снимки, монтировал видео, редактировал тексты. В его карьере числились Майдан, Донбасская война, Сирия, Ирак. В 2017-м он запечатлел жесточайший штурм Мосула, который удерживали джихадисты, а осаждали иракские правительственные войска, шиитская милиция, отряды курдов и экспедиционный корпус из Ирана при поддержке американских и российских военспецов. Говорят, пуля снайпера разбила его фотокамеру и впилась в бронежилет.

Возобновили общение мы с ним в 2021-м. Американцы как раз ушли из Афганистана, и страну захватили талибы¹, до этого двадцать лет находившиеся в подполье. Ярослав поехал туда через Пакистан, а я занимался подготовкой командировки через Таджикистан. Списались. Ярослав дал некоторые советы и подсказки, обратил внимание на ряд нюансов. Договорились поддерживать связь. К сожалению, мне путешествие «за речку» осуществить не удалось. А в 2022-м мы с Ярославом уже были по разные стороны линии фронта: я в пророссийском Донеске, он — в осаждённом, пока ещё украинском, Мариуполе. Ярослав сделал документальный фильм и в 2024-м получил за него «Оскар».

15. Степанакерт

Утром было прохладно. Я нацепил броник, сверху надел потрёпанную зелёную куртку. Каску засунул в чёрный рюкзак, так как она болталась у меня на голове даже при наличии спортивной шапки. Вадик обошёлся без куртки, обвесив бронежилет своими фотографическими прибрлудами. Но каской не побрезговал.

Улица пустовала. Мы огляделись, а затем двинулись по проспекту Азатамартикнери мимо здания арцахского министерства иностранных дел в сторону Центрального автовокзала и расположенного за ним транспортного кольца. Тротуар блестел и хрустел от выбитых при обстрелах стёкол, местами асфальт сплошняком покрывали опавшие жёлтые и коричневые листья. Такие «ковры» представляли опасность, поскольку скрывали неразорвавшуюся начинку кассетных боеприпасов, которыми азербайджанские войска от души закидывали город. Степанакертские кошки и собаки каждый день подрывались на этих «сюрпризах».

Перед нами шли две полные женщины в коричневых платьях, с обмотанными шальями поясницами. Справа остался полицейский участок. У входа стоял грузовик с тёмно-зелёным тентом. Туда-сюда сновали стражи порядка, таскавшие из оружейной комнаты в машину автоматы и ящики с патронами и гранатами. Внезапно горожанки остановились и уставились в небо. В то же мгновение улицу наполнил резкий скрежещущий звук. Такой звук издаёт газующая машина при разгоне. Звук длился и длился, а в синеве, прямо над нами, разрасталась белая дорожка.

¹ «Талибан» признан в РФ террористической организацией.

— Ракета! — закричали женщины и бросились к нам.

Я заворожённо наблюдал за белой небесной дорожкой.

— Бегите! — вопили горожанки.

Над проспектом раздался треск зениток. Вадик куда-то подевался, а я, выпучив глаза, рванул вокруг грузовика и, запыхавшись, ввалился в участок. Испуганно смотревшие на улицу полицейские жались к стенам. Вадика я нашёл в дальней комнате. Опустившись на колено среди стульев и заваленных папками столов, он, пригнувшись, обеспокоенно косился на окно.

— Уф. Давно так не бегал, — шумно выдохнул я.

— Ракету, наверное, сбили. Взрыва не было ведь?

— Ага. Не было. А эти грузовик с боезапасами прямо у входа припарковали. А если бы по нему прилетело...

Отдышавшись, мы посеменили дальше, то и дело тревожно поглядывая вверх и прислушиваясь, не приближается ли ещё одна болванка.

На транспортном кольце мимо нас прогрохотал тягач с танком на платформе и исчез где-то на северной окраине. На перекрёстке первые этажи домов занимали магазины с вынесенными панорамными витринами. Стёкла сияющим крошечным усеивали дорогу, а в помещениях пылились платья, спортивные костюмы, детская одежда, бытовая химия. Редкие прохожие издали внимательно изучали нас, а приблизившись и сообразив, кто перед ними, приветственно махали.

За кольцом, правее, стояла станция скорой помощи. Её окна были заложены мешками с песком. На расшатанных стульях около машин сидели несколько медбратьев в расстёгнутых куртках. Они ели лаваш и запивали молоком из пластиковых бутылок.

— Ребята, давайте к нам, на перекус! — крикнул небритый толстяк.

— Спасибо, но мы уже получили приглашение! — ответил я.

У церкви Святого Акопа свернули в квартал пятиэтажек, за которыми струилась речка Каркар. За речкой шоссе устремлялось в гору мимо района Ачапняк, виляя по хребтам на запад, к Мартуни.

Но мы направлялись не туда. Ещё до отъезда на фронт мне в интернете попала новость о том, что активистка, неформально возглавляющая славянскую общину Карабаха, написала послание Путину. Сама она давно жила в Москве. Да и большинство славянских семей успели эвакуироваться. Но кое-кто ещё оставался в Степанакерте. И вот их бывшая землячка просила Президента помочь им. Это были смешанные армяно-русские, армяно-белорусские и армяно-украинские семьи. Но какая разница?

Тема показалась мне интересной. Я отыскал контакты авторши письма, пообщался с ней. Она поделилась телефоном живущего в Степанакерте предпенсионера, заботящегося о болеющей старушке-матери. Уехать у них не получилось, и они жили на отшибе под еженощными ракетными обстрелами. Мужчина согласился встретиться, и вот к нему-то мы с Вадиком и торопились, предпочитая максимально отработать план с утра, потому что для дальнейшей подготовки полученного материала зачастую требовалось приличное время.

Огибая очередную пятиэтажку, мы заметили маленький продуктовый магазин. Рядом горел костёр, местные жители что-то варили в котелке.

К нам подошёл высокий седоватый мужчина с внешностью, характерной для здешних краёв.

— Здравствуйте. Меня Игорь зовут. Вы русские?

— Здравствуйте, да, — сказал я, осматривая его.

— Я тоже, — сказал Игорь и показал советский военный билет, где в графе национальность значилось «русский».

Вадик понимающе кивнул.

— Вы к Валерию?

— Верно.

— Валера предупредил. Давайте провожу.

Мы последовали за ним до ближайшего подвала. Игорь спустился вниз, приоткрыл ржавую металлическую дверь и крикнул в темноту:

— Валер, к тебе гости!

Из темноты возник такой же седой крепкий дядька, гладко выбритый, в камуфляже. Твёрдый взгляд из-под очков. Отчасти выжидающий. Мол, с чем же вы явились? Пожав нам руки, дядька сказал:

— Добро пожаловать, — и вновь исчез в подвальной тьме.

Мы нырнули за ним. В нос ударил смешанный запах затхлости и сырости. Прежде, в начале войны, здесь было многолюдно, потом разъехались. Кто перебрался в Горис, кто в Ереван, кто ещё куда. Остались только Валерий с матерью. Убежищем для них служила комнатка с давно не белёнными стенами. Там теснились кресло, старый стол с наваленными на него удлинителями, деревянный стеллаж с банками и кастрюлями, задёрнутая оранжевым одеялом раскладушка, обогреватель и железная кровать. Над всем этим нехитрым хозяйством сиял электрический холодный огонёк.

На кровати, укрывшись белой простынёй до середины лица, лежала мать Валеры. Усталый чёрный глубокий взор, старческая морщинистая кожа, чёрные брови изогнуты в немом вопросе, чёрные с проседью длинные волосы, разметававшиеся по клетчатой красно-синей наволочке. Не проронив ни слова, она вздохнула и отвернулась.

Мы с Вадиком устроились на старых расшатанных стульях, а Валера опустился в скрипучее кресло, обшитое местами протёршейся фиолетовой тканью.

— Вы ведь уралыцы? — уточнил он. — Мама тоже. Вернее, предки её с Южного Урала. А сама-то она в Азербайджане родилась, в Сумгаите. Вышла замуж за армянина. А Сумгаит — это ведь... Вы, конечно, в курсе?

— Да, — ответил я. — 1988-й год.

Вадик между тем принялся за свою фотографическую работу.

— Вот именно. До февраля 1988-го жили нормально. А потом в городе стали резать армян. Знаменитый сумгаитский погром. Тот самый. Ну, мы от греха подальше перебрались в Степанакерт, на родину отца. Из огня да в полымя, как выяснилось.

— Как раз к Первой карабахской успели.

— Не то слово... Отец умер. А я по военной стезе двинулся. Карьеру сделал в арцахской армии. Затем на пенсию вышел. А вот сейчас, по случаю новой войны, опять мобилизовали. Старую гвардию! — горько усмехнулся Валерий.

— А теперь, получается, вы в подвале живёте?

— Получается так. Маму сюда перенёс, когда обстрелы начались. Возвращаться в квартиру смысла нет. Лупят каждую ночь. Не стану же я её таскать вверх-вниз. Ей мучение одно будет. Да и я не молодой. Сыновья на фронте. Соседи разъехались. Подсобить некому.

— Она лежащая?

— К сожалению. Постепенно разные болезни накладывались. Шейку бедра сломала. С лекарствами проблема, конечно. Вот, например, у неё атрофический гастрит, то есть кислотность в желудке нулевая. Нужен желудочный сок, ацидин-пепсин, а их нет. Также у мамы проблемы с сердцем — кровь густая. Необходимы разжижающие препараты. Варфарин дать не могу, так как он вызывает кровотечения в желудке. Нужен немецкий препарат, его не найти. А без этого — загустение крови, тромбы, инсульт.

— Об эвакуации в Армению не думали?

— Думал. Но в нынешней ситуации я её просто не довезу. Положат ли сразу в больницу — тоже неизвестно. Но если бы удалось приостановить боевые действия...

— А от кого это зависит?

— Мне кажется, многое зависит от России. Самостоятельно Баку не остановится. Они будут наступать, а мы — обороняться до конца. Мы ведь не сдадимся. Если понадобится, уйдём партизанить в горы.

— То есть требуется посредник?

— Да. Кавказцы — горячие люди. Нужен миротворец, который мог бы их разнять.

Обратно мы поторапливались параллельно утреннему пути — переулками и дворами. В какой-то момент земля у нас под ногами вздрогнула. Это азербайджанская РСЗО метнула пакет «Смерчей» на холмы восточнее города, занятые армянскими отрядами. Белёсый дымок взвился над речкой Каркар и повис в осеннем безветрии. Мы припустили, ожидая новой серии. Но её не последовало.

Через несколько дней, когда репортаж уже был опубликован, я узнал, что мать Валерия эвакуировали. Старушку вынесли из подвала, загрузили в «скорую» и отвезли в больницу. Там она и пробыла до конца войны.

А прогнозы его не сбылись. Армяне продержались до первых чисел ноября и потеряли три четверти Арцаха. От полного разгрома их спас только ввод российского миротворческого контингента в республику, к зиме 2020—2021-го представлявшую собой лишь Степанакерт и его пригороды. Даже Шуша досталась азербайджанцам. До полного решения «арцахского вопроса» оставалось ещё три года.

16. Дагестан

Я долго занимался аналитикой по северокавказской теме, но понял, что это бессмысленно без практики. Нужно отправляться на место событий. Крымский сценарий командировки меня не устраивал. Так называемая оперативная работа, на деле оказавшаяся беготнёй с высунутым языком по всему полуострову, порождала лишь однотипные тексты: мы приехали туда, поговорили с таким-то, поехали дальше, поговорили ещё с кем-то. Нет, спасибо. И я решил опробовать иной формат: не гнаться за новостями, а заняться отдельными историями. Одна командировка — одна история. К тому же на большее не имелось ни денег, ни времени. Отпускная неделя испарялась, и меня ждала работа в очередной уральской редакции.

Первая поездка в Дагестан состоялась весной 2015-го. Я обратил внимание на ситуацию в посёлке Временный, расположенный в горном Унцукульском районе. Посёлок возвели ещё при советской власти для строителей Ирганайской гидроэлектростанции на реке Аварское Койсу. Осенью 2014-го там провели спецоперацию — убили нескольких боевиков, после чего весь Временный был наглухо блокирован, его жителей выдворили, затем провели жёсткую зачистку. Некоторые дома разрушили до основания, некоторые частично. По официальным данным силовики искали схроны с боеприпасами и оружием. Но в реальности эти поиски вылились в самый настоящий погром. СМИ транслировали версию властей, но я подумал: почему бы не дать слово пострадавшим?

Добирался с пересадкой: самолётом до Минеральных вод, а дальше — поездом. Махачкала ошеломила меня. Обрушилась потоком старинных улочек, мечетей, причудливых пристроев, блокпостов. И тут же в глаза било ярко-синее Каспийское море, до которого рукой подать. А когда зрачки уставали впитывать подёрнутую ветром лазурь, я отворачивался, и передо мной вырастала громада хребта Тарки-тау, подпирающего город со стороны заката.

Да, в Махачкале имелась масса проблем: постоянно кого-то убивали, похищали. Мусор неделями не вывозился с помоек. Никто не соблюдал правил дорожного движения. Застройщики лоббировали вырубку последних парков, дабы заменить их однотипными многоэтажками с квартирами по безумным ценам. Регулярно пропадали вода и свет. Но город умудрился не потерять своей атмосферы, атмосферы точки смещения запада и востока, севера и юга.

Во Временный я отправился с водителем местного филиала федеральной, но независимой от российских властей правозащитной организации. Он вёл легковушку через перевал. Спустившись, мы оказались на равнине, достигли Буйнакска, проскочили насквозь, затем выкатили в предгорные холмы и колесили, пока не упёрлись в почти вертикальную скальную стену с прорубленным в ней Гимринским тоннелем. На противоположном конце тоннеля нам открылась иная вселенная. Вселенная бесконечного камня, поросшего редким лесом. Вселенная чёрных, серых, коричневых, сизых, фиолетовых оттенков. Они перемежались, ещё больше мрачнели при скоплении туч, либо

переливаясь холодными прозрачными лучами на фоне ясной, простиравшейся на сотни километров перспективы, когда выползало солнце.

До Временного мне не попадалось разрушенных населённых пунктов. Четыре разграбленных трёхэтажки были окружены месивом из грязи и досок. Сельские домики и примыкающие к ним сады скрыты бульдозерами. Уцелевшие постройки разрисованы свастиками и черепами.

По словам жителей, здесь хозяйничали полицейские и вэвэшники. Но позже возникла версия, что к разорению мог быть причастен отряд ЧВК, позже вышедший из состава компании и послуживший основой для другой частно-военной структуры. Как бы то ни было, фотографии порезанных и забитых в унитазы коранов и молитвенных ковриков свидетельствовали о том, что громили с остервенением и каким-то злобным удовольствием.

Сельчанами чуть ли не поголовно владел посттравматический синдром (ПТСР). По началу они приняли меня за провокатора. В их представлении пересечь половину страны за свой счёт во время отпуска, чтобы сугубо по собственному желанию написать репортаж о зачистке Временного, рискуя подвергнуться прессингу силовиков, мог лишь безумец. А поскольку на безумца я не походил, то оставался единственный вариант. К счастью, сопровождающий правозащитник сумел их переубедить. И когда они поняли, что имеют дело не с подосланным соглядатаем, а с увлечённым альтруистом, — двери сохранившихся в посёлке жилищ стали мне открываться.

Я побывал в изрисованных похабщиной и обчищенных квартирах, из которых вынесли всё: от телевизоров и стиральных машин до штор и школьных принадлежностей. В полуразваленных саклях, где оставались лишь спальня или кухня. Беседовал с угрюмыми мужчинами, печальными стариками, разъярёнными женщинами. Каждый стремился излить обиду, боль, горечь, рассказать о надеждах, о том, что согревало их лютой зимой, когда, потеряв кров, спасались они в соседних аулах у родственников по углам и летним верандам. С отчаянием и гневом твердили они о подпольной братоубийственной войне, захлестнувшей Дагестан.

В России о ней не многие знали, а на Кавказе предпочитали не замечать. Порой случалось так, что на некой улице спецназ штурмовал коттедж, а на параллельной люди спокойно угощались пирожными в кафешке. Само слово «война» употребляли только относительно событий августа-сентября 1999-го, когда отряды Басаева и Хаттаба рейдировали по Ботлихскому и Новолакскому районам «страны гор», а в Буйнакском федералы осаждали салафитские анклавы Карамахи и Чабанмахи. «Короткий драматический период» — так преподносили СМИ те два месяца, намекая на отличие от Чечни. Но война, вопреки чьим-то желаниям, не собиралась ею ограничиваться. В Дагестане войне тоже нравилось.

Вторую экспедицию туда я предпринял в 2017-м. Хотелось сравнить, как живут в республике семьи погибших полицейских и боевиков. Тех людей, которые официально считались боевиками и стигнули при определённых обстоятельствах. Потому что, по существу, никакой разницы между этими семьями и их жизнью не было. Продемонстрировать отсутствие отличий — вот главная идея, главная мысль, волновавшая меня тогда и не оставившая до сих

пор. Мысль о том, что, кто бы с кем из-за чего ни воевал, кровь у всех одинаковая, и горе матерей одинаково, и дети одинаково тоскуют по родителям, ушедшим до времени.

На сей раз работал в южном пригороде Махачкалы — в Каспийске. Небольшом городке на берегу моря. Каспийск — детище советской эпохи, скопище панелек в окружении новостроек. Здесь я наслушался историй о похищениях, о внесудебных расправах, когда пропавших находили в горах со следами пыток, в свежем камуфляже, с вложенным в руки оружием, или в подорванных и сгоревших машинах. А родственникам оставалось лишь читать новости с комментариями об очередном нападении на полицейских, ответном огне и детонации бензобака или перевозимого в салоне СВУ. Комментарии эти повторялись практически дословно. Никто им, конечно, не верил.

После Каспийска поехал в Хасавюрт — дагестанский город на границе с Чечнёй. Тамешнее РОВД напоминало укрепрайон, замаскированный под частный сектор. Хас, как его называли в народе, был ещё той горячей точкой на карте республики. Там каждую неделю гибли полицейские. Мне удалось найти контакты начальника РОВД, и он пригласил зайти к нему на работу. А я, напомним, действовал в качестве фрилансера, то есть никаких документов, кроме российского паспорта. Кроме паспорта и номеров телефонов родственников людей, считавшихся террористами. Тут надо уточнить, что в те годы во многих кавказских отделах полиции существовало негласное правило проверять мобильники у всех посторонних, оказавшихся здесь. Лишь по счастливой случайности мне удалось избежать сей занимательной процедуры, и комендант «гарнизона» передал меня в изящные руки штатной черноволосой психологини с внешностью модели. Мы с ней объездили половину города, и этот вояж стал новым погружением в бездны Кавказской войны, где к чаю нас приглашали иссушенные горем матери, вдовы и сёстры хасовских полицейских, взорванных в своих машинах, расстрелянных на блокпостах, рынках, в подъездах.

Чем чаще я бывал в Дагестане, тем подробнее в своей уродливой сути разворачивалась передо мной война. В 2018-м мне предстояло забраться вглубь гор, в Шамильский район. Там, далеко-далеко даже от Махачкалы, есть маленький аул Гоор-Хиндах, где живёт семья Гасангусеновых — отец и мать. Дочерей давно выдали замуж. Были ещё двое сыновей — Наби и Гасангусейн семнадцати и восемнадцати лет. Их убили, после чего объявили боевиками. Так получилось. Историю смерти двух вчерашних школьников я и хотел рассказать в тот год.

По сведениям общественника и друга семьи Гасангусеновых Джамбулата, высокого моложавого седого горца, утром братья ушли на пастбище пасти скотину, а вечером отправились домой, их встретили местные силовикии застрелили. Тела оттащили на обочину, закинули им за спины старые автоматы и оставили. Забирать явились утром. Там правоохранителей и застали односельчане погибших. Стражи порядка хотели увезти трупы в Махачкалу, но хиндахцы ворвались в отдел и отбили мёртвых братьев, похоронили на аульном кладбище. По словам Джамбулата и родителей, незадолго до этого джихадисты убили у них в районе федерального судью, и силовикам требовалось как можно быстрее

отчитаться о ликвидации «убийц» — для реализации этого «идеального плана» выбрали маленький род, не имеющий связей, за который никто не заступится.

Но информация утекла в дагестанские СМИ, всегда отличавшиеся дерзким нравом, и тогда, как говорится, бомбануло.

Аул Гоор-Хиндах примерно на 200 жителей, примостился возле речушки Кахибтляр. Рядом старинные селения Гоор и Кахиб. А вокруг — сплошная древность: руины крепостей, множество башен. Рай для туристов, интересующихся историей. Правда, абсолютно лишённый туристической инфраструктуры. Но мне в те дни было не до легендарных развалин и прочих достопримечательностей.

С отцом Гасангусеновых мы ходили на место убийства. Грузный Муртазали в кирзаках, линиях брюках, синей футболке и зелёной тубетейке шагал впереди, опираясь на палку. Мы пробирались по узкой тропинке, выходящей вдоль скал, минуя останки аулов XVIII—XIX веков и ряды кенотафов — символических захоронений в память сгинувших где-то на чужбине селян, чьи кости не удалось доставить на родину. Вскоре скалы оказались позади, и перед нами развернулась бесконечная панорама аварского высокогорья — хребты всех оттенков зелёного, коричневого и песочного, перемежаясь, разбегались в разные стороны, гармонируя с насыщенной небесной синевой. Вот на таком фоне приняли смерть юные Наби и Гасангусейн.

Руководитель дагестанского филиала упомянутой правозащитной организации Сиражутдин, на кухне у которого, уже в Махачкале, мы обсуждали ситуацию, выдал базу: ранее по разным причинам в республике боролись две машины насилия — государственная и подпольная. Начиная с 2012—2013 годов большинство подпольщиков и их пособников ушли в Ирак и Сирию, пополнив армию ИГИЛ¹ и прочие подобные группировки. Государственная машина не может резко остановиться, прекратить искать и расправляться. Для этого нужно время. Тем более для многих силовиков война является источником премий, наград, внеочередных званий. Сиражутдин, добродушный, поседевший бывший учитель, рассуждал об этом спокойно. Даже слишком, если учитывать, что незадолго до моего визита в Дагестан его избили во дворе собственного дома неизвестные. О какой справедливости можно говорить? Виновных в смерти братьев так и не наказали. Расследование зависло, дело положили под сукно. Классическая ситуация.

В 2019-м я опять посетил Дагестан. Планировал написать об аварском ауле Гимры, родине знаменитых имамов Северного Кавказа — Гази-Мухаммада и Шамиля. Вернее, о его блокаде федералами, длившейся с 2014-го и на тот момент ещё не завершившейся.

Гимры взяли в осаду одновременно с разгромом находящегося неподалёку Временного. Многие временчане бежали туда. Калитку за ними буквально захлопнули — на въезде в аул установили блокпост. Всех, оказавшихся в Гимрах, пронумеровали. И теперь, покидая село или возвращаясь в него, они были вынуждены проходить проверки с предъявлением личных документов и этих самых номеров. Посторонних не пускали. Лишь изредка делали исключение

¹ Террористическая организация, запрещена в РФ.

для туристических групп, ехавших для осмотра исторических памятников. Мне, кстати, пройти в селение не разрешили. Предложили ехать в Унцукуль, в РОВД, для получения какого-то мифического разрешения.

Разумеется, тащиться в Унцукуль было ни к чему, и я попёрся по горной дороге на 40-градусной летней жаре во Временный, благо там недалеко. Солнце наяривало сильнее и сильнее. Я ступал по гравийной обочине, всматриваясь в противоположный склон ущелья, где сквозь зелень садов понемногу проявлялись очертания окраинных гимринских построек. Вскоре стало понятно: ещё полчаса такого пути, и меня ждёт солнечный удар. К счастью, впереди показалась закрытая кафешка — очень маленькое помещение с верандой на пару столиков. Я присел в её тени, но солнце неумолимо напирало. Затенённый участок стремительно сокращался, словно высыхающая вода. Спас меня пыливший мимо ПАЗик, полный смешливых сельчанок. Водитель подвёз до посёлка и посадил на задах, у верхней части Временного, так что местные изрядно удивились, узрев русского, спускавшегося в аул с горы.

Кстати, тот блокпост потом убрали. Ну, как убрали... Гимринцы рассказывали: подъезжаем, глядим, никого нет. Обрадовались. Неужели конец блокаде? Ага, как бы не так. Через несколько дней около аула внезапно обнаружили бесхозное взрывное устройство. Просто валялось под кустом. Ждало, когда его найдёт кто-нибудь. Нашли полицейские. Обезвредили. А там и блокпост возобновил работу. Мало ли.

17. Прилёты

Днём Степанакерт обстреливали редко. В основном летело ночью. Реактивные ракеты «Смерч», «Град», «Ураган» — по одной, по две-три или целыми пакетами. Подлость в том, что их шипяще-свистящий рокот можно было услышать только находясь на улице. А когда ты дрыхнешь в гостинице, одетый, накрывшись «броником», ничего, кроме внезапной трескотни зениток, твоему слуху недоступно. Но если очнулся от этого треска, значит — жив, значит — упало в другое место и погиб не ты.

Зенитки стояли на окружающих город высотах. Они яростно лупили даже по отдельным ракетам. Звук их работы ни с чем не перепутаешь — такое впечатление, словно кто-то колет великанской колотушкой огромные грецкие орехи. Звонкий древесный хруст. Причём очень резкий. Бьющий по барабанным перепонкам. Своеобразный голос войны.

Когда зенитки принимались палить, мы мгновенно просыпались и неслись из номера в общий коридор. Постепенно бег наш сделался автоматическим. Никаких мыслей. Просто вскакивали, точно роботы, и босиком выметались из апартаментов. Такие эстафеты были характерны для первых командировочных ночей. Коллеги, не желавшие просыпаться по пять-шесть раз, выволакивали матрасы из номеров и, облачившись в «доспехи» с надписями PRESS, пытались уснуть возле стенок, оклеенных бежевыми обоями.

Поняв что к чему, мы с Вадей перестали реагировать. Сознание мельком отмечало сам факт обстрела, огонь ПРО и ПВО, а тело продолжало почивать. Возвращаясь поздно вечером, мы падали поверх одеял и отключались, бросив «латы» возле кроватей. А «спасательными» матрацами вообще ни разу не воспользовались.

Обедать ходили на продуктовый рынок на улице Сасунци Давида. Он состоял из ларьков и киосков. На самом деле там продавали вообще всё. Когда-то продавали. Теперь же царило запустение. Да, салоны красоты соседствовали с «шашлычками», а столовки — с ремонтом бытовой техники, образуя город в городе. Почти везде было закрыто, промеж торговых рядов валялись обрывки картонной упаковки. Периодически сюда залетало азербайджанское железо, потому павильоны местами стояли без стёкол, а их металлические стенки напоминали решето.

Жизнь теплилась лишь у входа на рынок. Там раздавали воду и еду гражданским, не сумевшим эвакуироваться. Мы заказывали шашлык с овощами, домашнее красное вино или тутовую самогонку. И пока старик, засучив рукава полинявшей серой рубашки и поправляя коричневый фартук, переворачивал шампуры с говядиной, на которую норовили сесть назойливые чёрные мухи, репортёры расстёгивали броники, озираясь на гладкое синее небо. Потом полная, но стремительная жена старика, охваченная цветастым платьем, подавала мясо с помидорами, луком и огурцами в тонких белых пластиковых тарелках, лаваш и выпивку в бутылочках 0,3 из-под импортной газировки — «Фанты» или «Кока-колы». Как правило, по одной бутылочке на человека не хватало и, вытирая руки о старое потрёпанное полотенце, журналисты просили у старика добавки, а он, не отвлекаясь от готовки, окликал супругу.

Через дорогу стоял четырёхэтажный торговый центр с голубыми зеркальными стёклами, обшитый белёсым давно не мытым пластиком. Там не было никого, кроме сторожа в камуфляже. Магазины мертвы, эскалаторы не работают. В центре — обширная шахматная доска с красными и чёрными фигурами в половину человеческого роста. Последний этаж занимала дешёвая гостиница.

— Может, нам сюда переехать? — предложил Вадик.

— Давай у охранника спросим. Вдруг отель тоже заброшен.

По словам сторожа, гостиница хоть и действовала, однако не принимала гражданских — там размещались местные военные.

— Значит, придётся остаться в дорожной «Европе», — подытожил я, прикидывая, на сколько дней у нас ещё осталось денег. Здешние банки не функционировали, и редакция не могла пополнить наши финансы. Для этого следовало прорываться в Горис. Но не факт, что тогда получилось бы вернуться в Карабах.

Исследуя окрестности, мы добрались до историко-краеведческого музея. Подобно прочим, здание оказалось на замке. На выступающих каменных подоконниках кто-то оставил глиняные распятия, оперев их о решётку. Сбоку, в траве, мы заметили покосившуюся древнюю пушчонку. Несмотря на октябрь, жара усиливалась. Хотелось пить.

— Сейчас бы холодненького шампанского бутылочку, — мечтательно произнёс я.

— Да вы, батенька, гурман. Особенно в такой обстановке, — усмехнулся Вадик. — Думаю, горожане вас не поймут.

— Это точно.

Тем же вечером мы угодили под обстрел. Причём не на выезде, а находясь в гостинице. Сидели в лобби-баре. Вадик перегонял фотки, а я закончил репортаж и только-только отправил текст на согласование. Наш квартал накрыло пакетом ракет. Удивительно, но ни одна из них не попала в «Европу». Я ожидал ответа от девочки-куратора, и в этот момент раздался мощнейший грохот. Где-то зазвенели стёкла. Журналисты рванули к лестницам в подвал и на второй этаж. Оставив ноутбук на столе, я нырнул за ближайшую колонну. Вадик выглядывал из-за перил, выющихся вниз, на цокольный. «Мы под огнём», — набрал я в мессенджере. «Гля», — ответила кураторка. И спустя пару-тройку секунд: «Текст согласован».

«И на том спасибо», — пронеслось у меня в мозгу. Тут гроыхнуло второй раз. «Европа» подпрыгнула. Я сполз на пол. Вадик уже не появлялся. Не успевшие убежать коллеги присели за соседними колоннами. Молоденькая армянка в синем костюме, работавшая на ресепшене, зажмурившись, дрожала под стойкой. Потом прилетела третья ракета. Красно-оранжевый блик накрыл гостиницу и тут же потух. В воздухе повисла сизая горькая дымка. Немного подождав, я вышел на улицу. Жирная южная тьма простиралась вокруг, и только вддали, над холмами, вздымались разноцветные дорожки зенитного огня.

Казалось, такие прилёты должны оставлять после себя огромные воронки. Но нет. На рассвете мы обнаружили перед гостиницей компактное округлое отверстие в асфальте. Сантиметров тридцать в диаметре. Вадик, придав лицу серьёзное сосредоточенное выражение, фотографировал пробоину. Я посмотрел внутрь, но не увидел ничего, кроме подземного мрака. Как здоровенная ракета, поздно вечером явившаяся в виде смертоносного грома небесного и чуть было не снёсшая «Европу», обратилась всего лишь дыркой в тротуаре?

Другая ракета упала за гостиницей. Там взрывная волна выбила окна булочной, магазина одежды и магазина с игрушками. Тротуар был густо усеян хрустящим крошевом. Хозяева торговых точек подметали осколки и вынимали из ставней и входных групп разбитые стёкла. В торговом зале, словно убитые, валялись манекены в халатах. Синие, красные, зелёные и жёлтые пластмассовые лошадки, выстроенные на полках, безучастно взирали на результат попадания.

Когда мы покидали «Детский мир», на улице стояла машина военной полиции. Около неё, облачённые в каски и «броники», курили Хуан, Тима и Даня.

— Говорят, в частном секторе ночью дом до основания разнесло. Съездим? — спросил Хуан.

— Разумеется, — кивнул я.

Набившись в служебную легковушку, мы покатали на западную окраину. Авто виляло туда-сюда, пока перед нами не нарисовался порушенный пригородный квартал. Сперва показались домишки, посечённые тут и там, но через пару

минут мы затормозили у края неглубокой воронки, заваленной каменными и деревянными обломками. Уцелел только боковой флигель. Всё остальное было перемешано и разбросано. У бетонной ограды сидела, прижав уши, грустная овчарка. По руинам бродили, выискивая сохранившиеся вещи, мужчины. Собравшиеся поодаль женщины ревели и голосили на все лады. Как выяснилось, в момент прилёта в постройке ночевала бабушка. Сотрудникам республиканского МЧС пришлось откапывать старушку. Её госпитализировали. К счастью, она выжила.

— Ещё повезло, — сказал водитель. — Но некоторым повезло меньше.

— Что вы имеете в виду? — уточнил я.

— То, что не только в этот дом попали.

— Куда-то ещё?

— Да. В гостиницу у продуктового рынка.

— В смысле? — опешил я.

— В прямом, — покосился на меня полицейский. — Несколько постояльцев серьёзно пострадали.

Речь шла о той самой гостинице, в которую мы с Вадиком хотели перебраться накануне.

И действительно. Ракета упала прямо на балкон, взорвалась, покорёжив крышу и нашпиговав ближайшие номера осколками. Нижние этажи не задело. Но самый верхний... Повсюду валялись выбитые ударной волной двери. Комнаты завалило толстым слоем обвалившейся штукатурки. Обои были истерзаны, словно в отель запустили орду обезумевших кошек. Оконные проёмы и потолки частично обвалились. Постельные принадлежности на кроватях пропитались кровью, кровавые следы тянулись в коридор по разбросанным одеялам и кускам бетона.

— Двоих или троих оттуда вынесли. Раненых. — Пояснил вчерашний охранник, закуривая на крыльце.

Мы с Вадиком переглянулись.

— Вот и дешёвый вариант, — изрёк он, как только мы отошли.

— Не говори. Пронесло.

Собственно, так и тянулись наши карабахские будни. Пока я договаривался о встречах или интервью, Вадик колесил в рамках пресс-туров по окрестным сёлам. Снимал разрушения, сгоревшие колонны, хмурых запylённых беженцев, заплаканных сирот. Потом возвращался, и мы уже вдвоём пёрлись через весь город, иногда прямо во время обстрелов, к герою нашей следующей публикации, сразу намечая возможные пути отхода и места, где можно было укрыться в случае прилётов. Особо подводили нас подвалы, потому что частенько за внешней приоткрытой дверью скрывалась внутренняя, запертая на висячий замок.

А однажды, возвращаясь после подобной «прогулки», мы встретили в лобби отеля странных персонажей — двух мужчин и трёх женщин в импортных касках и «брониках», обшитых белой материей. Это были представители международной гуманитарной организации. Они стояли посреди вестибюля, растерянно озираясь.

Никто не обращал на них внимания. Наконец, возглавлявшая их рыжая толстушка, выбрав из всех присутствующих почему-то меня, нарушила молчание:

— Добрый день. Подскажите, пожалуйста, а где в городе можно спокойно переночевать?

Вадик недоуменно уставился на неё. А я, помня, что на весь Степанакерт осталась лишь пара нормальных работающих гостиниц, ответил с некоторой ленцой:

— Ну, можете здесь поселиться.

— А тут безопасно? — не унималась толстушка.

— Вполне. И сама гостиница неплохая. Правда, периодически рядом ракеты падают. Но это ничего. В целом тут довольно мило, — уже не мог остановиться я, наблюдая, как с каждым моим словом физиономии толстушки и её товарищей всё более вытягиваются.

— Зачем ты их напугал? — укоризненно осведомился Вадик, когда гуманитарщики откланялись.

— Да ладно. Пусть дурацких вопросов не задают.

Впрочем, в итоге ребята выбрали «Европу». И в следующий раз мы увидели их на нашем этаже. Не снимая защитной экипировки, они тащили из своих номеров матрацы, дабы возвести в коридоре «крепость» для ночёвки, справедливо полагая, что комнаты с панорамными окнами — не лучшее место обитания в случае попадания ракеты в отель.

18. Голод

С продуктами ситуация в городе была так себе. Большинство населения уехало, магазины позакрывались. Держались лишь маленькие торговые точки в глубине кварталов да на рынок время от времени кое-что привозили. Оставшиеся горожане собирались во дворах и варили похлёбку вскладчину. Шатаясь по безмолвному Степанакерту, мы периодически натыкались на такие импровизированные «праздники живота». А потом люди перестали ходить даже на рынок — утром там шлёпнулась азербайджанская ракета и руинировала доселе уцелевшие павильоны.

Зато в «Европе» еды хватало. Уж не знаю, какими правдами и неправдами хозяин гостиницы умудрялся доставлять продукты, но, несмотря на осаду и активные боевые действия вокруг, там стабильно подавали завтраки, обеды и ужины. Цены, конечно, были конские, рассчитанные на иностранных репортёров. Видимо, всех остановившихся у него владелец отеля считал богачами. Если говорить о журналистах российских федеральных и западных СМИ, то, наверное, в некотором роде так и обстояло. Но не в нашем с Вадиком случае. Мы смогли дважды позавтракать в «европейской» столовке, а на большее денег у нас уже не имелось, ведь за проживание тоже следовало платить.

Жили мы впроголодь. Питались чем бог пошлёт. Коллеги подарили нам пару крупных гранатов. Герои публикаций угощали лавашом. Порой по приемлемой цене удавалось перехватить чего-нибудь на рынке — ещё до того,

как его разбомбили. Как правило, брали воду, хлеб, сыр, фрукты, орехи, изюм. Про упомянутые выше гранаты я потом даже стихотворение написал, и его опубликовали в журнале «Знамя».

Впрочем, в плане еды имелся ещё один вариант. За гостиницей «Арцах», стоявшей напротив комплекса правительственных зданий, приютилась скромная забегаловка, принадлежавшая семье беженцев из Ливана. Главу семейства так и называли — Ливанец. Говорили: «Надо бы зайти к Ливанцу», «Давай перекусим у Ливанца», «А пойдёмте к Ливанцу, он всегда принимает». «Ливанцем» был сухощавый седобородый старикан, державший осанку и глядевший на всех, словно испанский дон — гордо, но в меру приветливо. Стены в его заведении украшали ливанские и арцахские флаги. Своим гостям он подавал похлёбку. И если вы сопровождали известных репортёров, то могли получить бесплатную порцию: «звёздным» посетителям Ливанец особо радовался, распространяя в такие моменты свою щедрость и на других присутствующих.

Шастали к нему поздно вечером или около полуночи. Широко улыбаясь, он открывал двери, пожимал руки «королям репортажа», а затем приветствовал «массовку». Но в другие часы и без именитых военкоров на миску халявного супа рассчитывать не приходилось.

Мы выяснили это, заглянув к Ливанцу днём. У нас как раз завершилось интервью с архиепископом республики, и мы шлялись в окрестностях кафедрального собора Святой Богородицы, постепенно смещаясь к «Арцаху». Утомившись, зашли в кафешку Ливанца, поинтересовались, нет ли чего перекусить. Но, на удивление, нас встретил не доброжелательный вечерний дедушка, а скрестивший руки на груди непреклонный старец. Он по глазам понял, что мы хотим жрать. Хотим жрать бесплатно. И холодно, с акцентом, отчеканил:

— У меня ещё не готово.

«Ах ты, древняя паскуда», — подумал я, пошатываясь. Сил на пререкания не было.

Подобные рейды за жратвой мы с Вадиком предпринимали регулярно в свободное от работы время. Шаршились на жаре по кварталам в поисках лавчонок или продуктовых киосков, спрятавшихся в переулках. Порой наугад. Порой, получив координаты от коллег. В конце концов, не выдержав, отобедали в «Арцахе», изрядно потратившись и обзаведясь «карабахским чеком» — распиской кривым почерком на оторванном листке с указанием блюд и их стоимости. Стопку подобных «документов» нам предстояло сдать в бухгалтерию «Инсайдов», отчитываясь о командировке.

Как-то раз, уже поздно вечером, мы завалились в магазинчик за «Арцахом». И сразу встали как вкопанные. Магазинчик был полон армянских вояк, а на полках оставались только сок, шоколадки да несколько упаковок волокнистого солёного сыра. К нему-то, за неимением лучшего, мы и намеревались прицениться. Протиснувшись к прилавку, я принялся выискивать ценники, а потом плюнул и спросил продавца, беседовавшего с бойцами:

— Извините. А хлеба у вас нет?

Все замолчали. Продавец удивлённо воззрился на меня.

— Нет. Хлеба нет, — наконец произнёс он.

— А кроме вот этого сыра, сока и шоколадок, есть что-нибудь?

— Нет. Сейчас больше ничего нет, — изрёк продавец, не отводя пристального взгляда.

— Ну, хорошо, — сдался я и двинулся обратно, к Ваде, стоявшему у входа.

— Ребята, вы из России? — окликнул нас низенький солдат в истёртом камуфляже.

— Да. А что? — обернулся я.

— Вот, возьмите, пожалуйста, — он протянул пакет с шоколадом, сыром и лавашом. — Возьмите, пожалуйста, ребята.

— Спасибо большое, но это ваше. Вы же себе купили, — опешил я.

Армянин махнул рукой:

— Это вам спасибо, ребята. За то, что вы приехали в такой момент. За то, что не бросили. Для нас это очень важно.

Мы застыли. Я взял пакет.

— Благодарю.

И тут вояки загомонили. Принялись хлопать нас по плечу, жать руки. В этом хороводе грязной окопной формы, мерцающих «калашей», улыбок и объятий нас вынесло на ночную улицу.

— Нам бы в гостиницу, — напомнил Вадик.

— А где вы остановились?

— В «Европе».

— «Европа» — хорошо, но давайте сначала в гости к нам. Обязательно!

Нас затолкали в кабину припаркованного грузовика. Бойцы залезли в кузов, и машина понеслась куда-то во тьму.

— Больно быстро ты согласился, — процедил, прижатый к боковой двери Вадик.

— Да ладно. Всё нормально.

— В Горисе ты так легко не реагировал.

— Здесь другое.

— Ну-ну, — и с этими словами он открыл дверь и выпрыгнул на полном ходу. Не медля ни секунды, я последовал за ним.

Плюхнувшись на асфальт, я заржал.

— Ничего смешного, — пробурчал Вадик, поднимаясь и отряхиваясь.

Грузовик затормозил. Армянские стрелки откинули тент и недоуменно таращились на нас.

— Всё в порядке. Маленькое недоразумение, — крикнул я, сгибаясь от смеха.

— Да прекрати ржать, — возмутился Вадик.

— Всё, прекращаю. Ты тоже успокойся. Нас люди ждут.

Поплутав по ночным переулкам, грузовик остановился возле какого-то невысокого здания. Бойцы высыпали из кузова. Дверь в подвал была приоткрыта, и слабый свет освещал мужчин, сидевших у входа на табуретках. Они насторожённо посмотрели на нас, но военные сказали им что-то по-армянски, и те успокоились.

Шагнув через подвальный порог, мы с Вадиком очутились в другом мире. Под потолком извивался провод с включёнными электрическими лампочками. На скамьях у стен чинно сидели беседующие стрижи. Под ногами мельтешили играющие дети. Женщины занимались готовкой на электроплитах — жарили, варили, парили. По углам лежали сумки и мешки с вещами, кое-где возвышались стеллажи с посудой и соленьями. Горожане с любопытством оглядывались на нас, кивая. Со дня приезда в Степанакерт мы не видели разом столько народу, сколько за пару минут в этом подземелье. Жизнь там буквально кипела.

Проведя по катакомбам, нас посадили за стол в просторном, с низким потолком светлом помещении. Особенно запомнилась одна деталь: поодаль, справа, были складированы десятки картин. Их затанули простынями, но некоторые удалось разглядеть. Изображения Богородицы с младенцем и какие-то местные святые, горные карабахские пейзажи и городские виды, натюрморты с фруктами и овощами, винами и коньяками, портреты весёлых девушек и серьёзных юношей, задумчивых женщин и уставших мужчин, морщинистых стариков. Откуда здесь всё это? Из художественного музея или из частной коллекции? А может, просто насобирали из школ и домов культуры? Я попытался выяснить, но никто так и не ответил.

Зато стол перед нами ломился. Для начала принесли салат из помидоров и огурцов с укропом и петрушкой. Сопровождала его тарелка с мягкими, пышными лавашами. Затем надвинулся шашлык из баранины с тушёным луком, кабачками и баклажанами. Далее возникла очень вкусная каша. Уже не помню, из чего. Вроде бы ячневая. За кашей — какая-то закуска типа хреновухи, но только с красным и зелёным перцем. Разрезанные спелые гранаты.

Но это ещё не всё. Напитки не отставали. Естественно, алкогольные. Прежде всего нарисовалась домашняя тутовка, отливавшая жёлтым или зелёным. Она валила после второй рюмки. Градусов было в ней не менее шестидесяти. За тутовкой — красное сухое. Тоже домашнее. Тоже в пластиковых бутылках. Замыкал процессию здешний коньяк. Как назывался? Хороший вопрос. Но у меня до коньяка руки не дошли. Не люблю смешивать, поэтому ограничился водкой. На что налегал Вадик, сказать сейчас, по истечении нескольких лет, не могу. Но на что-то, наверное, налегал.

Говорили о разном. Конечно, о политике, о войне. Выяснилось, что чуть ли не половина присутствующих военных — не арцахские, а добровольцы из Армении: из Еревана, Эчмиадзина, Вардениса, Гориса. Они воспринимали нас как посланцев России, как представителей северной империи, её разведдозор, обещание скорой помощи. Разве могли мы заявить им обратное? Разве имели право покуситься на их надежды? Разве могли сказать, что не Россия отправила нас, а мы сами фактически заставили собственное руководство оформить нам командировку? Что мы не часть исторической силы, а всего лишь два авантюриста, утолявших свои амбиции за счёт работодателя?

Закончили мы глубоко за полночь. Дети спали, взрослые укладывались. Военные собирались на дежурство. Загрузившись в тот же грузовик, вновь покатали куда-то во тьму, но через пять минут подъехали к «Европе». Со всеми обнявшись, мы высадились и побрели к дверям гостиницы.

19. Кинжалы и гранатомёты

Уже говорил, что интерес к отечественной военной истории со временем трансформировался у меня в интерес к происходившему на Северном Кавказе. Последняя моя поездка на Кавказскую войну в Дагестан в качестве репортёра-фрилансера была в 2019-м. К тому моменту мой домашний архив был переполнен материалами. Жена неустанно твердила, что надо садиться за написание фолианта в жанре нон-фикшн. Мол, кто-то ведь должен обобщить историю кампании, введя в оборот новую информацию. К ней присоединились некоторые коллеги, занимавшиеся темой. Но кое-кто, наоборот, не поддержал, дескать, имелись куда более опытные авторы. Я соглашался, но сожалел, что эти «более опытные люди» не только ничего не пишут, но и не планируют начинать. А посему кто-то должен, в конце концов, начать. Почему бы не я? Правда, на мой взгляд, у историка Евгения Норина в итоге получилось лучше. Но речь сейчас не о нём.

За книжку я засел году в 2019-м. Написал примерно за год. Шла она довольно легко и получилась небольшой. Этакий краткий обзор истории отношений России и народов Северного Кавказа в XVIII—XXI веках. В качестве приложений добавил свои дагестанские репортажи. Назвал работу «Кинжалы и гранатомёты». Типа протянул нить от шейха Мансура до полевых командиров «Вилаята Кавказ»¹. Полторы сотни страниц. Наверное, следовало выдать два-три тома. Но внутренней потребности в таком титаническом труде, если честно, не имелось. Объём и стиль получившейся книжки абсолютно гармонизировали с моим тогдашним самоощущением. Подобной методы хватит ещё на пару брошюр.

Но надо теперь найти издателя. Сколько я их перебрал? Трудно сказать. Как минимум полсотни. От Сибири до Кавказа. Стандартная реакция на рукопись — никакой реакции. Вам просто не отвечают. Вы запускаете свой текст на чью-то электронную почту, словно бросаете бутылку с посланием в реку. Словно пуляете в космос искусственным спутником, набитым журналами, календарями, грамотами, видяшками. Но вас даже не динамят. Молчат, и всё. Если повезёт, напишут в ответ: «Ваша рукопись нам не подходит». Если очень повезёт, объяснят — почему. Один раз мне честно признались, что боятся публиковать. Там ведь, помимо прочего, про Чечню, про Кадыровых. Вдруг извиняться придётся?

На всю страну нашлось одно смелое издательство. Московское. Миниатюрное. Живущее на гранты. Уж я с ним намучился. Там довольно быстро согласились работать. А дальше процесс замер. Усугубляли ситуацию ковид и масштабный карантин. Планировали выпустить в 2020-м, но свет она увидела лишь весной 2021-го. При этом издатель регулярно слёзно жаловался на обстоятельства, на страх смерти. «Мы все погибнем!» — звучало рефреном в каждом его послании. Мне хотелось разорвать с ним отношения. Останавливало лишь то, что никто больше не хотел браться за продвижение моего сочинения.

¹ Террористическая организация, запрещена в РФ.

Тираж книжки — 500 штук. Позже знающие люди объяснили — заявленное число вообще ничего не значит. Издатель может указать 500, а в реальности экземпляров будет 50 или 5 тысяч. Кроме того, следует учитывать допечатки, о которых автору, как правило, не сообщают. А я подозреваю — допечатки были. Ведь книгу стабильно сметали с полок интернет-магазинов.

К сожалению, прессу она не собрала, пройдя незамеченной. Единственный отзыв опубликовали в крупном интернет-медиа о культуре: «Короткая книга начинается с обнажения триггера: летние каникулы, ночь, пятнадцатилетний автор видит из окна поезда, как текут на юг смазанные брезентом силуэты военной техники. Это фантосматическое столкновение с невидимой войной запускает “тщательное изучение темы”, на которое, как пишет военный корреспондент Колчин, уходит ещё пятнадцать лет... Насилие предстаёт высшим законом данной местности (Северного Кавказа. — *Авт.*), непостижимой волей жестоких божеств, и, кажется, автор это ощущение вполне разделяет».

Книжка до сих пор есть в продаже, а вот издательство уже не функционирует. Судя по сайту, последние проекты его были в 2022-м. Я с ними больше не контактировал.

20. Карабахская ночь

На последнем, четвёртом, этаже гостиницы «Европа» располагался зал для конференций и второй бар. Из-за войны они были не востребованы — массовых мероприятий никто не проводил, а журналистам хватало бара внизу. Но проход оставался открытым, и мы периодически поднимались туда.

Мне нравилось блуждать в сумраке по оставленным помещениям между столов и кресел, задёрнутых простынями, как бы парившими в терпкой синеве. Плотные зашторенные окна почти не пропускали света, и создавалось впечатление, словно совершаешь ночной полёт, проплывая мимо облаков. В коридоре мерцало исполненное под металл покрытие барной стойки, а дальше, если взять чуть правее, маленькая лестница уводила на крышу.

Раньше на крыше работала кафешка для посетителей. Теперь же о минувшем напоминали только красные пыльные стулья. Степанакерт просматривался оттуда во все стороны. Обычно мы заявлялись вечером. Зелень садов постепенно темнела, поедая коттеджи, магазины и редкие пятиэтажки. Сразу за городом начинались горы, точно холмы чёрного винограда, и чем дальше, к линии фронта или реке Аракс, за которой простиралась Персия, тем лиловее они становились, у края неба обращаясь в бестелесный розовый, а затем — в бесконечное пространство цвета голубинового пера. Космическая ночь, выступавшая холодными густыми каплями на листьях и ветках садовых деревьев, стремительно разрасталась, забирая республику, а может, и весь Южный Кавказ. И однажды в такую минуту я сделал снимок. Фото окружающих город хребтов. Ничего, кроме смутной застывшей волны, на нём не было видно. Лишь какое-то лёгкое, невесомое, едва уловимое свечение дрожало над ней.

И тут сама собой на ум пришла строка Пушкина: «На холмах Грузии лежит ночная мгла...» Грузия засыпала западнее, но мгновение соответствовало.

Однажды мы ночью после дневного путешествия по местам прилётов поднялись на крышу. Веяло прохладой. Я возвёл глаза к чернильному небу и обомлел. Сплошь усыпанное мелким сахаром, оно поражало воображение. Никогда раньше я не наблюдал такого неба ни на Урале, ни в Сибири, ни в Крыму, ни в Дагестане, ни уж тем более в Москве или Питере. Звёздные кристаллы сияли одновременно близко и очень далеко. Словно кольца кольчуг на стендах в музее. Словно фиониты в деревянной шкатулке или отблески позднего салюта в стёклах очков.

Лишь доносившийся из соседнего высотного дома шум нарушал идиллию. Там, в квартире на последнем этаже, по ночам ярко горело электричество. Время от времени на балкон врывался, хлопая дверью, полуголый мужчина. Он хватал с пола здоровенную металлическую трубу и с криком швырял её вниз. Труба грохотала на улице. Через несколько минут он выбегал из подъезда и тащил трубу обратно, к себе наверх. Потом представление повторялось.

— Это что за хрень? — спросил я коллег, приехавших в Степанакерт раньше.

— Говорят, сын известного в республике поэта.

— И зачем он такое вытворяет?

— Да кто знает. Крыша поехала, наверное.

Видимо, так человек прощался с привычным ему миром, не желая принимать наступление нового. Мы тогда не подозревали — нам самим предстоит подобное спустя всего полтора года.

Бывало, сидя на крыше на запылённых стульях, удавалось застать ночные обстрелы. Ракеты невидимками скользили над городом, но некоторые фотографы иногда замечали их.

— Вон летит!

— Где?!

— Да вон же!

— Где?!

— Да пролетела уже.

В следующую секунду подключалась ПРО, и болванка падала, разваливаясь, где-то над сопками и оврагами. Или чьим-то двором.

Как-то вечером мы стали свидетелями атаки азербайджанского беспилотника. На крыше собралось человек десять репортёров. Кто-то наслаждался видом, потягивая купленное в баре за бешеные деньги армянское пиво. Кто-то обсуждал планы на завтра. Кто-то размышлял о своём. Внезапно в воздухе повисло тонкое жужжание. С каждой секундой оно приближалось. Звук тянулся с востока.

— Беспилотник! — раздался возглас.

Но вместо того, чтобы ринуться вниз, на этажи, под защиту стен, все столпились у ограждения, пытаясь заснять несущийся прямо на нас дрон. Жужжание нарастало.

— Вот он, сука! Вижу его! — гаркнул кто-то.

На мгновение стрёкот фотоаппаратов перекрыл звучание коптера. По-хорошему, нужно было срочно прятаться, ведь мы представляли собой идеальную цель для БПЛА. Но нет. В конце концов, нас выручили армянские зенитчики. Они засекли беспилотник и вальнули его. Жужжание резко оборвалось, а над ближайшим к городу окраинным восточным холмом взметнулся, окаймлённый грохотом, исполинский куст взрыва.

Иногда удавалось поймать минуты спокойствия. Когда-то, дабы немного расслабиться, Вадик купил в баре бутылку красного сухого из арцахской винодельни. Она долго стояла в номере. В конце концов нам надоело смотреть на неё и, ближе к полуночи, прихватив бутылку, мы ушли на крышу.

Расположившись на холодных стульях, открыли винишко. Оно отдавало кислинкой, но в целом оказалось вполне приемлемым. Молча опрокинули пару стаканчиков.

— Зачем тебе всё это нужно? — без прелюдии спросил Вадик. — У тебя ведь жена, ребёнок...

— А тебе?

— А мне интересно. Хочется чего-то нестандартного, непривычного. Надоела наша уральская повестка.

— Аналогично.

— Потом отдельный репортаж сделаешь?

— Угу. «Инсайды», конечно, получают своё. Но у меня имеются личные планы на этот материал.

— Понятно. Не опасаясь, что у редакции вопросы возникнут?

— Может, и возникнут. Во всяком случае, их не касается, чем я занимаюсь в свободное время.

— Скажут, мол, Колчин использовал агентство в своих интересах.

— Разумеется, использовал. А оно меня использует. И тебя, кстати, тоже. Вадик усмехнулся. Выпили ещё.

— Хорошо здесь, — потянулся он.

— Да. Если бы не война... В Армении вообще кайфово. И в Грузии.

— И в Дагестане?

— В Дагестане особенно.

21. Скорая помощь

На станцию скорой помощи собирались не спеша. Перекусили фруктами, запили водичкой. Устало вздыхая, взгромоздили на плечи бронежилеты. Я натянул сверху пропахшую потом и чужим куревом тёмно-зелёную куртку. Каску прихватил под мышку. Вадик свою сперва надел, но потом последовал моему примеру. На дорожку глянули в зеркало — две небритые осунувшиеся рожи, очки в пятнах, сальные волосы. Красавцы.

Про скорую помощь нам подсказал Валерий. Его мать навещала врач из республиканской больницы («доктор Зоя»), прикомандированная к станции. Измеряла давление, назначала лекарства. И вот мы топали на станцию, чтобы пообщаться с этой женщиной. Привычно прислушиваясь, не жужжит ли чего,

приглядываясь, не летит ли чего, скорым шагом пересекая открытые пространства, на бегу примечая и запоминая — двери в какой подвал приоткрыты, а в какой заперты наглухо.

Доктор Зоя — невысокая, плотненькая возрастная блондинка, стриженная под каре, с большими чёрными внимательными глазами, в чёрном спортивном костюме, — не здешняя. Родилась в Амурской области, в Благовещенске. Папа — армянин. Мама — гречанка. Наверное, оттого глаза у неё словно маслины, выразительные и печальные. На Дальнем Востоке выучилась на медика. В 1993-м перебралась в Армению, а в 1998-м — в Арцах.

Она встретила нас у входа.

— Здравствуйте, мальчики. Давайте за мной.

Мы послушно посеменили по коридору с голубыми стенами, потом свернули в каморку, где на табурете закипала вода в электрическом чайнике.

— Чёрный или зелёный? — спросила Зоя.

— Чёрный, — кивнул Вадик.

— Ну и мне тоже, — уточнил я, скидывая куртёшку и расстёгивая «броник».

— Да вы железо своё снимайте, — сказала Зоя, наливая кипяток в чашки и бросая туда чайные пакетики.

— Спасибо.

Усевшись поудобнее, я принялся дуть на горячее, а Вадик, плавно перемещаясь по комнате, изредка вскидывал фотоаппарат.

— Первый день каким был? — пригубив чайку, уточнил я.

— Воскресенье. Как раз собиралась на дежурство, и в районе 7:00 пошли бомбёжки и обстрелы, — вздохнула Зоя, опускаясь напротив. — Мы сразу отправились по городу собирать пострадавших. Потом приходилось и в районы выезжать, перевозили тяжёлых в республиканский медцентр. Бывает, едем, и дроны появляются. Мы на час-полтора спрячемся, а затем дальше.

— Волновались, наверное?

— Первые три-четыре дня эмоции ещё присутствовали, а потом — видишь истерзанные тела и уже просто чётко работаешь. Вот сирена звучит, а мы смеёмся, и всё. Само собой, трудно. Кроме того, у нас тут подвала нет. Пережидаем в коридорчике. Каждый, как атлант, по стене держит. Решили, как только война завершится, всем коллективом на десять дней в отпуск уйдём.

— Основная работа какая?

— Навещаем гражданских. Они в подвалах теперь — женщины, старики. Проверяем их здоровье, определяем лечение. Больница наша переполнена ранеными. Поэтому заболевшим помогаем амбулаторно. Если кому-то совсем плохо, направляем в Бердзор или в Ереван.

— Обратил внимание, что у вас тут, на станции, немногочисленно.

— Да. Из шестидесяти сотрудников — одна треть. У кого семьи и маленькие дети, эвакуировали в Армению. Кто остался, фактически живут на работе. Тяжело, но мы сами вызвались.

— Не жалеете?

— А кто тут за меня будет? Тем более я лейтенант медицинской службы. Ну, допустим, уеду. Ладно. А потом ещё один, и ещё. И что станет с этими

ранеными мальчиками, с бабушками, которых из-под развалин достают? Их же должен кто-то довести, перевязать, капельницу поставить.

— Не бойтесь на их месте оказаться?

— Ой, — Зоя махнула рукой. — Один раз родился, один раз умрёшь. Не знаешь, когда это случится.

— Скажите, а можно с вами на выездах подежурить? — осведомился, опуская фотоаппарат, Вадик.

— Это, наверное, нужно у главного врача спросить, — предположила она.

Главврач, крупная темноволосая женщина, отнеслась к идее с пониманием, но посоветовала на всякий случай зайти в республиканский минздрав.

Здание минздрава стояло на задах правительственного квартала. Охранник с автоматом, кому-то позвонив, пропустил нас. Мы долго блуждали по тёмным длинным коридорам, устланным коврами. В кабинетах — ни души.

— Какой-то лабиринт, — проворчал Вадик.

Наконец, показалась дверь, за которой брезжил электрический свет. Толкнув её, мы прошли в пустую приёмную. За ней по открытому кабинету прохаживался лысый мужчина в чёрных брюках и белой рубашке. Мы поздоровались, представились и объяснились.

— А чего вы от меня хотите? — не понял он.

— Главному врачу скорой помощи разрешение министерства нужно.

— Да без проблем. Хоть сейчас, — мужчина поднял трубку белого стационарного телефона и прямо при нас набрал станцию.

— Спасибо большое, — кивнул я.

— Да пожалуйста. А вы действительно намерены вместе с ними дежурить?

— Разумеется.

— Надо же. Ну хорошо, — недоуменно протянул неизвестный.

— Это министр, что ли, был? — озадаченно спросил Вадим, когда мы вышли в коридор.

— А чёрт его знает.

Тем же вечером мы припёрлись на станцию. Каски и «броники» сложили на столе в углу, дабы не таскать на себе. Тут нас подловил худощавый лысеющий носатый медик в белом халате.

— Ребята, а вы точно из Екатеринбурга?

— Точно, — улыбнулся я.

— А из какого района?

— ЖБИ.

— И что там у вас на ЖБИ?

— Кировский оптовый рынок и озеро Шарташ.

— Правильно! Наши люди!

Как выяснилось, медик в прошлом жил в Екатеринбурге.

Первый выезд состоялся около полуночи. Шофёр, женщина-врач с длинными волосами, заплетёнными в чёрную косу, и мы с Вадиком заскочили в «карету», и она, подпрыгивая на ухабах, понеслась куда-то в темноту. Пытаясь удержаться, я ухватился за край узкого сиденья, но меня безжалостно мотало из стороны в сторону. Рядом вихлялся Вадик. Водитель и врача тряслись в кабине.

Миновав пятиэтажную застройку, машина затормозила в частном секторе возле коттеджа, очертания которого терялись в гудроновых сгустках. Подвальная дверь была открыта. Жёлтый свет струился в проём. Врач спустилась туда и исчезла. Мы с Вадиком выпрыгнули размяться. Врач вернулась. Её сопровождал сутулый дядька, державший руку на перевязи. Я подумал, что его ранило. Но нет. Он просто обварился кипятком. Бывает.

В ожидании следующего выезда тусовались на станции в коридоре. Зоя включила нам на своём телефоне видео, записанные во время рейсов на передовую. Вот идёт погрузка раненых: изорванный камуфляж, окровавленные бинты на оголённых руках и ногах. Вот раненых везут в Степанакерт. Вот кто-то из них начинает хриплым голосом петь какую-то армянскую песню, а остальные нестройно подхватывают.

Второй вызов — примерно через час. Опять тряска во мраке. На сей раз прибыли быстро. Машина заехала в ночной двор. Пустота. Врач заторопилась к подвалу. Мы за ней. Она толкнула ржавое визгливое металлическое полотно. Пригнувшись, полезли следом. Редкий свет плясал по шершавым бетонным стенам. Везде почему-то валялись вёдра и лопаты, судя по слою пыли, брошенные давно. Мы медленно, дабы не споткнуться, пробрались из одного квадратного помещения в другое. Наконец врач остановилась. Её обступили пожилые женщины, закутанные в шали. Они указали в угол, где на кушетке лежала хрупкой лучинкой древняя старуха. Старухе плохо. Врач села рядом, достала из сумки тонометр. Женщины заслоняли нам обзор. Аппарат пропищал. Врач, наклонившись, что-то сказала старухе. Затем вынула из кармана пузырёк с таблетками и вложила в сухую морщинистую ладонь. Старуха заплакала. Врач погладила её по седым волосам и поднялась. Мы осторожно потянулись обратно.

Часы до следующего выезда коротали в подсобке для медперсонала. Белая дверь, пара топчанов и кресел, заложенное мешками с песком окно, приглушённое пламя фонарика в углу. Мы с Вадиком расположились в креслах. Зоя прилегла. Её тихий размеренный голос плыл по тёмной комнате, мотыльками вился вокруг миниатюрного фонарного огня. Она говорила о детстве, о родителях, о Дальнем Востоке, о дочери, живущей в Армении. О том, кто из её подопечных пенсионеров уже погиб, кто ещё прячется по подвалам в ожидании эвакуации.

Внезапно в дверь постучали. Третий выезд. На сей раз ехали долго. Куда-то за город. Пропали силуэты построек, и машина заурчала, забираясь в гору. Потом её мотало по ухабам, и нас тоже мотало. Замерла «карета» у частного дома. Зоя ушла внутрь, а мы с Вадиком остались снаружи, любуясь арцахским предрассветным небом и редкими огоньками внизу.

— Ну что... Коронавирус, — буднично бросила Зоя, выйдя к нам. — А чего вы так напряглись? Он тут везде. И у нас на станции тоже.

— Офигеть, — буркнул Вадик.

— А как вы хотели? Я же говорила, больницы ранеными забиты. Ковидных везти некуда. Население поражено почти поголовно. Да не переживайте. Это ещё не самое страшное...

Утром мы вернулись в гостиницу.

22. Отъезд

Ближе к ноябрю пришла пора завершать нашу экспедицию. Замещать меня бесконечно в службе информации другие люди не могли. Командировочные истощились. Способов пополнить их не было. Девочка-куратор одобрила возвращение. Мы с Вадиком уложили немногочисленные вещички в рюкзаки, обнялись на прощание со знакомыми коллегами и поплелись в республиканский пресс-центр, размещавшийся в школе позади отеля «Арцах».

Пресс-центр находился на цокольном уровне двухэтажного, облицованного коричневой плиткой здания. В каморке, огороженной стенками из прозрачного пластика, дежурили утомлённые сотрудники, державшиеся за счёт кофе. Рядом, в зале для конференций, устланном спальными мешками и удлинителями, обитали журналисты, не успевшие найти свободных мест в «Европе» и «Арцахе». Тут мы с Вадиком разделились. Он отправился выяснить, кто, когда и на чём собирается в обозримой перспективе выехать в Ереван, а я двинулся вглубь зала в поисках свободной розетки для подзарядки мобильного.

Не найдя таковой, я поднялся на первый. Вадик не показывался. В вестибюле висела почётная доска с перечнем работников, учеников и выпускников школы, погибших на войне 1988—1994-го. Десятки имён и фамилий на армянском. И годы жизни. Годы жизни зрелых и молодых мужчин и совсем мальчиков. Оторвавшись от списка, я пошёл по коридорам, пока не очутился в раздевалке с распахнутыми бесхозными шкафчиками для одежды. За раздевалкой открылся спортивный зал. Свет сюда падал из огромных панорамных окон, составлявших верхнюю половину помещения. У стен стояли старые облупленные салатные скамейки. Между ними белела одинокая розетка. Притащив из соседнего кабинета такую же облупленную салатную парту, я вытащил из рюкзака ноутбук, подключил его и, расположившись на неудобной скамейке, принялся набивать текст последнего моего карабахского репортажа.

Я долбил по клавишам, и эхо разносилось по залу. И тут начался обстрел. Глухие звуки разрывов постепенно приближались, приобретая резкую ядрёную чёткость. Школу покрыла мелкая дрожь. Я бросил взгляд на дребезжащие стёкла и продолжил работать. Текст следовало закончить и сдать в редакцию до отъезда. Грохот нарастал. Стёкла дребезжали всё сильнее, и казалось, что вот-вот разлетятся ломким режущим веером. Внезапно гром прекратился. Я поднял голову от ноутбука. Повисла ватная оглушающая тишина. Обстрел не возобновлялся.

Пока я возился с текстом, Вадик нашёл машину — шестиместный джип. Машина принадлежала какой-то армянской телекомпании. Две девушки-корреспондентки и двое парней — водитель и оператор — собирались в Ереван. Парни были небритые, в кепках и спортивных костюмах. А девчонки — маленькие, тонкие, словно стрекозы, — обтянуты синей джинсой. Они быстро-быстро переговаривались между собой, не обращая на нас ни малейшего внимания. Дождавшись, когда наши попутчики перекурят, мы, покряхтивая, залезли на отведённые нам места. Девочки устроились перед нами, а оператор возле шофёра.

Водитель сразу припустил. Азербайджанские войска подступали к Степанакерту с юга, и никому из нас не хотелось встретиться с ними. В Шуше сделали остановку.

— Девушки, извините, пожалуйста, — обратился к ним Вадик, — есть небольшая просьба.

Они вопросительно обернулись.

— Можно, кто-нибудь из вас поменяется с оператором и переседет к водителю?

— А в чём дело? — перешла на русский одна из них.

— Просто вы такие хрупкие... Случись что, не дай бог, салон придётся покидать мгновенно. И мужчине будет проще отодвинуть сиденья второго ряда. А на третьем мы сидим. И если сидящий перед нами замешкается или не сможет второпях сиденье отодвинуть, то... — тут Вадик печально замолчал, пытаясь найти нужную формулировку.

— А, всё понятно. Да-да, конечно, — закивали они.

— Спасибо большое, — было видно, что у Вадика прямо камень с души свалился.

Гнали мы по той же трассе, по которой заезжали. Блокпосты, грузовики с военными, повреждённые взрывами мосты, пустеющие посёлки — всё это оставалось в прошлом. В каком-то селе промелькнул бегущий за свиньёй солдат. Я так и запомнил его — в свете вечернего солнца. На границе нас тормознули. Полицейский попросил документы.

— Аккредитация-то у вас просроченная, — сказал он, перебирая бумаги.

— Просроченная. Это точно, — согласился я.

— Ладно. Бывайте, — вздохнул он и вернул наши «корочки».

В Горисе припарковались у центральной площади. Армянские коллеги устремились в магазин, а мы с Вадиком взвалили на себя каски и бронежилеты и почесали в мэрию. Замглавы, разрешивший выдать нам снаряжение, узнал нас и, принимая имущество, осведомился:

— Ну, как там?

— Держатся, — произнёс я.

Замглавы пожал нам руки, и мы стали спускаться на улицу.

23. Возвращение

Путь от Гориса до Еревана преодолевали во мгле горного вечера. Остановились только однажды — на перекус в большой сельской кафешке, похожей на McDonald's. Она ярко сияла электричеством. Тамошний плов показался особенно вкусным, а чай — особенно ароматным. Армянские журналистки, ехавшие с нами, быстренько чего-то поклевали и выскочили на холодную улицу курить и гладить сидевших у входа щенков. Вова фотографировал девушек, а я, сунув руки в карманы куртки, расслабленно пялился на их изящные силуэты.

В дороге появился интернет, и телефон разродился каскадом сообщений. Куратор-мальчик потерял нас. Когда он узнал, что мы на всех парах мчимся в Ереван, очень удивился:

— А кто вам согласовал это решение?

— Твоя напарница.

— Серьёзно?

— Ага.

— Но Югин не давал добро на ваш отъезд!

— Ну, вы уж разберитесь там между собой как-нибудь.

— Ты хочешь, чтобы я передал твои слова Югину?

— Я хочу нормальной координации. Мы возвращаемся, так как решение согласовано. Почему вы с Югиным не в курсе, мне неизвестно.

— А ты понимаешь, что ваш самовольный отъезд — катастрофа? Вы провалили командировку, по сути дела.

— Как интересно. Ещё несколько дней, и мы даже оплатить номер в отеле Степанакерта не смогли бы. У редакции имеется план по снабжению нас дополнительными ресурсами?

— Нет никакого плана.

— В том-то и беда.

В Ереване были около полуночи. Тачка телевизионщиков припарковалась в самом центре, на улице Вазгена Саргсяна. Мы выгрузили рюкзаки, поблагодарили и попрощались. На площади Республики огляделись, погуглили ближайшие гостиницы. Интернет выдал, что ближе всех — пятизвёздочная Yerevan Place.

— Дороговато, наверное, — заметил я.

— Да наплевать. Хоть отдохнём нормально, — сказал Вадик.

Дежурившая на ресепшене молодая холёная сотрудница посмотрела на нас как на бомжей — пыльные, потные, с красными от недосыпа глазами и пересохшими губами, сальными скатавшимися волосами под капюшонами давно не стиранных толстовок.

— Добрый вечер. Есть у вас номера свободные? — поинтересовался Вадик.

Дежурная молчала, не зная, как ответить, а мы устало взирали на неё. Тут подоспел пожилой мужчина в чёрном костюме. Видимо, старший смены.

— Ребята, вы русские? Из Арцаха?

Мы кивнули. Он обернулся к девушке и взволнованно выдохнул:

— Лучший номер для наших друзей из России!

Утром, позавтракав, я засел за отчёт о нашем с Вадиком «Путешествии в Степанакерт». Расписал весь ход командировки, подробно разобрал и объяснил причины отъезда, изложил, что нужно предпринять редакции для продолжения работы в регионе. Вывод получился такой: сейчас надо возвращаться домой, закупить каски, бронежилеты, необходимую одежду, запастись финансами и только тогда снова лететь в Армению. Ответили мне на удивление быстро и кратко: «Ок». Но это «ок» касалось лишь позволения завершить экспедицию.

Вскоре у нас возникли странные симптомы — слабость, ломота в теле, сухой кашель. Мы просто валялись на кроватях, не двигаясь.

— Думаешь, ковид? — простонал я.

— Стопудово, — пролепетал Вадик.

Перед вылетом, еле собравшись, встретили в ереванском аэропорту Хуана и Тимофея. Заказали пиццу. У них при себе имелся подаренный кем-то коньяк. С удовольствием пригубили. Ребята планировали отдохнуть в Москве, а затем опять на фронт. Никто не подозревал, что до конца войны оставалось недели полторы. Тима приедет в Армению ещё раз в 2021-м делать репортажи про антиправительственные протесты. А Хуан не приедет. Как уже говорил, его ждали польская неволя и освобождение по обмену в 2024-м.

Наш рейс приземлился в Екатеринбурге снежным вечером. Вызвали такси. Я поехал к себе на район, а Вадик вылез около «Инсайдов», — забросить в редакцию фототехнику.

24. Отсрочка увольнения

В редакцию я вернулся во второй половине ноября, переболев ковидом. Ребята из службы информации обрадовались, встретили тепло. Из начальства никто никаких вопросов не задавал. Велели только ещё раз написать отчёт. И всё. Ни официально, ни кулуарно на ковёр к Югину или Красивому не вызывали. Оба вели себя так, словно никакой командировки в Карабах не было в помине. Вадика тоже не трогали. Ни ругани, ни похвал. Полный игнор.

Лишь в декабре поздно вечером по дороге домой, в такси, наша замечательная, затянутая в приталенное бордовое пальто девочка-куратор, откинув русые локоны, поведала мне дивную историю:

- Тебя хотят уволить сразу после новогодних праздников.
- В связи с чем?
- Карабах.
- Они решили найти крайнего?
- Да.
- Но ведь это комплексная история.
- Но им нужен крайний.
- Понятно.
- Прости, пожалуйста. Я билась за тебя до последнего. Но они неумолимы.
- Спасибо. Попробую что-нибудь придумать в плане новой работы.

Но придумывать не пришлось. В январе 2021-го восемь журналистов почти одновременно покинули агентство. Первым вылетел глава свердловского филиала, за ним — кто-то из его подчинённых. Следом скрылись несколько корреспондентов из службы инфо, все — по собственному желанию, нервы не выдержали. Работать стало практически некому. И меня пощадили.

Девочка-куратор сообщила мне о «прощении» в полночь в очередном такси, опять по пути из офиса.

- Могу тебя поздравить. Они передумали.
- Серьёзно?
- Ага.
- И почему?

- Ну как? Разве не видишь? Все дезертируют. А кто новости делать будет?
- Хорошо. Но ты же понимаешь, — это временный вариант. Рано или поздно...
- Разумеется.
- И такая участь ждёт каждого.
- Без исключения.

25. Пантера

Это был гостиничный номер. Вполне приличный. Мягкое коричневое ковровое покрытие, салатовые обои, белый подвесной потолок. Строгая мебель, как будто из «Икеи». Приглушённый свет. Одно удовольствие. Надо бы ещё в ванную заглянуть — проверить, всё ли хорошо, идеальная ли чистота, блестит ли сантехника.

Вдруг в коридоре раздался странный звук — словно кто-то легонько царапает снаружи дверь. Потом снова и снова. И опять. И с каждым разом активнее и активнее. Я прислушался, не способный оторваться. Между тем звук нарастал. Дверь задрожала, затем затряслась, затем заколыхалась. И вот из коридора донёсся яростный утробный звериный рык. Продолжительный, угрожающий.

Я встал посреди комнаты. Рык накатывал волной. В дверь уже не скреблись, а ломились. Она затрещала, содрогаясь от ударов. Внутренняя обшивка закрипела и, звонко лопнув, полетела в номер. Замок отчаянно дребезжал, норовя сорваться. В животе всё сжалось. Сердце куда-то провалилось. Волоски на коже вздыбились. Я сжал кулаки, и они взмокли от пота.

В следующую секунду дверное полотно надсадно всхлипнуло и разошлось пополам, еле удерживаясь на каркасе. Я вперился в образовавшийся проём, в трещину, за которой мигала нервная коридорная лампочка. И увидел огромную чёрную пантеру. Она посмотрела на меня жестокими янтарными глазами. И прыгнула вперёд.

И тут я проснулся.

P. S.

По итогам осенней войны 2020-го Азербайджан вернул себе три четверти Нагорного Карабаха. Под контролем армян остался лишь Степанакерт с окрестностями. Непосредственно с Арменией его связывала дорога через Шушу, охраняемая российскими миротворцами. 19 сентября 2023-го азербайджанские войска стремительно перешли в наступление и в течение суток ликвидировали республику Арцах. Армяне бежали из региона поголовно. Так же, как за 29 лет до них — азербайджанцы.

Екатеринбург

Декабрь 2023 — ноябрь 2024

Константин Былинин

ОКОПНЫЕ СТИХИ

* * *

Что жизнь моя для Родины и сына —
для сыновей, чтоб жили без войны,
где мирно спит уральская равнина
и снег идёт по краешку весны.

А что у нас? — бескрайние руины...
Крик тишины на грани острия
осиротевшей, одинокой мины
и вспаханные пламенем поля.

* * *

Душа полегчала на грамм или два
в конце, где поставлена точка,
где строфы стоят, выдыхая слова
о том, что в декабрьские ночи
до утренних звёзд не горит синева,
но жив ополченец и срочник.
И вновь засучив рукава над землёй,
в ответе за синий платочек
русский солдат, а рассвет кольцевой
идёт вдоль военных обочин,
где звёзды уходят на вечный покой,
когда снегопад обесточен...
А мне всё казалось, душа не права,
что в сердце на грамм полегчала,
настолько тяжёлыми были слова.
как будто дышать перестала.

* * *

Всё, что я привёз с войны —
Свой окопный кашель,
Запах выжженной земли
С порохом и сажей,
Тень поломанных лесов
До корней и щепок,
Шелест мёртвых голосов
С обгоревших веток...

В лесах Кременной

Не говори, что выжжена земля
В сердцах полей и под ногами сосен, —
Она вспорхнёт под окрик журавля
Младой травой послевоенных вёсен,
Где белых звёзд ночная колея
Горит в траншее на сухом морозе...

* * *

Мне повезло, не ранен, не убит.
Но, иногда привидится иное:
я в Кременной, и лес ещё горит,
и поджигает небо голубое,
и там снаряд украинский летит
всё это время будто бы за мною...

Илай Илимар

Колдун

Повесть

Глава 1

Тело заныло, как накануне сильной грозы. Он за несколько дней точно знал, что приближается непогода, её вид и силу. Даже если метеорологи ничего подобного не предвещали, он-то знал, что будет и когда. Безошибочно. Но так было не всегда. Пришло это несколько лет назад вместе с даром, который виделся ему всё чаще проклятием. Иногда ловил себя на мысли, зря он тогда деду дал обещание. Помер бы старый, да и всё. Жалко стало, что мучается так сильно, вот и... принял на себя.

Однако сейчас тело отреагировало несколько по-другому, не как при ощущении урагана или снежной бури, но... с чувством страха, липкого животного страха. Он давно ничего не боялся, а тут комом накатило. Сунул руку в карман своего старенького, но крепкого полушубка и, сжав дедов амулет из медвежьего когтя, попытался его достать. Ладонь внезапно скрутило и затрясло. Он дёрнул её, зацепив пальцами толстую суровую, некогда белого цвета нить амулета, рванул наружу. Нить лопнула, и амулет прыгнул ему под ноги, воткнувшись в корку подтаявшего снега. «Во дела!», — пробормотал он и, уняв руку, резко наклонился за амулетом. В этот момент спину и затылок обдало мощной струёй горячего воздуха, сбив лохматую собачью шапку в сторону, а его самого на снежный наст. Только после этого он услышал раскатистый звук выстрела и почувствовал обжигающую боль в затылке. Он перевернулся на спину и посмотрел в небо. Там синева стремительно темнела. Лучи заходящего солнца пронзали ели и сосны, причудливо превращаясь в скачущие пятна. Он провёл ладонью по голове и поднёс к лицу. На губы скатилось несколько капель яркой солёной крови. Издалека послышался возбуждённый возглас: «Сдохни, тварь!

Илай Илимар (Ильмаилов Алексей Юрьевич), юрист. Родился в 1979 году в городе Улан-Удэ (Бурятия), в семье геологов. Окончил юридический факультет Московского государственного социального университета (2000). Автор сборника прозы «Ощущение весны» (2023). Живёт в Москве. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

Сдохни, чёрт!» Он узнал. Санька Лялин из деревни. Значит, помер-таки его батёк. Закрыв глаза, подумал, что так и должно было случиться. Духи предупреждали, что зло ему придёт от людей. Да и вообще зло в большинстве случаев приходит от людей. Неважно, с какими намерениями и по какой причине. Человек сам по себе источник зла, изначально.

Судя по всему, «убийца» почти сразу скрылся. Но на всякий случай он переждал некоторое время, укрывшись в ельнике. Рана оказалась поверхностной. Немного ободрало картечью кожу и оглушило. Кровь быстро запеклась. Вот шапка пострадала изрядно, теперь это была скорее рваная шкура, чем головной убор. «Ничё-ничё, новую сварганю... Заячью потом сделаю, вон их в этом году навалом. Под ноги кидаются. Хотя жалко эту. Из чёрного кобеля. Мощная. Вот и сейчас спасла». Галик закурил папиросину, что он делал редко, размышляя о произошедшем и немного успокаивая себя. Страха уже не было, лишь адреналин бил по ладоням, вызывая лёгкую дрожь. Он знал, что ещё не время умирать. Духи его хранили и предупреждали. Он ощущал себя частью их мира. Но всё равно человеческое брало своё.

* * *

Домой он добрался затемно. Оглядевшись и обойдя по кругу издавелека свою старенькую избу, он прошмыгнул внутрь и запер дверь на деревянный засов, ещё и подперев крупной дровиной снизу. «Толку мало, конечно. Если захотят довершить начатое, просто подпалят снаружи и сожгут. Но хотя бы спокойней самому. Надеюсь, Санька и его братаны думают, что уработали меня. Пусть так и думают. Они не первые в моей житухе. Да и весь посёлок уже косо смотрит. Надо уходить. Хотя бы на время». Не зажигая лампы, он вскипятил на газовой горелке кружку кипятка, засыпав туда полпачки чёрного чая. Надо было привести мысли в порядок.

Привычка чифирить осталась после долгих лет по исправительным учреждениям. С малолетки ещё. В шестнадцать, по оговору соседскому как попал за кражу на зону, так и мотало с небольшими перерывами по лагерям. Пять лет только как освободился. Сейчас ему сорок девять. Более двадцати пяти лет по зонам. Уважаемый в уголовном мире арестант, правильный бродяга. Казалось, вся жизнь пройдёт как-то так, но встреча с дедом после долгого перерыва, да на его смертном одре, всё поменяла. Деда он сильно любил с самого детства. Да и тот его тоже, и переживал, когда его закружила уголовная житуха. Отца-то не было, мать гулящая, вот дед его и воспитывал, да не уберёг, как сам считал, от лихой жизни. Дед Викторин — из староверов был. Из большого беспоповского села с Поморья в своё время пришёл сюда, женился на местной, трёх детей родил, в том числе его мать. Работал в леспромхозе, да однажды завалило его брёвнами, еле выжил, после этого вдруг обрёл «зрение», как сам говорил. Стал знахарствовать, шаманить да с духами общаться. В итоге ушёл в лес, оставив жену да детей мал-мала. Двое потом в город уехали, как подросли, и вроде нормально всё у них устроилось, а младшая в посёлке так и осталась, нагуляла его от какого-то шабашника, а потом и сама спилась, пропала где-то. Бабка тоже рано померла. Дед его, как мог, один воспитывал, пока

кто-то из жителей посёлка, сильно обиженный на них за что-то, не начал строчить во все органы о безнадзорности и якобы криминальных наклонностях семейки. Долго никто не обращал внимания, пока однажды Галик с товарищем не сняли сети того с парой рыбин. Так тот накатал «заяву», что, мол, обнесли чуть ли не под чистую его. Не только, мол, сети сняли (разрешение на них у него было), но и лодку украли и затопили, и мотоцикл угнали (который он сам втихую продал куда-то дальним родственникам), и вообще он много раз сигнализировал о беспределе этой семейки. Заяву эту вручил заезжему начальнику из обкома. Разбираться никто не стал, приехала милиция на жёлтом «бобике» и забрала Галика. А дальше... само собой и покатило-поехало. Единственное, что сказал ему напоследок дед, сжав в руках амулет, когда уводили: «Ничего не бойся. Мир испытывает тебя. Ты придёшь к своему предназначению. Плохие люди ответят за своё злодейство, недолго им ходить по земле осталось. Око за око, зуб за зуб...» Он запомнил дикую боль в глазах деда навсегда. Может, это воспоминание и держало его на свете. Сколько раз он мог сгинуть, со счёта сбился.

И теперь Галик снова стоял перед выбором, чифиря в дедовской старенькой избе. Мир продолжал его испытывать. А сосед и правда в тот же год сгинул, провалившись зимой под лёд, когда жерлицы снимал. Тело так и не нашли, утащила река куда-то в озеро. Да и работник обкома, с подачи которого Галика приняли, неожиданно через год повесился, допившись до белой горячки.

* * *

С большого новёхонького плаката на рекламном щите, казалось, что прямо в глаза, пронзительно глядел крепкий мужик средних лет в красивой военной экипировке, с автоматом навскидку, призывая добровольцев на защиту Родины. Напротив, со стены пятиэтажки с огромной, нарисованной прямо на стене картины, куда-то вдаль печально смотрел молодой парень в парадной форме, с серебряным округлым крестом на груди. «Покойник...» — сразу пришло ему. Надпись на картине гласила что-то вроде «помним героев страны» и имя героя с датами жизни. «Молодой совсем... недавно погиб», — подумал Галик и перевёл взгляд на плакат. Там было указано несколько контактных телефонов. Он немного помялся, сомневаясь, затем пробормотал: «Будь что будет... да и духи говорят про огонь и кровь... туда надо бы», — набрал один из номеров.

Уже через пару часов, сидя в большом кабинете в военкомате, он оформлял договор. Его многолетнее уголовное прошлое не вызвало никаких вопросов. Лишь проверили, что не в розыске и не состоит на учёте у психиатров и наркологов. В тот же день он получил койку в общежитии в областном центре, куда его и ещё с десятков районных добровольцев отвезли на служебном пазике. Всё казалось чётко налаженным: с кормёжкой, обмундированием и прочими служебно-бытовыми вещами. Военно-врачебную комиссию они прошли в течение трёх дней, и уже через неделю все местные добровольцы были сформированы в единую роту и направлены на полигон в одну из южных областей страны. Всё это время он держался особняком, общаясь с другими только по делу и в рамках совместной деятельности. Таких было почти полроты.

Он чётко определил, что половина отряда — бывшие сидельцы. Впрочем, этим никто не кичился, не выпячивал своё прошлое. Все всё понимали. Держались ровно. Другая половина отряда представляла собой разномастный и разновозрастной народ. И молодые, и пожилые мужики. Уже на полигоне их распределили по группам, в зависимости от умений и навыков. Галик попросился в медицинскую эвакуационную группу. Это отвечало его внутренней энергии. В течение двух месяцев они усиленно занимались и тренировались. Бегали по раскисшим весенним полям, стреляли, окапывались и изучали разные премудрости, основываясь на опыте этой войны. Инструкторы были отличные и требовательные. Относились серьёзно, так как ожидали решительного наступления врага после сезона распутицы.

Странно, но он обратил внимание, что с того времени, как подписал контракт, его дар словно заснул. Духи молчали. Видений, знаков и предчувствий не было довольно давно. Лишь ладони его словно жгло изнутри, когда оттачивали санитарные и медицинские навыки. Но однажды, когда он накладывал импровизированную шину на руку подопытного пожилого сослуживца, случайно коснулся его головы. Руку словно пронзило током, и в сознании пробежала чёткая картинка: он увидел, как сердце этого солдата покрывается паутинкой трещин и пятнами. «Ты это... сердце надо бы проверить. Чувствую нехорошее...» — бросил он ему. Тот лишь недоуменно поглядел, отмахнулся с юморком. Утром он не проснулся. Обширный инфаркт.

Так Галик понял, что дар вернулся. И чем ближе подходило время отправки за ленту, тем чувствительней он становился. Довольно быстро слухи о его предвидениях разлетелись среди бойцов. Люди стали заглядывать к нему, вначале с опаской и недоверием, но каждый вечер в свободное время к нему в распорягу стали заходить бойцы. Кто-то с просьбой по здоровью, кто-то из любопытства. Стали его называть колдуном. Как пошутил комроты: «Вот и позывной тебе уже есть...» Он же оставался нелюдимым, но приходившим в просьбах не отказывал. И старался не расстраивать, если видел плохое. Просто говорил, что ничего не видит. Его отстранённость лишь добавляла краски к ореолу загадочности и мистицизма. Лечил то, что мог, либо направлял к врачам на проверку. Командование закрывало на это глаза. Бойцом и санитаром он становился грамотным и исполнительным. Претензий не было.

Ближе к лету их перебросили поближе к ЛБС. Ожидалось наступление врага, напряжение витало в воздухе. Хотя внешне все выглядели спокойными и уверенными. Неразберихи и дурости, особенно среди командования и служб тыла, по-прежнему хватало. По прибытии их разместили всех вместе, несколько сот человек, в корпусах общежития бывшего профучилища. Когда размещались, ротный высказал принимающему «подполу», что, мол, это опрометчиво и опасно, что в случае ракетной атаки их накроет всех. Тот лишь рыкнул что-то вроде «не умничай, мы лучше знаем». Галик же несколько дней чувствовал нарастающую тревогу. Он был уверен, что случится беда. В первую же ночь, после отбоя, когда он вырубился от усталости, во сне пришёл дед и приказал просыпаться, показав картинку, как горят здания и мечутся в отблесках пожара обгоревшие полураздетые люди. Он открыл глаза, в помещении

стояли храп и сопение. Люди, уставшие после вечерней тренировки, крепко спали. Большие круглые часы на стене показывали почти полночь. Он вскочил и пошёл между рядами кроватей, громко будя товарищей: «Вставай, вставай, тревога! Тревога! Тревога! Все на улицу, за периметр! И рассредоточиться!» Бойцы, не разбирая что к чему, вскакивали и выбегали наружу. Сказались месяцы тренировок. Раз командуют, — надо выполнять. Так он пробежался по всем трём этажам общаги. Когда уже сам выскакивал наружу с криком «за периметр!», запыхавшийся ротный, прибежавший из другого здания на поднявшийся шум, схватил его за грудки: «Какого чёрта?! Чего творишь, Колдун?! Крышняк рвануло? Или нажрался-таки, сука?! Когда успел?!» В это момент их опрокинуло взрывной волной. Соседнее здание, откуда и прибежал ротный, сложилось, вспыхнуло ярким оранжевым пламенем. Вскочив, Галик рванул под шлагбаум за забор территории их пункта дислокации, ротный за ним. Отбежав на несколько десятков метров, они упали между деревьями близлежащего парка. Вокруг на земле рассредоточились бойцы из их общаги. Кто-то уткнулся в землю, зажав голову руками, кто-то напряжённо наблюдал за пожаром. Тут влетело и в их здание, развалив его на части и осыпав кирпичами окрестности. Чёрный дым повалил из развалин. Затем — ещё серия мощных прилётов по территории их части. Вдали завывли сирены. Когда разрывы стихли, ротный скомандовал: «Мужики! Надо вытаскивать! Может, кто ещё жив. Вперёд, кто не ссыт!» Поднялись почти все. Ротный бросил ему: «А ведь ты нас спас, Колдун... И я там должен был быть, в первой общаге. Откуда узнал?» Галик пожал плечами: «Увидел. Духи сказали, дед приходил». Тот, сжав губы пробормотал: «Точно, колдун... не иначе...» Через минуту они, задыхаясь и отхаркиваясь, лазили в дыму по развалинам, вытаскивая закопчённые изуродованные трупы.

В тот же день Галика забрали в контрразведку. И трое суток держали в подвале. Каждый день шли непрекращающиеся монотонные допросы на одну и ту же тему: откуда узнал, на кого работаешь, когда тебя завербовали, почему поднял своих и т.п. Он равнодушно повторял одно и то же — что увидел во сне, почувствовал. Эти допросы его не напрягали, за многолетние отсидки он и не такое видел. Иной раз в ШИЗО по несколько месяцев проводил. Так что вся эта методика особистов для него была лёгкой прогулкой. Да и скрывать нечего было — говорил как есть. Зато отдохнул и, как ни странно, выпался за эти дни. В подвале он был один, никто не донимал между допросами. Наконец, ему дали подписать бумагу о неразглашении и отпустили. Пожилой капитан напоследок сказал, что прилетели «хаймарсы», погибло много бойцов и раненых несколько десятков. Кто-то навёл, скорее всего, ждуны. И начальник местного полигона идиот редкостный. Вроде как сняли его. А он, Галик, молодец, спас несколько десятков человек, правда, непонятно как, каким образом понял, что будет прилёт, — потому его и взяли. «В общем, мистика. Про тебя говорили, что не от мира сего, колдун вроде. Но армия и мистика несовместимые понятия, поэтому извиняй. Я-то тебе верю... вижу, что... чудной ты. И зэка опытнейший, судя по личному делу. Хотя сейчас... это скорее в плюс. Не знаю, кто ты по религии своей, шаман там, или колдун, или вообще чернокнижник, но... тут ты молодец.

Удачи!» — И на удивление мягко пожал руку. Галик в этот момент увидел, как капитан бледный-бледный лежит в госпитале и тихо стонет, а вместо ног у него пустая окровавленная простынка, настенный календарь показывал первую половину июля. «Первую половину июля проведи в отпуске или просто подальше от ЛБС. Вижу плохое для тебя. Без ног останешься, если не послушаешь...» Капитан вздрогнул и, отдернув руку, испуганно пробормотал: «Э-э... погляжу. Ладно, бывай...»

Глава 2

Подразделение их за это время перебросили непосредственно на линию соприкосновения. Так что добираться пришлось с оказией. Хорошо, что ребята по телефону скинули контакты волонтеров, что в этот день собирались к ним. Они были в городке и подхватили его по пути. Две выдавшие жизнь «Нивы», набитые доверху различным добром для бойцов. За рулём сидел угрюмый пожилой мужик с растрёпанной бородой. Между сиденьями торчал многозарядный охотничий карабин «Сайга», похожий на «калаш». Вёл мужик агрессивно и уверенно. Рядом впереди разместился добродушный молодой толстяк — какой-то блогер, активно участвующий в сборах для бойцов. Он болтал, пытаясь разговорить Галика. Тот нехотя отвечал, но толстяк не давал покоя.

— Ну, что, как тут на фронте? Я-то первый раз, а вон Геннадич, наш водила, уже десятый раз едет, потому такой и угрюмый. Правда, Геннадич?

Тот искоса поглядел на него и нехотя что-то буркнул в ответ.

— Да ладно, он так-то классный мужик, наш Геннадич. Просто вояка потомственный, третья война у него. Подполковник спецназа, если что. Правда, эта — уже в качестве волонтера, добровольцем не взяли, старые ранения и возраст за шестьдесят.

Геннадич раздражённо бросил:

— Да хватит тебе, Санёк, обо мне болтать. Хорош уже. Мужику, думаю, не до этого.

Санёк задорно рассмеялся, обернулся к Галику:

— Во, видишь, какой неразговорчивый. А мне с ним аж от Москвы пилить пришлось. Всё-таки как тут? С госпиталя по ранению едешь? Как зовут-то, кстати?

— Галик. Имя такое. Еду с комендатуры, — коротко ответил он.

— М-м-д. Интересное имя. С Поволжья?

— Нет. С Вологодчины. Дед — старовер. Имя оттуда.

— Понятно. Здесь как оказался, служил раньше? Мобилизованный или доброволец? — не унимался толстяк.

— Доброволец. Не служил. Не брали. По лагерям чалился.

Толстяк уважительно присвистнул:

— Ну, тогда тебе особый респект. С лагеря прямо забрали?

— С воли. Сам пошёл. Духи сказали.

— Ого! — продолжал донимать Санёк. — Что-то шаманизмом отдаёт.

Имя староверческое, бывший заключённый. Настоящий российский коктейль. Э-эх, этим мы и сильны! Русские люди.

— Да хорош! Отстань от человека. Чего докапываешься? — уже раздражённо бросил Геннадич.

— Да я не докапываюсь. Просто интересно. Я же журналист почти. Изучаю портреты людей. Но если Галик не хочет, могу замолчать, — обиделся Санёк, снова повернувшись к нему.

— Норм всё. Хочешь, — базарь, если нравится.

Толстяк заулыбался во всё лицо.

— Во, видишь, Галик не против. Вот скажи, ты про духов говорил. Это как? Ты настраиваешься на волну какую-то или разовое видение это? Или это... в общем, что это?

— Дар. Дед отдал, когда умирал. Сила от него.

— Это ты... колдун, что ли? — немного опасливо вставил Геннадич.

— Не знаю, но многое вижу. Позывной, да. Колдуном обозначили.

— М-м-мм, а сейчас что-нибудь видишь?

— Иногда лучше не знать. Но сегодня ничего не видел.

Воцарилось молчание на долгие полчаса. Толстяк сосредоточился на своих мыслях. Геннадич и так молчал. А Галик прикорнул. Ему пришёл сон. Он как наяву увидел, что их «Нива» лежит на боку, и ленивое пламя медленно лижет её закопчённый смятый бок. Рядом валяется пара тел, среди них отчётливо виден Санёк. К машине с автоматом наперевес уверенно направляется человек в защитной накидке. Он подходит и стреляет по телам, по разу в каждого. Добивает. Вдалеке видны сельские постройки, отчётливо заметен придорожный столб с названием населённого пункта Червівка. Галик очнулся. Машину трясло и качало из стороны в сторону. Он хрипло спросил:

— Где мы?

Геннадич сквозь натужный рёв «Нивы», пытающейся переключиться с передачи на передачу, громко ответил:

— Хрен знает, в заднице какой-то! Не дорога, а направление, на второй еле еду. Размыто всё, чёрт возьми. Навигатор пишет, что километров тридцать ещё пилить. Скоро Червивка какая-то.

Прикорнувший Санёк тоже встряхнулся:

— Червивка, звучит многообещающе! Хе-хе!

Галик резко подался вперёд, ударившись головой о низкий потолок машины:

— Когда Червивка?

— Да на что она тебе сдалась, чуть башку себе не пробил?! Вот, скоро. Километра три ещё.

— Стой! — почти заорал Галик.

Геннадич резко нажал на тормоз, вещи кучей сзади посыпались на них. Санёк громко выругался, стукнувшись лбом в ветровое стекло.

— Ты чо творишь? Чо случилось-то?! — заорал водитель.

— Дальше нельзя. Смерть там, — тихо ответил Галик, поправив кепку и погладив свою короткую, но густую, с изрядной сединой бороду.

— Ты чего несёшь? Ты — идиот? Или правда звезданутый юридивый? — удивлённо, но уже спокойно, заметил Геннадич. — Ребята, когда просили подбросить тебя, сказали, что ты странный тип, но... что сейчас-то?

Санёк лихо цокнул и щёлкнул пальцами.

— Вот оно! Давай, что привиделось, выкладывай. Интрига!

Галик, поглаживая бороду, сухо ответил:

— Ты, молодой, не радовался бы, вижу, как твою рожу разносит в упор укроп, а ты, спецназовец, валяешься рядом. И «Сайга» твоя не поможет. Где вторая «Нива»?

Санёк, побледнев, пробормотал:

— Да-к, вперёд, кажись, ушла.

— Минут двадцать назад прошла дальше, обогнала. Договорились у Червивки на повороте встретиться. Там дорога расходится. Наша уходит вправо. На развилке, короче. Там стела с названием села большая есть, ещё советская. Журналисты любят там свои подводки делать. А у них в «Ниве» на борту баба-корреспондентка с агентства одного большого. Попросили с собой взять. Вот, видимо, и решили там репортаж начать пилить, — уже обеспокоенно высказался Геннадич. — А тут ты со своими предсказаниями, Нострадамус, блин. Сбиваешь, так сказать, — закончил он.

— Ну, что делать-то будем? — обеспокоенно спросил блогер.

Галик снова погладил бороду:

— Давай, поехали. Не спеши только. Не газуй. Потихе давай. Не доезжая развилки осмотримся. Карабин-то приготовь на всяк пожарный. Я эту Червивку и видел во сне.

— Обижаешь, колдун. Всегда готов, — Геннадич погладил «Сайгу».

Они медленно покатались в сторону населённого пункта. Моросил дождик, распыляющийся сильными порывами ветра и бывший хаотично с разных сторон. Видимость была паршивая. Водитель старался не газовать даже при выезде из ям, а шёл в натяг на второй скорости. Толстяк нервно курил свой модный электронный испаритель и на удивление молчал. Видимо, пребывал в жутком напряжении. Внезапно Геннадич резко съехал с дороги и вкатился в ближайшую редкую разделительную лесополосу. Сипло бросил: «Выходим. Кажись, наши в засаду попали», — и, уверенно схватив карабин, вылез из машины. Они быстро вылезли за ним. Санёк сразу бросился под ближайший куст и там залёг. Геннадич усмехнулся: «Во даёт. Ты чо туда залез? Иди сюда». Пока тот вылезал из-под куста, они с Галиком вглядывались вперёд вдоль дороги. Метрах в трёхстах от них поднимались и тут же, прибитые дождем и ветром, опадали клубы чёрного дыма.

— Ну что, колдун? Видение твоё в руку, кажется. До развилки несколько сот метров. И там что-то горит. Явно свежее задымление. Жаль, если наши. Тут диверсанты запросто ходят. Но обычно в тёмное время суток, а сейчас обед.

— Надо бы поглядеть, что к чему, — сухо бросил Галик.

— Ты без оружия ведь?

Галик достал из кармана небольшую круглую РГН:

— Комендант в дорогу сунул, когда отпуская. Типа хоть что-то, пока доберусь до своих.

Геннадич хмыкнул:

— И то ладно. Умеешь хоть пользоваться?

Галик поглядел на него исподлобья и ничего не ответил.

— Ладно. Пошли. Я впереди вдоль кустов, ты чуть поодаль, если что, старайся далеко не швырять. А лучше без моей команды не кидай. И из поля зрения не пропадай. Санёк пусть здесь останется. Толку от него всё равно нет. Хотя подожди, у него всепогодная труба должна быть, какие-то модные штучки оптические он собирался разведчикам привезти, — он махнул рукой Саньку подойти. — Что там у тебя из оптики имеется?

Через минуту толстяк дрожащими руками протянул им новенький цифровой монокуляр с разнообразными функциями и возможностями. Геннадич осторожно, почти ползком, продвинулся метров на пять вперёд вдоль дороги, держась кустов. Спустя пару минут он махнул Галику рукой.

— На, глянь, колдун. Там... всё. Нашим хана. Кажется, ДРГ сработало. Они ещё там, кстати, — шёпотом прокомментировал он, протягивая Галику монокуляр.

В приборе, как по телевизору, несмотря на дым и дождевую пыль, картинка просматривалась чётко. «Нива», без задних колёс, лежала на боку, чадая чёрным дымом. Чуть поодаль лежало тело. Его осматривал, присев на корточки, человек в спецнайдке типа «кикимора». Метрах в десяти на обочине примостился другой, тоже в глухой нарядке грязно-бурой сезонной расцветки, явно контролируя окружающую обстановку. Галик опустил монокуляр.

— Спецы. С твоей «Сайгой» и моей РГН нам с ними не тягаться. Обождём. Лучше позвонить пока, проинформировать о засаде, если есть кому.

— Дело говоришь, колдун. Давай по-тихому отсюда до машины, пока нас не засекли. — И, спустя секунду: — А ведь ты и... впрямь, что-то такое есть у тебя. Короче, спас нас... — добавил Геннадич, многозначительно поглядев на него.

Спустя час после звонка, к ним подъехала спецгруппа росгвардейцев. Они быстро осмотрели местность. Ушедшая вперёд волонтёрская «Нива» была подорвана, все пассажиры убиты. В том числе журналистка. Действовала диверсионная группа противника, растворившаяся затем в пространстве.

Оставшийся путь они проехали почти в полном молчании. Санёк курил без конца свою электронную штуковину, держа её дрожащими пальцами. Впрочем, курили непрерывно и Геннадич с Галиком свои обычные сигареты. Когда прощались, Геннадич крепко пожал Галику руку и тихо произнёс: «Ещё раз спасибо. А ребят жаль. Но как есть... Береги себя. И... аккуратней с этим твоим... даром. Многие могут не понять...» — И сняв с руки добротные часы в металлическом корпусе на кожаном ремешке, протянул ему.

Глава 3

В роте Галика встретили ровно, словно он и не отсутствовал, как будто не было и предшествующих событий. Ротный определил в медико-эвакуационную группу, на какие были разбиты все подразделения, раскиданные по разным местам и тщательно замаскированные. Сказывался опыт нынешней войны. Через пару дней их направили непосредственно на оборонительную линию. Враг уже неделю остервенело пёр по всему фронту, начался их распиаренный на весь мир «наступ». Встречали достойно. Пылали техника и люди. Дроны, как разведывательные, так и ударные, с обеих сторон висели роями. Накаты не прекращались и день и ночь. Потери у них были стабильно. Раненые каждый день эвакуировались в тыл. Радовало, что группа их работала слаженно и грамотно, большая часть раненых доставлялась в эвакуационный пункт живыми. Главные проблемы были из-за лёгких ударных дронов, но непосредственно по группе Галика прилетело лишь раз, и то немного в стороне, так что обошлось. Отдыхали урывками, по несколько часов, подменяя на выходах другие группы. Командир их взвода оказался толковым опытным мужиком, словно всю жизнь занимался этим, хотя и был мобилизован всего несколько месяцев назад. Работу он организовал грамотно, за пару недель из потерь у них было только трое раненых. На какое-то личное общение времени не оставалось. Удавалось поспать немного, перекусить на ходу, и снова вперёд, — на ноль. Наконец, враг как будто немного выдохся и спустя три недели интенсивных боёв их отвели по ротации в тыл.

Всё это время, пока они были на передке, духи не тревожили Галика, не сообщали никакой информации, не давали подсказок. В редкие часы отдыха он пытался сосредоточиться и обращаться к ним, теребя дедовский амулет. Но всё напрасно. Они молчали. А как только прибыли в тыл, на территорию «большой России», в первую же ночь духи посетили его. Во сне пришёл ворон с изумрудно-зелёными глазами и сообщил: «Смерть не видит тебя. Ищи не ищи. Не бойся, не здесь. У неё пора жатвы». Галик очнулся, рядом храпели сослуживцы из его тройки. Внутри стало хорошо, спокойно. Всё-таки не забыли. Видимо, здесь, на войне, особый энергетический купол, сотканный из сотен тысяч нитей: из боли, молитв, страха, из отлетевших душ. Здесь правят ангелы и демоны. Духам тяжело пробиться.

Он вышел на улицу. Почувствовал, как тело наполняется «силой», как её называл дед. Он снял футболку и в одних трусах отправился на площадку перед располагой. Раскинув руки и подставив лицо струям дождя, он принялся пританцовывать в такт странной музыке, зазвучавшей в его голове. Она словно лилась ручейками из космоса, нежно звеня колокольчиками, спотыкаясь о невидимые порожки. В этот момент он не принадлежал себе, со стороны казалось, что он впал в шаманский транс. Он ничего не видел и не слышал, кроме этой неземной музыки. Будто колпак скрыл его от внешнего мира. Он очнулся от мощной тряски и отборных матюков. Открыв глаза, Галик увидел злое измождённое лицо коменданта гарнизона. Подполковник матерился

и кричал что-то про гауптвахту. На улице было уже светло. Галик молча огляделся. Из располаги уже потянулся любопытный народ.

— Нажрался, гад! Ночи не прошло, где только находят? Да так, что в трусах одних шатается на периметре! На моей территории, чёрт возьми! Да я тебя... — орал подполковник, пока его не прервал подоспевший ротный.

— Товарищ комендант! Это... наш Колдун. Он странный немного, это самое... Не пьёт. Просто тю-тю слегка, но... нормальный, — как мог, противоречиво вступился он за Галика.

В этот момент Галик чётко увидел, что у коменданта печень покрыта волдырями и гноем.

— У тебя, начальник, печёнка больна, проверь. До весны следующей не дотянешь, если лечения не начнёшь.

Комендант, хотевший уже наорать на ротного и что-то приказать, осёкся и лишь хватал воздух ртом, как рыба.

Ротный воспользовался ситуацией:

— Извините! Больше не повторится. Беру ответственность на себя. — И демонстративно приказал Галику: — Боец, марш в подразделение! Зайду позже, объяснительную напишешь.

Через пару дней сам комендант пришёл к нему. Уже спокойный и притихший. Спрашивал про своё здоровье. Галик рассказал, что видит, и снял негативную энергию, проведя нехитрый обряд. Скоро к нему стали ездить со всей округи. И вояки, и мирняк. Он никому не отказывал. Лечил, предсказывал и советовал. Денег не брал, но их завалили разной снедью и бытовыми вещами типа носков, тапок и прочих полезных вещей. Духи были с ним, он слышал их голоса. Дед часто приходил во сне. Но главным был ворон с изумрудно-зелёными глазами. Он всё время был с ним. В основном молчал, лишь одобрительно кивал большой головой с мощным клювом, когда Галик делал всё правильно. Амулет деда висел на груди на толстом кожаном шнурке. Он немного грелся и подрагивал, когда Галику приходило какое-то видение. Слава о сильном «колдуне» разлетелась по округе. В их располагу стали заезжать даже большие начальники. В суровые времена суеверия и тяга к мистике вырастает на порядок. Всем хочется чудес и защиты, простых объяснений и решений. Слухи об этом дошли до командования округа, и его подразделение раньше срока отправили снова на ноль, так как уже и прознавшие церковники выражали недовольство.

Его коллеги из тройки перевелись в другие подразделения, они стали бояться Галика и его дара. Обычная история. Работать с ним в передовых группах никто не хотел. Поэтому командование решило оставить его парамедиком на первой эвакуационной точке от ЛБС. Это давало хороший эффект. Ни один тяжёлый, доехавший до Галика, не умирал. Выживали все. Главное — довезти до него. Места эвакуопунктов постоянно меняли, избегая обстрелов. Перекидывали по линии в места наиболее интенсивных боёв. А бои стихали лишь на короткое время, враг третий месяц пёр напролом, как зомби. Раненых было много. Времени на отдых еле хватало. Но он и не уставал, не жаловался. Духи были с ним. Ворон обосновался внутри, словно контролируя ситуацию.

Наконец напряжённость немного спала. Галик стал читать книги, привезённые волонтерами. Литература была разная: от детективов и боевиков до религиозной. Однажды, когда он читал «Откровение Иоанна Богослова», к нему подошёл один из парамедиков-эвакуаторов, молодой парень, которому предстояло идти скоро на ноль, и заговорил:

— Вот все тебя боятся, хоть ты и помогаешь здорово. Колдун ты типа. Вдруг что-то наколдуешь. И нелюдимый. Образ соответствующий. А я всё-таки философский оканчивал в Питере, скептически ко всей этой мистике отношусь. И позывной мой Философ. Вот, решил подойти, познакомиться, пообщаться.

В этот момент Галик увидел, как этого парня и его группу накрывает дрон-камикадзе, всех троих. Ещё в пути до ноля.

— Умрёшь сегодня. Вся группа ляжет. Дроном шарахнет. Не ходите. Поменяйтесь с другими. Они спокойно сходят и вернутся живыми. А вот вы, каким бы маршрутом ни пошли, пропадёте, — сухо прервал его Галик, оторвавшись от чтения.

Парень растерянно захлопал глазами, затем обернулся к своим напарникам и громко заметил, пытаясь снять свою оторопь:

— Вот и пообщались! Неудивительно, что народ его боится. Чернуху какую-то гонит. Натурально гонит.

Надувшись, он вернулся к своим. Духи запрещали вмешиваться, так как люди наделены свободой выбора, даже когда выбора как будто бы и нет. Скоро группа ушла. Через пару часов пришло известие, что все погибли в пути, как и предсказывал. Его стали ещё больше бояться. Но нет-нет кто-то всё равно приходил. За пару недель погибло и было ранено ещё несколько человек из тех, кто хотел узнать свою судьбу. В их же пункт не прилетело ни разу, даже рядом не упало, и это было удивительно для столь интенсивных боёв. На Галика смотрели косо, с ним никто не хотел работать, и при выводе на отдых его селили отдельно, так как и свои стали сторониться. Но Галик не роптал и не огорчался, понимая, что люди боятся таких, как он. А то, что предсказания сбываются, не вина «колдуна». Людям свойственно искать виноватых в своих бедах. Галик мысленно спрашивал духов, дар это или проклятие? В ответ лишь ворон сверлил его своими изумрудными глазами в его снах.

Глава 4

После очередного захода к линии боёв Галик сидел и читал, как обычно, когда интенсивность боёв падает. Раньше он читал в основном религиозную литературу. Её на ЛБС везли и волонтеры, и представители церкви. Война и смерть, как и неволя, вызывают интерес к такой литературе в поисках ответов и утешения. Он к этому привык. Однако в последней ротации Галик неожиданно для себя попросил у заезжего волонтера увиденную мельком книжку в мягком замызганном переплёте. Довольно толстая. Зарубежного автора. «Молодые львы» Ирвина Шоу. На удивление зашла она ему хорошо,

и теперь он запоем читал её в возникающих паузах. Там очень хорошо показывалась атмосфера и психология людей с разных сторон, попавших по разным причинам на войну.

Внезапно сильно подуло понизу, и в палатку рванул поток свежего воздуха, полог распахнулся, зашёл взводный с двумя молодыми парнями.

— Колдун, это самое... Вот, наконец-то, тебе напарники нашлись. Пацаны с Питера, с военно-медицинской академии, добровольцами к нам, так сказать. Пообтёрлись на другом участке, и вот к нам. Так что скоро, думаю, на эвакуацию получится выйти. А то засиделся на точках, хе-хе... Людей не хватает, с ротации ещё не все вернулись. А тут «немец» что-то активничает, слышишь, как громыкает?

Взводный, словно извиняясь, представил ему пополнение. Сегодня и впрямь громыкало сильнее обычного.

Он кивнул и махнул рукой парням с предложением располагаться. Взводный пожал ему руку и ушёл. Парни тоже пожали руку и представились: Хилер и Бес. Когда он жал руку Бесу, то вдруг всплыл образ Философа, которому он предсказал гибель. Кажется, тот тоже был из Питера.

— Ты Философа не знавал, случаем? Фамилии не знаю. Земляк ваш. Тут служил в эвакугруппе, погиб.

Бес нахмурился, губы задрожали:

— Брат мой. Двойняшки мы с ним. Сорок дней только прошло, — выдавил он.

— Точно. Я сразу подумал, похож, и из того же города. Мы с ним лишь раз пересеклись, м-да... он почти сразу того... ну и... как-то так. Стало быть, ты мстить прибыл? Причина веская, но тут погибельная. Здесь это не работает, а только вредит. Тем более в медицинском взводе. Рассудок надо холодным держать, если хочешь дожить до Победы или... до окончания контракта.

Бес исподлобья сверкнул на него тёмными глазами как-то злобно и недоверчиво:

— Не только. Хотел бы... врагу мстить, — записался бы в штурмы. С братом вместе уходили добровольцами, но раскидали по разным частям, вот он раньше немного на ЛБС и попал. Я на другом участке был, попросился перевести сюда, где он погиб, точнее... сгинул. Наверное, что-то... внутренняя потребность какая-то, как будто я заменить его должен.

Галик пристально поглядел на него. Увидел, что у парня внутри всё черно. Тушь заполнила его вены и почти затопила сердце. Тёмная энергия билась внутри и буквально кипела, когда он смотрел на Галика. Однако видение почти сразу прошло. Скоро они молча пили чай из большого алюминиевого чайника, ели из своих сухпайков. Вечером вышли на эвакуацию. Парни оказались подготовленными, чётко отработали. Их группа в тот вечер вынесла троих. Ночью Галику пришёл сон: они шли вдоль лесопосадки на очередной квадрат забрать раненого. Он впереди. Внезапно появилась белая лошадь, с уздой, но без седла. Она материализовалась словно из ниоткуда и, стоя вполоборота, пристально смотрела на них. Он обернулся к своим. Бес был один и целился в него из «калаша». Он хотел крикнуть что-то вроде «ты чего?», как вдруг

на землю перед ним слетел ворон с изумрудно-зелёными глазами и, помотав большой головой, прохрипел: «Ничего не бойся. Смерть не видит тебя. Не сейчас. Она найдёт тебя не там, где жатва».

Галик очнулся из-за громких стонов и хрипов. Он встал и подошёл к спящим парням. Хилер метался, что-то бормоча. Галик потрогал его, тот весь горел. Растолкать не получилось. Он взял его за руку и увидел, как полыхают его лёгкие. Явно — серьёзное воспаление. Галик разбудил Беса и вдвоём на самодельной санитарной тележке они отвезли бредившего сослуживца к ближайшему медпункту. Вроде как обширное воспаление лёгких. Вздвигая велел работать пока вдвоём, свободных людей нет. Через сутки они с Бесом заступили на дежурство на точке. Оба были неразговорчивыми, поэтому общались только по делу. Оба в основном читали и курили. Но Галик ощущал тёмную энергию напарника, она рвалась наружу. Но он не тревожился, был уверен, что скоро всё разрешится, — знал, что Бес не просто так появился. Духи сказали, что всё предопределено.

С утра выходов не было, рация затрещала ближе к вечеру, запросив эвакуацию среднего трёхсотого. На улице уже темнело, стояла дождевая пыль. Чернозём густо налипал на сапоги, быстро сползая с их резиновой поверхности, и снова налипал. Галик шёл впереди. Бес сзади толкал перед собой санитарную тележку. Учитывая погоду и время, дронов и снайперов можно было особо не опасаться, поэтому Галик курил в рукав и уверенно вёл их к обозначенному месту. Идти ещё было примерно с километр, как начался хаотичный миномётный обстрел. Это не был прицельный огонь, скорее беспокоящий и заградительный, на удачу. Первые два разрыва легли метрах в трёхстах сбоку. Машинально пригнувшись, Галик повернулся к напарнику, чтобы показать, что надо двигаться быстрее до ближайшей посадки и там переждать. Бес стоял метрах в пяти, отпустив тележку. Несмотря на сумерки и повисшую в воздухе водяную пыль, Галик отчётливо видел направленный на него автомат. Ствол уверенно глядел ему в грудь. Он улыбнулся, он всё это уже видел, и лишь негромко сказал:

— Жатва. Не до меня, парень. Хочешь стрелять — стреляй. Всё равно не убьёшь.

Снова раздался взрыв, уже гораздо ближе. Они даже не дрогнули и продолжали смотреть друг на друга. Галик продолжил:

— Не знаю, за что ты хочешь меня убить. Может, брата вспоминаешь? Есть, наверное, какая-то причина. Но на всё воля Вселенной. И всё предопределено. Что тебе надо?! — уже закричал он.

Неподалёку разорвалась мина, совсем близко, так что взрывной волной их прилично качнуло. Автомат в руках Беса дёрнулся, он заорал в ответ:

— Это ты! Ты отправил брата на смерть! Ты! Пацаны из его отряда сказали, что ты, мерзкая тварь, его в тот день проклял! Они слышали, что ты ему пожелал перед выходом! Всё сбылось! Его кровь бьётся во мне, его голос кричит и требует отмщения!

Галик ухмыльнулся и только хотел ответить, как позади Беса земля взметнулась вперемешку с оранжевой вспышкой. Беса с тележкой бросило

вперёд, автомат выплюнул пару раз в сторону Галика. Он почувствовал мощный шлепок в плечо и глухой звон в ушах и потерял сознание.

Очнулся он от потоков воды, заливавших ноздри и уши. Тупая звенящая боль разрывала голову изнутри. Он глухо застонал и сел. Левая рука не слушалась. Правой он расстегнул и сбросил шлем. Стало немного легче. Провёл ладонью по голове и лицу. Она была в крови, которая с потоками дождя быстро смывалась на землю. Потрогал шею и ухо. Ладонь снова была в крови. Она текла из ушей. Он ничего не слышал, но отчётливо чувствовал все пульсации и вибрации. Попробовал встать, но снова упал. Левая рука висела плетью. Он снова закрыл глаза. В сознании материализовалась голова его ворона с горящими изумрудными глазами. Ворон громко сказал: «Встань и иди! Ничего не бойся, мы с тобой...» — и растворился. Галик сунул правую руку под «плитник» и под куртку и сжал дедовский амулет, открыл глаза и уверенно поднялся на ноги. Голова болела, но уже не так сильно. Даже левая рука немного стала оживать. Дождь чуть утих, но всё ещё налетал с порывами ветра. Вокруг царили вода и темень. Земля превратилась в болото. Он вдохнул полной грудью и осмотрелся. Прямо перед ним валялись перевёрнутая тележка и тело Беса. Галик достал рацию из разгрузки, она не реагировала, видимо, вода залила её, пока он лежал, хотя и была в чехле. Он сунул её обратно и наклонился над напарником. Приложив пальцы к шее, ощутил еле различимый пульс и почувствовал, что тот ещё жив, но уже на грани. Он увидел своим «зрением» голого ребёнка младенческого возраста, стоящего на гладкой водной поверхности и смотревшего на него, словно прощаясь. «Вода — энергия. Не всё потеряно. Хрен ты уйдёшь у меня, у нас незавершённая тёрка!» — зло бросил он в пространство и, быстро расстегнув санитарный рюкзак, нашёл противошоковый шприц-тюбик и вколол Бесу в бедро прямо через штаны. Затем с трудом перетащил его на термоодеяло и запеленал. Бес открыл глаза и, судя по мимике, застонал. Галик по-прежнему ничего не слышал, хотя звон в ушах стал проходить. Затем он вколол и себе полшприца адреналина (спасибо снабдившим волонтёрам), сразу же ощутил всплеск энергии. Сердце заколотилось как бешенное. На волне подъёма он погрузил напарника на тележку и покатыл в сторону их эвакуационной точки. Идти было далеко. Левая рука ожила, пусть и не полностью, толкал двумя руками, преодолевая метры раскисшей земли. «Ничё-ничё! Тележка-то у нас — огонь. Конструкция что надо. Умельцы есть у нас. Полна земля русская. Ща быстро дойдём. Чо тут идти-то, пара километров всего», — подбадривал себя Галик. Идти было трудно, он, казалось, шёл целый час, прежде чем решил передохнуть. Опустил тележку и огляделся вокруг. Дождь кончился. Тьму растворил густой седой туман. На расстоянии руки уже ничего не видно. Куда он шёл, было непонятно. Достал из рюкзака маршрутизатор с забитой точкой возврата. Тот не работал. Вода залила всё, все приборы. Работали только наручные механические часы, подаренные Геннадичем на прощание. Неприхотливые, советские ещё, «Штурманские» показывали час-тридцать. «Значит, валялись мы там пару часов точно. Как не подошли-то, не замёрзли да не истекли? Спасибо духам», — он хмыкнул и вдруг отчётливо услышал храп и лёгкое лошадиное ржание. Туман перед ним развеялся от слабого

ветерка, и он увидел... белую лошадь, стоящую вполоборота. Она глядела на него. Как в его сне. Лошадь тряхнула гривой и, развернувшись, медленно пошла в туман, словно приглашая за собой. Он вспомнил, что белая лошадь, ведущая за собой, — видится к смерти, но слова ворона, чтобы ничего не боялся, отогнали дурные мысли, и он, ухватив рукоятки тележки, уверенно двинулся вслед.

Сколько так шли, он не понял, но, когда туман развеялся, увидел, что идут они по каменистой тропе в глухом хвойном лесу. Лошадь медленно шла вперёд, Галик, толкая тележку, — за ней. Он поднял голову, высоко над ними в просвете между верхушками гигантских елей, сияли тысячи звёзд. Это было как во сне или в сказке. Он опустил голову и поглядел на Беса. Тот тихо лежал, лицо его приобрело черты спящего счастливого ребёнка. «Кажется, мы идём по границе между явью и навью», — подумал Галик, вспомнив рассказы деда из детства.

Лошадь остановилась и, тихо прохрапев, растворилась в пространстве. На тропу шумно слетел огромный ворон с изумрудными глазами. Он громко закричал и взлетел на ближайшую ель. Галик проводил его взглядом, а когда опустил голову, увидел перед собой... деда. Тот стоял и улыбался, поглаживая всклокоченную седую бороду. В том же обличье, в котором он его запомнил, когда был пацаном. На голове собачья шапка, расстёгнутый потрёпанный овчинный полушубок, песочные штаны от формы-афганки и короткие утеплённые резиновые сапоги на ногах.

— Здравствуй, Галик! Вот и свиделись. Пусть так. В пограничье. — Дед похлопал себя по карманам и извиняющимся тоном спросил: — Есть курить? Земные привычки в пограничье возвращаются.

Галик, ничуть не удивляясь и опустив тележку на опоры, неспеша достал из рюкзака мятую пачку «Беломора» и зажигалку. Дед вытащил папиросину и, вернув пачку, щёлкнул зажигалкой. Затянувшись и закрыв глаза, выпустил густое облако сизого дыма и удовлетворённо заметил:

— Как и я, папиросы куришь. Хотя, помню, ты, когда из тюрьмы-то последний раз вернулся, не курил вроде. Впрочем, ладно. Я сам тогда помирал, лежал, не до этого было. Корячился, дар давил. Ох и давил! Еле успел тебя призвать и передать, а то бы неупокоенным ушёл, маялся бы в междумирье битой тенью или ещё чего похуже.

Галик тоже закурил:

— Мы же неспроста сейчас встретились, да, дед? Вроде как сплю, а вроде как и в реальности с тобой.

Дед кивнул и сквозь клубы дыма ответил:

— Неспроста, внук... Неспроста. Воюешь, смотрю? В форме. Ладный такой, хоть и в крови перепачканный.

— Санитаром пошёл. Солдат спасаю. Многих вытащил.

— Молодец! Благое дело. За Родину воевать — все грехи прощаются. А умереть — честь. Чистым надо оставаться в любой ситуации. Скотиной не становиться, не радоваться смертям и не ожесточаться. Правду блюсти. Сложно. Но русским людям это удавалось во все времена. Потому и Вселенная на нашей стороне, всегда. Помнишь, «мы — русские, с нами Бог!»? Так и есть. А война — это как чистилище. Здесь все вскрываются так или иначе. Нутро наружу лезет,

и люди здесь почише будут, чем в миру. Так-то, Галик, так-то. Вон везёшь бойца, а он тебя убить хотел. По дури, не разобравшись. Впал в гнев. Вижу, вижу. Наш дар, внук, вызывает у людей сложные чувства. Хотя знаю, что парень этот не прост. Сильный. Энергетика зашкаливает, как за двоих.

— Брат был у него, двойнец, я ему предсказал гибель, если пойдёт в тот день на задание. Не послушал, погиб. А этот двойнец специально перевёлся, чтобы меня достать, думает, это я проклял брата его. А видишь, как вышло? Теперь везу его на точку, чтобы эвакуировать в госпиталь. Дурак, молодой, не разобрался.

Дед покачал головой:

— Да. Вези, вези. Доедете, всё нормально будет. Смерть не видит тебя, Галик, здесь. У неё жатва.

— Вот и ворон так говорит, — Галик кивнул на ель, где тот сидел и глядел на них изумрудными глазами.

— Проводник. Посланник. — Дед улыбнулся своей мягкой улыбкой и затушил окурок о сапог. — Ладно, внук. Идите. Всё будет хорошо. — Дед подошёл к тележке и погладил Беса по голове, тот счастливо улыбался во сне. — Хороший парнишка, мощный. В самый раз. — Дед поглядел Галику в глаза: — Отдай ему дар. Он тот самый. Твоё продолжение. Вы, можно сказать, породнились этой ситуацией. Война покрестила.

Они некоторое время ещё молча смотрели друг другу в глаза. Галик совершенно не волновался, на душе было спокойно.

— Соскучился я сильно, внук... Ладно, вам пора, да и мне тоже. Ещё увидимся.

Дед сделал шаг к нему и крепко обнял. Слезы навернулись Галику на глаза, он уткнулся деду в плечо, а когда открыл глаза, того уже не было, как и ворона.

Он подхватил тележку и покатыл по тропе. Почти сразу густое облако тумана спустилось с верхушек елей и накрыло их молочной пеленой. Оно расслабляло и клонило в сон. Сил бороться не было, и Галик отключился.

Глава 5

Очнулся он от тряски и шлепков. Открыл глаза. На него смотрел бородатый взводный и ещё незнакомый человек.

— Во, очнулся! Жив! Я знал, что тебя хрен что берёт. И Беса вытащил. А мы уж вас похоронили!

— Командир, что, где я?

— Дак где-где? На пункте. Беса уже погрузили и увезли до госпиталя. Тебя сейчас будем грузить на вторую очередь. Раненых много нынче было. «Немец» чего-то разошёлся — в последние сутки лупит и лупит. Снарядов, наверное, подвезли до чёрта.

— Я не помню, как сюда попал. Отключился и всё как стёрлось. — Галик попробовал приподняться, но дикая боль прострелила правую коленку и левую руку. Он закричал и откинулся обратно на спину, зашуршав термоодеялом.

Взводный слегка придавил его ладонью:

— Ты не дёргайся! Вон военврач рядом. Прибыл из госпиталя к нам, говорит, что по-тяжёлому тебя распорол. Колено, возможно, собирать придётся, осколок влетел, и рука... — огнестрел почему-то. И контузия, очевидно. Ладно, потом разберёмся. Главная загадка — как вы вышли-то? Точнее, ты, да ещё с тележкой и полутрупом в ней? Как минами стали там насыпать, я сразу подумал, ну всё, на верную смерть послал бойцов, сидели в блиндаже с пацанами, с ума сходили. А потом под утро хренак, разведгруппа наша вас тащит, говорят, в ста метрах подобрали от точки. Ты с такими ранениями ещё полтора километра тащил и себя, и Беса. Уму непостижимо! Колдун, одним словом! И даже оружие не растерял, всё в тележке было.

Галик закрыл глаза и тихо ответил:

— Дошёл, и слава богу... Повезло. Духи помогли. Когда на больничку-то? А то малость мне поплохело.

Стоявший рядом врач бодро вмешался:

— Это давление падает, сейчас препарат вколем, норм станет.

Взводный добавил:

— Уже выдвигаемся, вон «буханка» катит. Скоро в порядке будешь, Колдун.

Пока взводный и врач суетились, Галик снова отключился.

* * *

Бежевый потолок. Первое, что увидел Галик, открыв глаза. Пикающий звук прибора — то, что слышал. В госпитале. Немного придя в себя, огляделся. Кровать удобная, он лежал в приподнятом положении, поэтому напрягаться не пришлось. Он находился у окошка, слева от него ещё три кровати. Все, и он в том числе, были в проводах и катетерах. Но он всё равно узнал Беса на койке рядом. Тот лежал с закрытыми глазами, словно крепко спал. Монитор показывал сердцебиение. «Живы, значит», — подумал Галик и закрыл глаза. Последнее, что он помнил, это разговор со взводным и врачом. После этого тёмная яма — ни ощущений, ни сновидений, ни духов. Просто отключился и просто очнулся. «Интересно, сколько дней прошло?» Дверь открылась, и в палату зашёл молодой доктор. Увидев, что Галик очнулся, он улыбнулся, поглядел в планшет и поздоровался:

— Здравствуйте, э-э, кажется, Галик вас зовут? — И, не дождавшись ответа, продолжил: — Прекрасно. Тенденция радует. Возьмём сегодня ещё анализы, и по результатам переведём в общую палату. По коленке, хм-хм... собрали неплохо, несмотря на травму. Осколочек удачно, можно сказать, вошёл, не разворотил. Но надо будет проходить реабилитацию, чтобы восстановить функции. Хотя прихрамывать, видимо, будете долго. Впрочем, это уже потом, после реабилитации, понятно станет.

— Извините, доктор... А этот... сосед мой? Сослуживец. Вместе попали в замес, — Галик кивнул в сторону Беса.

Доктор снова заглянул в планшет, что-то там полистал и уже не так бодро ответил:

— Тут гораздо сложнее случай. Тяжёлая контузия, сочетанные травмы нижних конечностей: переломы закрытые вперемешку с множественными осколочными... — Заметив напряжённый взгляд Галика, доктор мягко улыбнулся и более спокойным тоном продолжил: — Проще говоря: ноги перебиты, но целы, и контузия вследствие взрыва. Но жить будет. Сложность только в процессе восстановления и последствиях. И в сроках. Но больной молод, а значит, организм сильный, должен справиться.

Галик кивнул, показав, что понял:

— Ничего-ничего. Восстановится быстрее, чем врачи думают. — И уже тихо, себе под нос: — Духи не дадут соврать.

Доктор некоторое время что-то отмечал в своём планшете, затем прошёл по палате, посмотрел показания приборов и, кивнув Галику на прощание, вышел.

Через некоторое время пришла медсестра и отсоединила его от всех аппаратов, сказав, что теперь остаются только капельницы пару раз в день, так как организм идёт на поправку, анализы почти в норме и завтра переведут в общую палату.

Когда она ушла, Галик спустился с кровати на левую ногу и, аккуратно придерживая жёстко зафиксированную правую, опустил и её на пол. Затем протянул руку к Бесу, положил ему ладонь на лоб. Напевая себе под нос незатейливые мелодии, спустя пару минут впал в протрацию. Он увидел большое поле высокой по пояс пшеницы, посреди которого росла одинокая сосна. Была ночь, огромная луна ярко освещала окрестности. Он уверенно направился к сосне. Дул лёгкий тёплый ветерок, пшеница колыхалась морскими волнами, и Галик ощущал себя скользящей яхтой в серебряной лунной дорожке. Подойдя к сосне, он увидел на ближнем суку огромного ворона с изумрудными глазами. Они полыхали ярким светом. Ворон молча глядел на него, поворачивая то в правую, то в левую сторону свою крупную голову. Так они некоторое время молчали, затем ворон глухо прокаркал и тяжело перелетел на другую ветку, повыше. Луна зашла за тучу, резко стемнело, а когда серебряный диск вновь осветил округу, ворона уже не было. Зато он отчётливо увидел мужскую фигуру в белоснежной рубаше, медленно удаляющуюся от него. Галик побежал вслед, но догнать не мог — фигура оставалась всё на том же расстоянии. Он крикнул, призывая остановиться. Фигура остановилась и медленно обернулась. Это был Бес. Он улыбался. Потом отчётливо произнёс: «Отдай...» Галик схватил и крепко сжал дедовский амулет-коготь, висевший на груди. И попытался сорвать, но никак не удавалось. Галик очнулся от видения и резко убрал руку со лба Беса. Тот глухо застонал. Галик погладил его по плечу и тяжело забрался на свою кровать, прищёпывая: «Ничё-ничё...»

Утром его перевезли на кресле-каталке в общую палату, куда почти сразу наведася особист, расспрашивая о причинах пулевого ранения плеча, хотя их накрыло минами. Но особо не настаивал и не копался, поэтому удовлетворился объяснением, что во время взрыва автомат Беса произвольно выстрелил. Чего, мол, только не происходит в таких ситуациях. Особист записал показания, взял расписку и ушёл. Хорошо, что удалось у него стрельнуть пару сигарет. Курить хотелось страшно. Пусть не папиросы, но с оторванным фильтром

вполне подходили по крепости. В общей палате их было восемь человек, в основном мужики среднего возраста. Все друг друга поддерживали, делились едой, куревом. Курить выходили на улицу, благо палата на первом этаже, доковылять можно. Он уже начал потихоньку передвигаться с бадиком. Как обычно бывает в любом коллективе, в их палате присутствовала пара балагуров, поддерживающих общую атмосферу. Галик же, как всегда, больше молчал, общался только по делу. В основном слушал да читал книги. Читал он всё запоем, в основном историческую литературу. Жалел только, что свою последнюю перед ранением книгу «Молодые львы» так и не дочитал. По интернету не хотел. С современной техникой он не дружил, и смартфона у него никогда не было. Да и приятней бумажную книгу читать, чем шуриться в светящийся экран. Духи молчали. Он не переживал по этому поводу, на сердце было спокойно. Ничто не тревожило. Он знал, что всё уже состоялось. В палате не слышали про его репутацию, и это его вполне устраивало. Через неделю неожиданно к нему пришёл посетитель. Точней, это произошло случайно. Он стоял и курил на улице, когда его громко окликнули:

— Колдун! Во дела! А я гляжу-гляжу: ты не ты?!

Галик обернулся на голос и увидел, как к нему через двор идёт, широко улыбаясь... Геннадич. Галик погладил свою уже внушительную бороду и сквозь клубы дыма ответил:

— Глазастый. Разглядел среди одинаковых пижам и дыма. Да и с бородами толстовскими здесь каждый второй. Здравствуй, Геннадич!

— Ну, привет, привет! — Геннадич сжал ему ладонь и крепко обнял.

— Как в Отечественную прямо. Встреча старых друзей на фронтовых дорогах, — продолжил Геннадич, тоже закуривая.

Галик кивнул:

— Волонтёришь? С гуманитаркой снова едешь? Где блогер-то твой?

Геннадич помрачнел и, затянувшись, тихо ответил:

— Санёк-то? Хороший парень... был. И блогер довольно мощный. С тысячами подписчиков. Много помогал ребятам и мирняку. Все донаты, как они, блогеры, говорят, туда отвозил. — Снова затянувшись, он замолчал и выдохнул: — Погиб с месяц назад. В самом Донецке прямо. Ракета прилетела в клуб, где они выступали с артистами. Я в тот раз не ездил, слёг с болячками дома. Словно уберёт кто-то.

— Так и есть. Значит, твоё предназначение ещё не исполнено. Неплохой он парень, насколько я его понял. Добрый и общительный. Жаль.

— Да уж... Ладно, царствие ему небесное. А мы его не забудем. Ты-то сам как?

Галик пожал плечами:

— Трясусь потихоньку. Вот поранило слегка. На ЛБС всё время был, санитаром. На выходе под мины угодили, но... — Вдруг что-то вспомнив, он пошарил рукой в кармане бушлата, накинутаго сверху, достал часы на потёртом чёрном кожаном ремешке и протянул Геннадичу: — Вот твои «Штурманские». Целёхонькие. Ни царапины, идут себе, ничего им нет. Подвожу только, и всё. Помогли мне. Спасибо за подгон!

Геннадич повертел их в руке и протянул обратно:

— Носи на здоровье! Это же подарок, чего ты мне их возвращаешь? Огорчить хочешь? Они, можно сказать, «намоленные», ещё с Афгана со мной. Там их мне командир «крокодила» подарил, когда мы их вытащили после падения. Духи сбили их над горами, они жёстко упали, но живые, хоть и поломанные. Я тогда молодой летёха был, в ГРУ только-только попал. Весь на романтике, на энтузиазме, как сейчас помню. Мне задачу поставили, я с отделением своим за несколько часов вытащил их, никого не потеряв. Первую «Красную звезду» получил за это. И часы вот. В таких Гагарин в космос летал... Да уж...

Галик убрал часы обратно в карман бушлата. Геннадич закурил ещё и философски добавил:

— У меня во взводе тогда почти треть пацанов с Украины была. Все сверхсрочники, матёрые. И я, их командир — зелёный летёха, — после училища... Крепко срослись тогда. Настоящее братство. За год, пока ими рулил, только двоих «двухсотыми» потерял. Достоин, грамотно воевали. С годами связь потеряли. Вот сейчас думаю, где они нынче? Может, кто из моих по ту сторону сейчас? Командует или добровольничает. Большинству за шестьдесят уже, но парни крепкие были. Чёрт знает...

— Теперь только гадать, для чего это нужно было и почему, — тихо ответил Галик, погладив бороду. — В любом случае, на всё воля Вселенной. Значит, ей так надо было. Русские люди стали терять свою суть, разбредились по осколкам и частям, отказались от предков. Бога потеряли. Может, шанс нам дают себя вновь обрести, с новой силой? Или сгинуть, как отмершее.

Геннадич усмехнулся:

— В мистику и метафизику всё переводишь. Недаром что колдун. Впрочем, колдун и есть. Так кто нам шанс-то даёт, если так? Бог?

— Те, кто повыше. Как ни назови.

— Ладно, Галик... — Геннадич протянул ему руку. — Мне пора. Ехать надо. Я рад, что свиделись, что у тебя... нормально. Даст бог, хе-хм, или те, кого ты назвал «кто повыше», ещё увидимся!

Галик крепко сжал его ладонь и улынулся:

— Это вряд ли, Геннадич. Последний раз видимся. Но ты... В общем, ты ещё долго будешь жить, у тебя много дел ещё. Так вижу. Победы точно дождёшься...

Геннадич вздрогнул и, развернувшись, зашагал к проходной не оборачиваясь.

* * *

Бес спал, когда Галик зашёл к нему в палату попрощаться. Лицо его было по-детски безмятежным, даже счастливым. Видимо, снилось что-то хорошее. На лацкане больничного халата сияла серебром новенькая медаль «За отвагу». Вчера в госпиталь заезжал генерал из министерства, ходил по палатам и награждал медалями и орденами. Галику прикрепил на грудь «мужика», как сказал: «За подвиг по спасению боевых товарищей». Галику было это всё странно, но приятно. Всю жизнь от государства только срока и неприятности получал, а тут целый орден, да какой! Он его заботливо, когда собирался, спрятал

в наградную коробочку и убрал во внутренний карман куртки, вместе с «военником» и со справкой для комендантских о ранении и прохождении лечения. Поймал себя на мысли, что много лет уже прошло с последней отсидки, а привычка — на случай проверки документов держать справку вблизи у сердца — осталась. Только раньше это была справка об освобождении. Как пропуск и надежда на нормальную жизнь.

Галик не стал будить Беса, не хотел ломать его ощущения, отразившиеся на лице. Он оставил ему пакет на тумбочке, в котором лежали: дедовский амулет медвежий коготь, часы «Штурманские», подаренные Геннадием, и тетрадный лист в клетку с короткой подписью: «От Колдуна. Поправляйся. Не поминай лихом. Прощай... Держись предназначения!» Галик знал, что искать его Бес не будет.

Уходя, он подумал, что даже не знает его имени, только позывной. Впрочем, это неважно. Духи знают. А сам он знал, что переход состоялся.

Глава 6

Вологда встретила на удивление для этого времени года тёплой солнечной погодой. Стояла натуральная апрельская оттепель, хотя на календаре была только первая треть марта. После госпиталя он ещё почти два месяца находился в расположении резервной части глубоко в тылу, в центральной России. На ЛБС его больше не направляли, ранение оказалось достаточно тяжёлое, нога в полной мере так и не заработала. Он хромал. Но активно участвовал в подготовке бойцов по части тактической медицины. Опыт у него внушительный. Поэтому, когда подошёл срок окончания его контракта, командование части предложило продлить ещё на год в качестве инструктора. Он не дал ответа, лишь обещал принять решение после отгула положенного отпуска. Сам он знал, что уже не вернётся, но не хотел расстраивать сослуживцев. Всё-таки его ценили как специалиста, несмотря на нелюдимость и суровую внешность.

Первым делом он отправился в облвоенкомат: встать на учёт и отметить проездные документы. Он мог этого и не делать, но не хотел никого подводить, — положено отметиться, значит, так надо. А то потеряют, будут потом искать, суету ненужную наводить. Останутся незавершённые дела. Это нехорошо.

У входа толпился народ, стояли в построении люди в новенькой военной «мультикамовской» форме, человек пятьдесят. Небольшой оркестр переминался с ноги на ногу, ожидая команды. Люди с камерами и микрофонами бегали, искали лучший ракурс. Посреди стояла небольшая переносная трибуна с гербом. Галик хотел было обойти это мероприятие и зайти со служебного входа, как попался на глаза упитанному лощёному полковнику в ладной зелёной зимней форме и каракулевой шапке. Тот подскочил к нему и восторженно-радостно спросил:

— Ты откуда, сержант? О, вижу с зоны СВО никак? Сразу понятно! Герой, патриот!

Галик посмотрел исподлобья на него:

— Что хотел, начальник?

Полковник обиженно надул губы:

— Я? Я-то — ничего. А вот... — он махнул рукой в сторону. — Наши новобранцы воины-добровольцы и Родина рады приветствовать вернувшихся защитников. Хотел попросить что-нибудь сказать, напутствие какое. — И уже спокойно, с просительными нотками в голосе: — Тут, сержант, дело такое. Телевидение, пресса, с администрации люди. Отряд добровольческий под областной опекой подготовили. Неплохо будет, если человек *оттуда* скажет пару хороших слов. Связь, так сказать, поколений, не знаю, как ещё назвать. У тебя и внешность такая... внушительная. Борода, суровость. Всё как надо. Все будут довольны. Помоги, а? А то нам обещали из союза добровольцев, что пришлют пару участников, да куда-то запропастились. А время начала митинга — через пять минут.

— Я не мастак говорить, начальник. Да и политику не хаваю. Я тут проездом, просто на учёт встать...

— Да какая тут политика!? И хорошо, что не хаваешь. Просто напутствие и добрые слова скажи. А на учёт я тебе сразу потом сделаю без проволочек и документы все отмечу. Я замначальника военкомата. Давай выручай!

Галик вздохнул:

— Хорошо. Два слова. Не жди красных басен, начальник.

Оркестр грянул гимн.

Галик с полковником, прослушав гимн, протиснулись в центр к импровизированной трибуне, где уже начал выступать человек из администрации. Он не слушал ни его, ни следующих выступающих, а разглядывал мужиков, стоящих в построении. Разного возраста, разного роста и внешности. Но с какой-то суровой определённой и уверенностью во взгляде почти у всех. Лишь у пары-тройки человек он заметил бегающий-блуждающий или отсутствующий взгляд. Видимо, случайные люди, пришедшие волею судьбы. Он вспомнил свой отряд, стоявший так же тогда, больше года назад. Тогда было по-другому, около половины, наверное, были случайными.

— Сержант, сержант!! — зашипел ему в ухо и дёрнул за рукав полковник. — Давай, пора! Выходи.

Галик вздрогнул и, огладив бороду, вышел как есть вперёд, с рюкзаком на плече. Полковник, заметив это, обеспокоенно попытался показать, что рюкзак надо снять, но Галик уже был у трибуны. Вставать за неё не стал. Некоторое время он, замаявшись, стоял, оглядывая строй. Повисла тишина, словно его появление и вид выключили все звуки. Выглядел он и правда не форматно, скорее как былинный сказочный персонаж: потёртая военная форма (новую он не стал получать) с лычками сержанта на плечах, неформатная добротная альпинистская обувь, подаренная волонтерами, на голове флисовая шапка «зимний мох», на плече большой серый рюкзак-баул, уставшие, но добрые зелёные глаза и... густая мужицкая седая борода. Наконец, он прокашлялся и громко, как ему показалось, начал:

— Я не мастак говорить...

В этот момент один из организаторов, прочувствовав момент, снял микрофон с трибуны и подскочил к нему, подсунув к бороде.

— В общем... пацаны. Ребят. Скажу лишь, — будет трудно. Если из вас кто-то был ранее в горячих точках, примерно знает, что такое война. Но там... всё по-другому. Так говорят те, кто был и там, и там. Я тоже раньше бывал много раз в самых суровых местах, непростых. Но в зоне СВО... другое измерение, парни. И своя жизнь. Да даже смерть другая. Одно там такое же, как везде и всегда: достоинство и честь, понятия и... братство. Держитесь друг друга и не стесняйтесь бояться... Страх — это нормально, если не захватывает полностью, если не срывает задачу. Те, кто ничего не боится, самые отчаянные, погибают почти сразу. Но не дайте страху подчинить себя. Каждый это делает по-своему. Главное, пацанов, братанов не предавать. И Родину. Сам погибай, как говорится, товарища выручай. Берегите себя, братва! — Галик огладил бороду и хотел отойти, как в пронзительной тишине раздался громкий возглас:

— Спасибо, отец!

У Галика ком встал в горле после этого. Он отошёл в сторону. На трибуну выскочил кто-то следом и начал что-то говорить и благодарить его за напутственную речь. К Галику подскочил один из репортёров и оператор с камерой:

— Областное телевидение. Скажите, как вас зовут? Как вы попали на СВО и есть ли у вас государственные награды?

Он хотел было уйти, но репортёр не отставал. Тогда он повернулся к камере:

— Галик меня зовут, отца не знал, отчество по деду Викторинovich! Награды? Есть. «Мужика» получил, Орден мужества. Санитарил, раненых выносил. Что ещё сказать, а то идти мне надо?

— Можете орден показать, чтобы наши зрители увидели героя, так сказать, воочию?

Он нехотя достал коробочку из внутреннего кармана и, открыв, продемонстрировал на камеру округлый серебряный крест на бордовой колодке.

Репортёр в это время что-то ловко и красиво наговаривал на камеру про его героизм. Затем повернулся к нему и снова спросил в микрофон:

— Вы в своей блестящей речи рассказали про ваш большой опыт нахождения в сложных непростых местах. Это горячие точки и служба на благо Родины? Наверняка наградами отмечены и до этого?

Галик ухмыльнулся:

— Можно сказать и так... На зоне я был. Неоднократно, много лет. Четвертак отмотал в общей сложности. На благо ли, уж не знаю. Блатным был, не работал. Наколки — мои награды тех времён. Показывать не буду.

Репортёр поперхнулся и бросил оператору:

— Таак, при монтаже это вырежем. Не будем смущать зрителя... прошлыми грехами, м-м-хм, героя. А, скажите, э-э?

Галик отвернулся и молча зашагал к дверям военкомата. Спустя полчаса нарядный полковник оформил ему необходимые документы. И выдал направление в служебную гостиницу.

Задерживаться он не собирался, но автобус в их район теперь будет только завтра после обеда. Вечером по телевизору, по областному каналу, показали репортаж с сегодняшнего мероприятия и его речь с небольшим смонтированным интервью. Без упоминания про его прошлое. Репортаж ему показался пафосным. Орден показали во весь экран. Сам себе он не понравился. Всё-таки рисоваться — это не его.

* * *

С утра пораньше в гостиницу заехал тот самый полковник военкомовский. Попросил съездить с группой ветеранов военной службы, в рамках шефской помощи, в опекаемый детский дом. «Сержант, выручи ещё раз. Собрались сегодня в детдом с ветеранами, а ветеранов настоящих у нас не так уж чтоб и много, пару человек успели найти только, так как идея внезапно возникла у кого-то шибко умного из обладминистрации. Да вот ты нарисовался вовремя. Там снова пресса всякая и чиновники. Отчёты и прочая канитель. Сам понимаешь. А тебя нам прям с неба послали. Орденоносец, настоящий русский герой и всё такое. Давай помоги, а? Потом, что надо по нашей части, проси. Хочешь, в военкомат устроим работать? С контрактом порешаем. Там на фронте и без тебя обойдутся». Галик ничего не ответил, лишь хмыкнул и молча собрался. Всё равно до его автобуса времени навалом, а к детям съездить — дело благое. Полковник радостно хлопнул его по плечу и проводил к «уазику», где на заднем сиденье уже сидели два пожилых мужика: один «афганец», другой «чеченец».

Детский дом находился в пригороде. Комплекс благоустроенных зданий и построек. Ухоженная территория. Внешне радостные дети. Их было довольно много разного возраста. Но его, всю сознательную жизнь прошедшего в лишениях, было не обмануть. Эти взгляды. Эти глаза. Тем более детские. Столько тоски и надежды в них. И ещё что-то глубинное, понять которое благополучному человеку — невозможно.

Под ТВ-камеры они вручили детишкам какие-то подарки, сфотографировались. Чиновники говорили красивые слова. «Дежурные» ветераны про важность патриотического воспитания. В этот раз Галику не предлагали выступить, лишь сфотографировался с делегацией и детьми. Когда все пошли на чаепитие, Галик вышел на задний двор покурить. Там, возле мусорного контейнера, стояла тучная тётка в накинутом на плечи пальто и курила длинную тонкую сигарету. Он подошёл и закурил рядом. Некоторое время они молчали. Наконец тётка спросила:

— Давно вернулись?

— Да вот, только-только. Пришёл на учёт встать, военком попросил поучаствовать. Благое дело.

Тётка ухмыльнулась:

— Благое-то благое. Особенно как начальникам пропиариться надо.

Галик огладил бороду и тоже ухмыльнулся:

— Это завсегда так было. Огорчают чем-то? Вы так, хм-гм, как-то с укором...

— Да так-то грех жаловаться. Обеспечивают наше заведение, в основном. Просто вспомнилось, прошу их который год производственный класс оборудовать. Чтобы ребята чему-то практическому учились, лучше к жизни готовы будут. И профтехучилище собирается потом их к себе брать. Из администрации только обещают, да то бюджета нет, то ещё чего. Зато регулярно катаются сюда фотки-репортажи поделать. Простите, что так резко. Просто в очередной раз сегодня спросила, отфутболили, мол, потом вернёмся к теме, финансирования сейчас, мол, нету. Такие дела. Я тут завучем тружусь много лет.

— А спонсоров и благотворителей нет?

— Пару раз появлялись потенциальные. Но мы бюджетники. Типа на полном довольствии государства. В администрации там столько им условий ставят и отчётности, что желающие отваливаются. Ведь в основном-то всё имеется, нормативы выполняются, а тут... специфическая отдельная история. Если только аноним бы появился какой-то. Может, и можно было бы. Там надо-то пару миллионов, не больше, чтобы оборудовать по полной.

— Понятно, — Галик затушил бычок о контейнер. — Надеюсь, всё у вас в итоге получится.

Тётка мягко улыбнулась:

— Спасибо на добром слове! — И когда он направился обратно в здание, тихо произнесла вдогонку: — У меня брат тоже там. В штурмах. Дай бог всем мужикам и ребятам вернуться...

Галик повернулся и кивнул. В глазах этой уверенной и суровой на вид женщины он увидел море печали и любви одновременно. Русская неземная глубина.

* * *

Через пару часов визит в детский дом завершился. Провожая их, уже оттаявшие к тому времени ребята искренне благодарили и приглашали почаще приезжать в гости. Одна девчонка лет семи, подбежав к нему, схватила за рукав его зелёного военного свитера и с надеждой в голосе спросила:

— А вы моего папу не знаете? Он тоже солдат и тоже на войне. Мне тётя сказала, она приезжала недавно. У него тоже борода, тётя фотографию показывала. А мама умерла давно, я ещё маленькая была. Вы если увидите его, скажите, я жду его. Пусть поскорее приезжает, как победит.

Он не знал, что ей сказать, ком встал в горле, смог лишь просипеть:

— Хорошо, родная. Обязательно! — и крепко обнял её.

Времени до его автобуса ещё было достаточно, поэтому он вышел в центре и, зайдя в банк, обналичил свою карточку. Пришлось подождать, пока соберут наличность, проверят его данные. Сумма была приличной. За год там скопилось чуть более двух миллионов зарплатных. Деньги за это время он почти не тратил, лишь на какие-то необходимые вещи. Из родни у него не осталось никого. Положив увесистый конверт с пачками оранжевых пятитысячных в рюкзак, он на такси добрался снова до детского дома и прошёл прямо в кабинет к завучу.

Увидев его она разволновалась:

— Что-то случилось? Э-э-э...

— Галик меня зовут, Викторинovich. Из староверов мы, стало быть. Хотя у меня от них только имя и осталось.

— Э-э-э, Галик... Викторинovich, вы что-то забыли? Сейчас я дам команду, найдём.

— Нет, ничего не забыл. — Он достал из рюкзака большой конверт с деньгами и положил ей на стол. — Не буду вокруг да около. Вы сказали, денег надо на класс, чтоб там то да сё... учились воспитанники.

Тётка смущённо, но настойчиво отодвинула конверт:

— Прекращайте! Я же не просила, а просто... просто поделилась. Ни к чему не призывая. Это же к слову сказала. Заберите деньги, не хватало ещё... Мне потом... замучаюсь объясняться. Это же такое подсудное дело... Забирайте, спасибо за... участие. Правда, спасибо, Галик Викторинovich, но не надо...

— Это вы прекращайте... Я человек конкретный, решил — не отступлюсь. Понятия не позволяют мне юлить. Деньги чистые. Никакого криминала. Честно... заработанные, можно так сказать. Не последние... хм-гм... Если угодно, считайте, что есть в нашем городе достойные люди с деньгами, вот... рассказал им, решили помочь.

— Ну... я не знаю, — в голосе завуча сквозили неуверенность и тревога.

— Я знаю! — уверенно перебил он. — Ребята и так по жизни обездоленные, я сам такой же был. Если честно, подростком как загребел на тюрьму, так и... через пень колоду мыкался, пока... не обрёл себя. Может, если бы тогда мне помогли, жизнь бы по-другому сложилась. Кто знает. Но как есть, на всё воля Вселенной. Считайте, что я сейчас... выполняю её волю. Исправляю ошибки и... да и вообще. Не огорчайте, прошу! Как их пристроить, эти деньги, вы, я думаю, разберётесь, человек опытный. Тут как раз на этот самый производственный класс хватает, по крайней мере, из той суммы, что я слышал в разговоре. Вам я верю, вижу, человек достойный, ребят не кинете. В общем, всё. — Он встал, собираясь уходить. — Мне пора. Как вас величать-то?

Тётка взволнованно вскочила:

— Слов нет... Э-э, хм, Ирина Артёмовна...

— Прощайте, Ирина Артёмовна! Проверять не буду, верю вам. — Он взялся за ручку двери и, вспомнив, спросил:

— Эта девчонка, которая меня обняла сегодня? У неё что с родителями? Батя и правда на войне?

Ирина Артёмовна на секунду замешкалась:

— Э-э, Оленька? Так это... Как вам сказать. Мать её померла несколько лет назад. С уголовниками, простите, э-э, крутилась, наркоманила, пила. Отец Олькин из урок-рецидивистов, но вроде так-то приличный был, если можно так выразиться. Как сел в очередной раз, мамашка-то её и сторчалась окончательно да и померла. Сестра её племянку не стала забирать, своих там мал-мала, но приезжает, проводит регулярно. А батя... Тот да, записался добровольцем в армию, как амнистию стали давать. Погиб пару месяцев назад. Она пока не знает. Подрастёт, скажем. Думаем теперь наследство оформлять для Оленьки. Там денег на счету у него зарплатных много осталось, да за гибель отца на СВО государство должно ей выплату произвести. И по потере кормильца что-то полагается.

- Да уж... судьбинушка. Вы её не бросайте.
 - Да как бросить-то? Не переживайте...
 - Ладно, прощайте!
 - Вы не прощайтесь, приезжайте!
- Он улыбнулся ей и вышел из кабинета.

Глава 7

На улице было темно, поздний вечер. Звёзд и луны не видно, день был пасмурный. Одинокий фонарь возле остановки освещал пространство, да свет в окошках домов подсвечивал сельскую дорогу. И впереди, метрах в двухстах, светил ещё один фонарь, от него друг за другом ещё пара. Автобус, выплюнув едкий дым, затарахтел и покатил дальше по трассе. Было тепло, под ногами хлюпала каша из таявшего снега и песка, насыпанного по дороге. Он поправил рюкзак на плече. Внутри ничто не щемило, не было никакого ощущения родной стороны и прочих эмоциональных переживаний. Он думал только, что там с избой? Цела ли? Печка рабочая ли? Не растащили ли? Да и вообще не спалили ли часом? Где остановиться, если что? Духи с ним больше не общались. Дар пропал сразу, как он оставил амулет Бесу и покинул госпиталь. Теперь он обычный человек непростой судьбы. Солдат, прибывший домой. Домой ли?

Как только он приблизился к первому дому, забрехала сперва одна собака, затем другая, а потом и вся улица зашлась лаем. «Вот черти! Подымут на уши сейчас всех...» — сплюнул он и закурил. Стараясь не обращать внимания, неспеша направился через село, прямо по середине дороги. Несколько псов выскочило наружу и с опаской облаивали его, сопровождая чуть позади. «Эскорт прямо. Почётный, не иначе», — ухмыльнулся он. Скоро стали выглядывать и жители, кто из окна, а кто из калитки. Молча. Наконец, в середине села, где-то в районе одного из живых фонарей, из двора вышла навстречу, ковыляя, маленькая сухая старушка. Это была баба Ганя, с которой они с дедом поддерживали какое-никакое общение. «Жива, надо же. Сколько ей? Лет девяносто, не меньше», — подумал он и поздоровался:

— Здравствуйте, баб Гань! Рад видеть в добром здравии.

Бабка скрипучим, но сильным голосом ответила:

— Ох-ох-ох... В добром ли, Галик? Господь никак не приберёт, чем прогневала его? Замучилась уже от жизни-то. Внуки только и остались с правнуками. Бабку видеть не хотят, не ездят совсем. Помру вот, хоронить-то кто будет? На соседушек и сельчан надежда. Здравствуй, Галик...

— Вот, вернулся. На службе был. Контракт окончился. Отпуск положен. А дом у меня здесь вроде как. Цел ли, дом-то? Вот, проведать решил.

— Ты никак на войне-то был? Мы-то тебя потеряли. Больше года пропал без следа. Никто и не искал. Сам знаешь, не жаловали тебя с дедом-то здесь. Ведьмаки, мол, колдуны. Пропал и пропал. Санька-то Лялин, бандит, ходил, как выпьет, похвалялся, мол, прогнал тебя, нечистого, спас село. Говорит всем, что отца его, Кольку кривого, ты со свету сжил колдовством. Тоже мне

защитник. Все знают, что и он, и отец его, и братья, вся семейка — бандиты. Тьфу на них, ворьё! Заграбастали лесозаготовку и пилорамы, деньжищами ворочают, никого не пускают. И крови на них сколько. Господь только знает. Если ты и сжил Кольку-то, правильно сделал.

— Он сам себя сжил. Столько зла в себе держал, вот сердце и не выдержало. Но этим, Саньку да братьям его, разве объяснишь?

— Он вон вчера в запой ушёл. Колобродит так, что жена с детьми сбежали от него. Ходит, с ружья стреляет в воздух, орёт. Проспится, потом добавит и снова палит. Как показали тебя по телевизору. Мол, герой вернулся с орденом, так он с ума и сошёл. Злой как чёрт, орёт, что это всё бесовщина. Не даст, мол, тебе вернуться. Несмотря на ордена и заслуги. Брат приехал к нему, уговорить, так теперь вместе и пьют.

— Да чёрт с ними. Их дело. Мне на них всё равно. Дом проведу, пару дней побуду да уеду. Снова на войну. Там людского больше. А таких там... и близко нет.

— Он-то знает это, что ущербный. Вот и бесится. Как же так, мол, не он герой? А насчёт дома... Вроде, говорят, стоит. Туда бояться соваться. Слава дурная о деде, да и о тебе. Если что, приходи, у меня поживёшь. Только осторожнее мимо них-то иди. Он с обеда молчит, отсыпается, видимо, с братаном своим. Увидит, мало ли чего.

— Спасибо, баб Гань! Благодарствую за приглашение. Если что, приду.

Собаки немного притихли и теперь облаивали лениво, скорее для порядка. Он уже почти прошёл мимо богатого Лялинского двора, как за спиной вспыхнул свет придомового фонаря и раздался окрик:

— Ты чо, колдун!? Совсем страх потерял?! Вернулся, значит, тварь?!

Галик нехотя обернулся. В открытых воротах под светом стоял Санька в расхристанном виде. Помятый, страшный и злой. В распахнутом полушубке, с торчащим из-под короткой футболки пузом, в трусах и тапках на босу ногу и с двустволкой в руках. «Натуральный чёрт», — подумал Галик и невольно рассмеялся.

— Ах ты, гадина! Смеёшься надо мной?! Клоуна увидел?! Батька моего приделал и теперь смеёшься, тварь?! — заорал Санька и затряс ружьём.

Галик огладил бороду и спокойно ответил:

— Угомонись уж, болезный. Не над тобой смеюсь. Грешно смеяться над такими. Просто ситуация нелепая в своём роде. Батя твой сам помер. Сердечная болезнь.

— Так это ты накануне приговорил его, навёл порчу! От зависти. Вся ваша родова такая, бесовское отродье!

— Эх, Саня-Саня... Неправильно живёшь, сам себя сжираешь. Чуешь это, вот и бухаешь запоями, как не в себя. На войну тебе надо. Быстро себя обретёшь. Слетит вся эта шелуха и накинёт. Чистым вернёшься. Если вернёшься. Сгоняй в военкомат, запишись добровольцем, и то толк будет.

Санька на мгновение замешкался, затем зашипел:

— Думаешь, героем стал?! Воевал, медалью получил, право указывать мне заимел? Да не упёрлась мне вся эта ваша война! Только отбросов типа тебя и собирают там. Хорошо, побольше бы утилизировали таких.

— Во как заговорил. Да ты — контра, как я смотрю, к тому же. Проспись, эмоции спадут. Может, мир лучше покажется. Ещё и извиняться будешь. Ладно, давай, не хочу с тобой тут выяснять. Если хочешь что-то предъявить, приходи завтра, побазарим.

— Да я тебя сейчас! Пристрелю как собаку!

Галик усмехнулся:

— Один раз уже пытался. Хочешь стрелять, давай стреляй. Легче от этого тебе всё равно не станет. Камень на спине только больше будет, прибьёт в итоге к земле. Да и на том свете покоя не обретёшь. Так вижу, — он поправил рюкзак на плече и, развернувшись, заковылял по раскисшей дороге.

Выстрела он не слышал. Просто от сильного удара в спину упал вперёд лицом вниз, рюкзак отлетел в сторону. Боли не было. Только тело онемело почти полностью. Он с трудом перевернулся на спину, встать уже не мог. Сознание быстро оставляло его, где-то слышался, словно из трубы, лай собак. Взгляд затуманивался, но он успел заметить, что небо над ним очистилось от туч, ярко горела полная серебряная луна, и поблёскивала россыпь далёких звёзд. Он закрыл глаза и увидел... деда. Дед улыбался и шёл к нему по белоснежному полю, раскрыв объятия. Позади него на одинокой сосне сидел большой чёрный ворон с яркими изумрудными глазами. Галик неуверенно сделал шаг навстречу.

* * *

Рация захрипела. Он услышал: «Бес! Ты там жив вообще?» Нажал на приём: «Вроде жив пока! Приём!» «Это Туман! Не могу полчаса до тебя пробиться». — «Бывает. РЭБ. Помехи и прочее». — '«Тут опорник наш накрыли. Есть трёхсотые. На точку их вытащили. Эвакуация дальше нужна». — «Принято. Выдвигаемся. Координаты дай». Через две минуты Бес с напарником выдвинулись с тележкой на маршрут. Он глянул на свои «Штурманские». Фосфорные цифры показывали полдесятого вечера. Моросил холодный весенний дождь. Небо было затянуто облаками. Стояла темень хоть глаз коли. Шли по маршрутизатору. Но был в этом и плюс, можно не опасаться дронов. Ноги вязли в раскисшей грязи. Идти было тяжело. Вдруг он почувствовал сильную дрожь на груди. Остановившись, сунул руку под одежду, нащупал амулет. Он сильно вибрировал в ладони. Внезапно резкая боль, как от ожога, пронзила её. Бес вскрикнул и дёрнул рукой, оборвав кожаный шнурок. Амулет выскочил наружу и упал под ноги, в грязную лужу. Даже в мутной жиже было заметно, что коготь ярко светится красным. Он глянул на ладонь. Она была в крови. На местность опустилось большое серебряное пятно света. Бес поднял голову. Тучи разошлись, и на небосводе ярко светила большая полная серебряная луна в окружении россыпи далёких звёзд. Он наклонился и вытащил из лужи амулет, крепко сжав его окровавленной ладонью. Подул лёгкий холодный ветерок.

Апрель 2023 г. — январь 2024 г.

ilay

Наталья Полякова

Простыми словами расскажешь о СЛОЖНОМ...

* * *

Если сегодня особенно не везёт,
Тяжело на сердце и много грусти,
Приходи ближе к вечеру в огород
Искать мотыльков и детей в капусте.

Что-нибудь да найдём, отгибая лист.
Главное — делать всё надо вместе.
Бронзовка — клоун, кузнечик — эквилибрист.
Паучок-почтальон принесёт нам вести.

А потом — обратно — дорогою муравья,
Бегущего по листве, прочитавшего «Хагакурэ».
Дом закрывается. У каждого дома своя
Правда, устав свой, своя культура.

Плодовым — смерть, что хорошо жукам.
В этом году цветы отцвели впустую.
Если найдёшь девочку, оставь её нам —
Куколку, перламутровку полевую.

Полякова Наталья Владимировна — поэт, редактор. Родилась в г. Капустин Яр (Астраханская область). Окончила Литературный институт им. А.М.Горького. Главный редактор электронного журнала «Литература». Стихи публиковались в журналах: «Новый мир», «Знамя», «Дружба народов», «Урал» и др. Автор четырёх поэтических сборников, среди них — «Легче воздуха» (М., 2018). Живёт в Москве.

* * *

Лежать в траве, крутить калейдоскоп,
Сиюминутность взяв за постоянство.
И обнажённость душ, как оголённость стоп,
Как оголтелость веры в кафкианство.

Причастным быть к свободе в полключая.
И, удержав мгновенье от распада,
Смотри на свет, на ямку у плеча.
А счастье — ты. И большего не надо.

* * *

На стенке в кухне солнечный осколок,
И в нём расцвёл махровый гиацинт.
Свет состоит из световых иголок.
День падает, лови, лови! Разбит.
На *до* и *после*, на *пора* и *рано*.
Я в нём застыла срезанным цветком.
Пока вода лилась, вода из крана,
Пошли дожди на полюсе другом.
Где волны — высоки и крутобоки —
О камни бьются и ломают лёд.
И парус тот, который одинокий,
Со школы мне покоя не даёт.

* * *

Не разобрать себя, как сложный текст,
Не посчитать все стопы и длинноты.
Снимаются слова с привычных мест,
Как птицы и отыгранные ноты.

И не понять, где музыка жила,
В каких частях разобранной шкатулки.
Но выходила, плакала, звала...
И наполняла парк и переулки.

И поднималась выше лип и крыш,
Как голуби в кино сентиментальном.
Лови её! Ну что же ты стоишь
В халате сером в парке госпитальном?

* * *

Прячь страхи в метафоры, слёзы — в подушку.
Сними эту истину с карандаша,
Как плотник снимает древесную стружку
И вдруг понимает, что жизнь хороша.

Простыми словами расскажешь о сложном,
О жизни трагической карандашей.
И бабочка света летит осторожно
На спичке среди деревянных вещей.

* * *

Мы так хотели света и тепла.
И спичек обгоревшие тела
На белом подоконнике чернели.
Мы не считали их и не жалели.
А нас зима по-своему хранила.
Шёл хвойный лес на спички и стропила —
Строительный и счётный материал.
И газ горел.
И воздух выгорал.

Что наша жизнь? Разобрана на части:
С любимой кружкой, бьющейся на счастье,
Скрипучим полом, влажным полотенцем,
Смеющимся и плачущим младенцем...
Когда, намаявшись, друг друга пожалели
И съехались — без году две недели —
На верхнем этаже многоэтажки.
А выше —
только белые барашки.

Сухбат Афлатуни

Цветы

Рассказ

Ему тоже хотелось кофе.

Просить Вагифа он не решался, а тот не предлагал. Может, тоже не решался. Кто они, двое? Случайные знакомые по не слишком приятному делу.

Притормозил, сделал пару снимков. Ещё. И ещё. Разбитая двухэтажка. Что раньше в ней было? Неважно. Жизнь. Теперь пустота, как везде. В кадр должны войти выбитые стёкла, обломки шифера. Артур слегка присел... Отснято.

Вагиф стоял рядом, сжимая термос. Вагифа он снимал раньше, в начале подъёма.

Вагиф и он, Артур. Вот они идут.

Между ними возникло понимание, какое бывает между одинаково уставшими мужчинами. Не очень молодыми, курящими одни и те же горькие сигареты.

Обещанных трупов не было.

Успели убрать, зарыть — жаль. Придётся ему лезть в запасник; кто будет проверять, где и когда он это снимал?

На военных снимках мёртвые важнее живых. «Убедительнее», — говорит шеф.

Много воронов, больших, неторопливых. Он их тоже снял, на обломках железа; вышло фактурно.

Хотелось кофе, вообще чего-то живого; глотнуть и зажмуриться. Вспомнил тёплый коньяк, которым его поили после прилёта. Сейчас бы не отказался.

— Хочешь? Ещё два глотка есть, — Вагиф протянул термос.

«Добрый», — с лёгкой злостью подумал Артур.

Он уже давно обо всём думал так, с лёгкой усталой злостью. На себя, на других, на этот мир, на бога, в которого и прежде не верил, а теперь особенно, до сухой ярости.

Сухбат Афлатуни (Евгений Абдуллаев) — поэт, прозаик, переводчик, критик. Родился в 1971 году в Ташкенте. Окончил философский факультет Ташкентского университета. Главный редактор литературно-исторического журнала «Восток Свыше». Автор нескольких книг стихов и прозы. Дважды лауреат «Русской Премии» (2005, 2011), лауреат молодёжной премии «Триумф» (2006) и других. Постоянный автор «ДН». Живёт в Ташкенте.

— Давай, — Артур взял термос.

Подождал немного, чтобы не было видно, как ему хотелось этих двух глотков. Глотнул. Зажмурился.

Быстро открыл глаза. Кто-то смотрел на него. Кто-то кроме Вагифа.

Не отнимая губ от фляжки, Артур огляделся.

Пейзаж был прежним, военным. Разбитая двухэтажка. Вагиф, вытряхивающий сигарету. Куски обгорелой техники. Небо, мутное солнце, вороны. Нет, они здесь одни. Только издали редкие выстрелы. Он допил кофе и вернул фляжку Вагифу.

«Враг не пройдёт»

В конце предполагался восклицательный знак. Не хватило краски? Или писавший устал. Последнее «т» вышло маленьким и кривым. Или его просто подстрелили. Неделю назад здесь было жарко.

Артур пнул мягкое ведро с остатками краски. Навёл объектив на надпись. Отснято.

Теперь *они* отступили. Зализывают раны, врут в своих «Наташках», «Подругах», от одних названий тошнит. И готовят новый прорыв, где никто не ждёт. Их логику понять невозможно.

— *Они* далеко? — Артур присел на камень. — *Они* далеко? — повторил громче.

— Кто знает... Не кричи. Лучше не садись.

— Почему? — Артур поднялся.

— Седока «снять» легче.

Хотелось поспорить: всё-таки это не первая его горячая точка... Не стал.

«Опытный», как сказали, когда прикрепляли к нему Вагифа. «Сейчас, подойдёт — познакомим». Появился через час, «отдыхал». Зевнул: «А, пресса...» Небритый, с красноватыми глазами. Выпили за знакомство, у Артура было припасено; алкогольная дипломатия. Вагиф сдержанно похвалил напиток, рассказал о себе. В детстве жил с родителями в Москве («занимались бизнесом»). Артур кивал. От Вагифа пахло войной. Артур знал этот запах. Запах курева, несвежего мужского тела, смерти.

Оставался (конец воспоминаний) один вопрос. «Я наполовину армянин», — сказал Артур, когда почти всё уже было выпито-закушено. Посмотрел на Вагифа. «Знаю... — тот снова зевнул. — Какая теперь разница...»

Разницы не было. Разница осталась в прошлом. В старом добром прошлом, когда мужчины могли себе позволить убивать друг друга. За национальность, религию, просто за то, что они — мужчины и должны таким образом регулировать свою численность. Тогда была разница. Хотя Артур её и тогда не чувствовал. Карабах? С его башни в Чертаново Карабах казался далёким, почти сказочным. Карабас-Барабас. Артур был москвич, а это больше, чем нация, кровь, память; больше, чем всё.

Лента воспоминаний оборвалась. Он снова почувствовал... затылком, шейными позвонками, кожей под свитером и курткой. Осторожно повернулся.

Куст. КУСТ (мысленно навёл на увеличение). Наполовину обгоревший, наполовину живой. Слегка шевелится от ветра. Просто от ветра. Артур вытер лоб.

Страх. Даже не со сборов и не с первой поездки, а... с того проклятого вечера, когда он запер Лёну в чулане на даче. Она колотила, кричала, била стекло. А он сидел на полу за дверью, задыхаясь и кусая запястье...

— Будешь ещё снимать? — возник рядом Вагиф.

— А ближе нельзя? — Артур снова говорил спокойно. — Хотя бы парочку трупов...

— Нет. Если не хочешь свой собственный труп заснять.

Шутка была тупой, но убедительной.

— Вернёмся, найду тебе трупчики, — Вагиф спускался. — Каких предпочитаешь: блондинок, брюнеток?

Следом съезжал по насыпи Артур.

Вагиф остановился.

— Ложись!

Оказался рядом с Артуром и повалил на землю. Прозвенела пуля и замолкла. Зашуршали осыпавшиеся камни.

Можно было не ложиться, если точно знать, что подстрелят... Апокалиптическая вспышка боли, потом уже ничего, чёрный бархат, пустота. Что будет дальше с его телом, с кадрами, репортажем — неважно. С незакрытой ипотекой. С Крисом, которому никто не будет покупать нужный корм, вообще никакой корм; скорее всего, просто выбросят. Хотя Крис и так одичал, как начались все эти командировки. Ничего, выживет...

Он лежал, вдавив подбородок в землю.

Хуже, если просто ранят. Особенно *туда*. Они именно туда чаще всего и целются.

Тогда он сам превратится в Крису. В кастрированного домашнего кота. С ним тоже немного повозятся и выбросят. С работы, из недоплаченной квартиры, из жизни. Да он... сам из неё себя выбросит. Статистика самоубийств среди раненых, недавно писал о ней.

Если бы они с Лёной решились тогда на ребёнка... То что? А если бы дочка? Ещё хуже. Забрали бы и увезли. На лечение. Как происходило это «лечение», он тоже знал.

Журналистом его сделала война. До этого он был... какая разница. Долго потом находил у себя бессмысленные визитки. «Артур Сергеев, фотограф-флорист». Работа спокойная, творческая. Ещё сам выращивал цветы, для себя, для души, для Лёны. Вёл блог «Миллион алых роз», около семи тысяч подписчиков. В основном подписчиц.

Он потерял её, эту работу, как многие тогда. Журнал, который он украшал своими снимками, сдулся. Можно было продолжать на фрилансе. Но снимать цветы на траурных венках было тошно. А они в основном были теперь только там.

После того, что случилось с Леной, он выбросил все цветы. Уничтожил фотографии. Все. Бедный Крис ничего не мог понять, забился под диван.

Сам пошёл и записался добровольцем.

Не для того, чтобы убивать *их*.

Для того, чтобы легально, на законных основаниях, исчезнуть самому, в пустоту и бархат. А *их* он тогда скорее жалел. Ненависть придёт и наполнит его позже, когда поймёт, что *они* — это уже не они. А тогда он ненавидел только самого себя. И всё, что напоминало о прежней жизни, что нельзя было быстро уничтожить, как цветы и снимки.

Их собрали и вывезли на учения. Огневая подготовка, рытьё окопов; он много курил и фотографировал. Потом их, недоученных, бросили на прорыв. Враг наступал.

Ранение было несильным, пулю извлекли быстро. Он (стыдно вспомнить) кричал и мазал слюной подушку. Но боль отрезвила его, заставила снова полюбить себя, своё тело, жизнь. Хотя бы немного. Он вернулся в Москву, забрал одичавшего Криса, прибрался в квартире. Последние перевязки ему делали амбулаторно.

Надо было на что-то жить, выплачивать ипотеку, кормить себя и Криса.

Как было совместить прежний опыт фотографа и блогера с новым? Он стал военкором. Быстро нахватал нужных знаний, словечек, знакомств. Стал реже бриться. Бороду пока не отпускал, Лена бы не одобрила...

Он честно пытался задушить память о ней. Почти задушил. Но она нет-нет покусывала его, эта память. Раз в год, в её день рождения, ездил на кладбище. Да, рисковал. Иногда там устраивались облавы на тех, кто навещал женские могилы, забывая о своём мужском самосознании, поддаваясь власти инстинктов. Он смотрел на единственную оставшуюся фотографию из *той* жизни. Лена с букетом цветов. Несколько раз собирался уничтожить этот снимок и не мог.

Сколько они так пролежали?

Ещё одна пуля. Что-то упало неподалёку.

Стало легко, Вагиф перестал прижимать его к земле.

Артур поднялся. Быстро, как ему показалось. Р-раз... Вагиф был уже на ногах.

Но вначале он увидел не Вагифа.

Хотя никакого «вначале» здесь не было, всё мгновенно. Р-раз... И всё-таки на полсекунды раньше он увидел её.

— Stand up! — гаркнул Вагиф на международном языке ненависти.

Она тяжело поднялась.

— Hands up!

Медленно подняла руки.

Покачнулась, махнула одной, пытаясь удержать равновесие. На земле, где она лежала, камни были тёмными и мокрыми. Она была ранена.

«Может, это мы, мы в этом виноваты?» — «Чем?» — «Не знаю.

Что-то делали не так, унижали, оскорбляли *их...*» — «Чем?» — «Не знаю... Не знаю!»

Откуда этот диалог?

То страшное тёплое лето. После вирусной зимы и вирусной весны. Когда уже начались военные действия, но жизнь ещё продолжалась. Как-то, где-то, кусками, отрывками. Он продолжал снимать цветы, ходить в качалку. Лёну прятал на даче, верил, что пронесёт. Главное, чтобы у неё не было контакта, никакого.

И сам пару раз тайком приезжал к ней. Не выдерживал. Это был риск, хотя каждый раз перед этим он сдавал тесты. Потом он проклинал себя за те два раза. Да, мужчины не болели, но могли быть переносчиками. Но она сама проговорила, что один раз выбралась через окно, дошла до реки... Нет, никого не встречала. «Точно никого?» — «Никого!» Как было проверить? Никак.

«Пойми, Арт, мы просто стали *им* не нужны. Мы, мужики. Впервые за несколько тысячелетий, за всю историю, не-нуж-ны. Мы бились над разными изобретениями, прогрессом... И добились. Теперь они могут спокойно обходиться без нас. Даже беременеть без нас, у них этой замороженной спермы знаешь сколько? А кто это изобрёл — технологию с её хранением? Они? Мы им это и изобрели».

Чей всё-таки это был голос?

Кого-то из друзей, у него они ещё были, пока не смыло войной. Один погиб. Другой бежал, неудачно, тормознули на границе; Артур скидывался на адвоката. Третий бежал удачнее, попал в «хорошие» списки, живёт в резервации, где-то под Мюнхеном. Одной из лучших. Продолжает заниматься программированием, а не только оказывает секс-услуги, для которых их там, по слухам, держат. Одно посещение резервации стоит... неважно сколько: у них своя валюта. Как обёртки от конфет, в руки взять противно.

Были ещё друзья, которые не погибли, не сели и не бежали. Просто исчезли из его жизни, как только ушёл в ополчение. Перестали лайкать, отвечать, узнавать. Он не осуждал. Не хватало сил ни на злость, ни на доброту; весь внутренне выгорел после Лены, после всего. Дружеского общения ему вполне хватало с глупым Крисом.

«Короче, наша миссия в *их* глазах выполнена, — голос звучал тише, но ещё можно было различить. — Удовлетворяться могут без нас. Рожать без нас. Детей (да не детей — девочек!) растить без нас... Тяжёлую работу... за них машины, а на что своих мозгов... пожалуйста, искусственный интеллект. А мы всё валим на этот вирус...»

Эти голоса иногда возникали в нём. Лечился от них коньяком; приходилось всё увеличивать дозу. Он хотел забыть. Забыть, забыться, уйти в чёрный бархат.

Она стояла, чуть покачиваясь и морщась от боли.

Заложников уже давно не брали. Ни та, ни другая сторона. Вначале, да, ещё брали. «Проявите гуманизм — победите онанизм», — хмуро шутили в окопах. Результат: разложение, измена присяге, венерические болезни. Теперь сразу пристреливают.

Вагиф быстро перешёл на русский, она понимала. Если вообще что-то понимала.

Блёклое осунувшееся лицо, стрижка под ёжик. Все они сейчас такие. Всего каких-то несколько лет, и красота слиняла. Теперь она им биологически не нужна. Для кого и для чего *им* быть красивыми? Тупой вопрос.

— Имя?

— Не помню...

— Номер войсковой части?

— Не помню. Длинный такой...

То же самое — на вопрос о местонахождении части и как сама тут оказалась.

— Понятно, — Вагиф почесал щёку. — «Чип и Дейл».

Артур кивнул. Да, чипированная. Таких последнее время всё больше. Тех, кто не хочет идти воевать, отлавливают и чипируют. Зомби, в бою страшны. Им же сигналы посылают. И беспомощны, когда выходят из зоны сигнала. «Не знаю... Не помню...»

Их сразу пристреливали. Расчипировать дорого, да и зачем?

Вагиф прицелился.

Она стояла, всё так же морщась и покачиваясь. Держась за окровавленную штанину.

Артур упёрся взглядом в землю. «Ну вот, и труп тебе будет...»

— Последнее желание!

Артур поднял глаза.

— Скажи своё последнее желание, — хрипло повторил Вагиф.

Она бесшумно пошевелила губами. Чуть прибавила звук:

— Подари... мне букет цветов.

Артур присвистнул.

— Меня даже так называют, — Вагиф шёл впереди. — Вагиф Последнее Желание.

Сплюнул.

— А начальство как на это? — Артур шёл следом, чуть прихрамывая.

— Начальство... Это оно у вас в телевизоре — начальство.

Она шла рядом, связанная, с кляпом.

Рана её больше не кровила, Вагиф ловко наложил повязку. «А, бедро чуть поцарапано», — говорил, обрабатывая рану. «Ты прям доктор», — не удержался Артур. «А я и есть доктор», — Вагиф поднял красноватые глаза. «Гинеколог?» (Артур встречал пару гинекологов, потерявших с началом войны работу.) «Сам ты — гинеколог... Лицевой хирург! Своя клиника. Лучшая в Гяндже, лучшая во всём регионе... Попадись она мне тогда, я бы из неё куколку сделал!»

Шли в какое-то ущелье «совсем рядом», где, по словам Вагифа, «можно нарвать этой дуре хоть сорок букетов».

— Человек должен иметь последнее желание, — обернулся Вагиф. — Даже если это уже не человек... Ну, давай быстрее! — подтолкнул её.

Артур поймал себя на том, что он даже в мыслях уже избегает слова «женщина».

В репортажах, ясно, его и не использовал. «Женщины» остались в прошлом; *эти* уже были просто *они*. Какое-то время *их* называли «инфицированными». Нет. И слово длинное, и вызывает ненужное сочувствие. Иногда называли «самками» (в ответ на «самцов» в *их* пропаганде), и даже «суками» (когда дела на фронте шли совсем плохо).

— И что, — Артур нагнал Вагифа, — все их желания выполняешь?

— Нереальные не выполняю. Так и говорю: «Сука, я тебе что, волшебник?» А если просила песню красивую поставить... Или выпить, и чтоб закуска достойная... Я же верующий. Верующий должен... Ты в какого бога веришь?

Ни в какого. Однозначно не в такого, который всё это допустил, может, даже спланировал, а теперь отсидживается в своём небесном бункере. Но влезать в спор Артуру не хотелось. Пейзаж изменился, исчезло обгорелое железо, появилась трава, первое живое дерево... Он просто хмуро улыбнулся.

— Вот и я говорю: бог — один, — продолжал Вагиф. — У нас Аллах, у вас, армян, Аствац. Оба на «а», на первую, главную, букву, видишь? И мы тоже оба на «а», азербайджанцы и армяне. Каждый себя первым чувствовал, кто из нас больше «а», кто больше первый... Ну вот, пришли. Покарауль её, я пока быстро нарву.

Шум ручья. Длинные, качающиеся травы, шершавые стебли. Цветы. Он узнал их. Примулы, азалии. Запахи и цвета прежней, мирной жизни, сладкие и жгучие. Сделал несколько снимков. С Вагифом, рвущим цветы. Без Вагифа.

Снимая, поглядывал на неё. Нет, смиренно стоит. Всё то же тупое, мёртвое лицо. «Спящая красавица». Какая уж там красавица... Даже когда Вагиф приспустил ей штаны, смазывая рану, Артур ничего не почувствовал, ничего мужского. Может, из-за вида крови; нечистых, слипшихся волос на лобке. Сейчас ей подарят цветы и прикончат.

Хотя, когда принц увидел спящую красавицу, она ведь, наверное, тоже была... После столетней летаргии, в этом замке, или где она там валялась. Пыли на ней накопилось, паутины. А он поцеловал её. И всё. Музыка, фейерверки, танцы.

Вспомнил Лену. Даже не «вспомнил»: Лена постоянно была в нём, в его теле; болела в нём на погоду, подступала комом к горлу, горячей тяжестью в паху. Был он виноват перед ней? Да, две измены. Точнее, три. Он был влюбчив с пелёнок. Трудно удержаться, когда ты фотограф, любишь цветы, охлаждённое вино (коньяк придёт позже) и отдалённо похож на известного актёра (теперь уже неважно, какого). Лена об изменах не знала. Чувствовала? Он продолжал быть нежным с ней, так ему казалось.

— «Нарву цветов, — пел внизу Вагиф, — и подарю букэ-эт! Той девушке, которую...»

«Букэт» Вагифа напоминал веник.

— Дай-ка сюда, — Артур протянул руку. — Доверься профессионалам.

Блеснул красным лаком швейцарский ножик. Артур подрезал стебли, листья. Складывал, глядел, сжав в вытянутой руке, снова складывал. Вагиф курил.

— Неплохо, — Вагиф погасил окурок. — Хочешь сам преподнести?

Артур помотал головой.

— Понимаю, — сказал Вагиф. Подошёл к ней.

Она всё так же стояла, щурясь то ли от боли, то ли от солнца.

— Разреши преподнести тебе... от имени нашего маленького мужского коллектива... этот скромный, но высокопрофессионально сделанный букет.

Говоря это, Вагиф смотрел в землю.

— Нравится? — Почти сунул ей букет в лицо.

Подержал, слегка покручивая.

— Будем считать, что нравится... Иди. — Это уже Артуру. — Иди по тропе, догоню.

Артур постоял, глядя, как Вагиф вскидывает винтовку. Стал быстро спускаться.

Выстрела он не услышал. Может, его заглушило падение камней, сначала один выскользнул из-под ног Артура, покатилося несколько, и ещё.

Взлетело несколько воронов.

В прошлой своей командировке он встретил солдата, который им поклонялся. Да, воронам. Оставлял им еду. Над ним смеялись: тут и без тебя для них жарчки полно. А тот всё равно кормил их. Отлил себе из свинца что-то похожее на птицу, носил на впалой веснушчатой груди: «От пуль охраняет», — показывал Артуру.

Артур не смеялся. В детстве бабушка несколько раз брала его в армянскую церковь; там было темно и печально. В русской церкви было веселее, но чувство беспомощности накатывало и там. Он послушно целовал иконы и старался скорее уйти.

С началом войны всё стало окончательно безумным.

Они создали свою церковь. С Богородицей, но без Христа; вообще без мужчин-святых. Уничтожали их изображения, имена. Он видел одну такую церковь на отвоёванных территориях. Ходил, вглядываясь в бесконечные женские лица на стенах, на иконах, пока в алтаре допрашивали священницу... В Москве тоже строили новые церкви, «мужские». Старые расписывали заново, замазывая ненужное.

С тем «воронопоклонником» он даже сделал интервью... Нет, зарубили в редакции, чтобы не тревожить чувства верующих.

Вороны, покружив, расселись по кустам, камням, обломкам железа. Пейзаж снова сменился на военный, стали слышны звуки взрывов. Вагиф не появлялся.

— Есть закурить?

Артур обхлопал карманы, достал. Вагиф улыбался.

— Что такой скучный? — Не прерывая улыбки закурил. — Подожди, закончится война... Она же закончится? Уже переговорами пахнет.

Пахло вокруг гарью. Возле раскуроченного БТРа натекла лужа солянки.

— Так не может долго продолжаться, — Вагиф шёл, дирижируя сигаретой. — Я со своей как иногда воевал, какие она мне устраивала... Соседи через два дома окна закрывали! Потом шёлковая была. А сейчас у них просто у всех вместе случилось, синхронно все оборзели. Но это долго не продержится.

Артур слушал вполуха, ныла поясница. О том, что ведутся переговоры, разговор шёл уже не первый год. Что вот-вот объявят перемирие. Что накрыли разработчиков вируса и их вот-вот будут судить. Что от них добились секрета то ли вакцины от него, то ли антивируса, и вот-вот это внедрят и всё закончится. Вот-вот...

— Закончится война... — Вагиф остановился. — Я снова открою клинику. Быстро восстановлю квалификацию. Даже не в Гяндже, в Баку открою. С филиалом в Москве. Оформим её твоими фотографиями. И буке...

Пуля, прозвенев, ударила в Вагифа.

— Вагиф!

Артур, измазанный кровью, сутился возле него. Рядом валялась аптечка, белел размотанный бинт.

Вагиф приоткрыл глаза. Взгляд был мутным и чужим.

— Вагиф, тебя спасут. Я уже вызвал людей.

Захотелось спросить, что он сделал с *той*. Пристрелил — или?.. Бред, конечно. При чём сейчас *она*? При чём этот букет? При чём её последнее желание?

— Вагиф... Скажи своё последнее желание.

Тот что-то пробормотал. Кажется, «помолись за меня». Или нет. Ещё что-то по-азербайджански. Началась агония.

Артур медленно обтёр кровь с рук.

Дождаться своих или идти им навстречу?

Машинально расчехлил камеру и сделал несколько снимков. Тело Вагифа, лицо Вагифа. Закрытые глаза Вагифа.

Отснято.

Зачехлил, пошёл, обходя мёртвую технику.

Ещё несколько пуль прорезало воздух. Он не стал ложиться. Вот и та двухэтажка, тяжело застучали выстрелы. Пусть стучат... Что-то взорвалось и загорелось.

Артур остановился.

Показалось сквозь повалившийся дым... перед ним стоит *та*, но с развязанными руками. Улыбаясь, держит букет.

Артур протёр глаза. Нет, показалось. Кажется, показалось. Да, скорее всего. Говорю, показалось! Бормоча слова бабушкиной молитвы, он пошёл, побежал, вперёд, сквозь облака бархатного дыма.

Тимур Максютов

Белый палач

Рассказ

Сначала меняются звёзды: они предчувствуют близкую гибель и бледнеют. Совсем как люди перед смертью.

Кровь отливает от щёк, от кожи, от конечностей; человеческий организм предчувствует проникающий удар и убирает кровь внутрь себя, чтобы потерять её как можно меньше.

Это работало сотни тысяч лет назад, когда человек ждал клыков саблезубого тигра или рогов взбесившегося буйвола.

И тысячи лет назад, когда неверный взмах бронзового меча обнажал бок, куда уже летел наконечник вражеского копья.

Но вообще не работает сейчас, когда туловище рвёт автоматная пуля, летящая со скоростью в три Маха. Хотя прячь кровь, хоть не прячь, — маленький кусочек металла разорвёт кожу, мускулы, артерии и вены, весь этот сине-зелёный ливер и бурые, прокуренные «Охотничьими» за шесть копеек лёгкие, расщепит нервы, заставляя их орать прямо в мозг о дикой боли и жутком желании жить, жить во что бы то ни стало, но мозг в лучшем случае быстро вырубится от шока, уменьшая страдания; однако душа твоя продолжит визжать, не желая расставаться с этим телом, с этим миром, уходя туда, где нет ничего, кроме ледяной тьмы и вечного молчания.

Я знаю всё это. Я, Сафед-чаллоди, так меня называют в Долине, знаю гораздо больше о смерти, чем мне хотелось бы.

Звёзды тоже не хотят умирать; они не понимают, что вернутся следующей ночью. Над изломанной линией гор небо начинает бледнеть, и бледнеют звёзды,

Максютов Тимур Ясавеевич родился в Ленинграде в 1965 году. Вырос в Таллине. Окончил высшее военное училище (1986), служил в Забайкалье, на Урале, в Монголии. Капитан запаса. Публиковался в журналах «Дружба народов» и «Новый мир». Автор сборников рассказов, книг для детей и романов «Офицерская баллада» (2016), «Князь из десантуры» (2016), «Нашествие» (2017), «Спасти космонавта» (2017), «Атака мертвецов» (2018), «Чешуя ангела» (2021). Лауреат ряда литературных премий, в т.ч. им.Н.В.Гоголя (2020 и 2022). Живёт в Санкт-Петербурге.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2024, № 8.

уходя; из них медленно вытекает кровь, окрашивая восток розовым, потом красным. Потом раскалённый шар разбухает багровым, как расколотый топором череп, и неспешно поднимается в зенит, чтобы властвовать над Долиной долго, вечно, до самого заката.

Солнце будет выжигать остатки травы, загоняя тощих овец в тень, будет испарять остатки влаги в арыках и накладывать чёрный грим на лица всех в Долине: аксакалов и бачей, аскеров и пленных.

Только меня не тронет. Потому что я Сафед. Сафед-чаллоди.

Даже Солнце брезгует касаться меня лучами. Я проклят. Когда я умру, я не попаду в рай к прекрасным гуриям, ждущим среди прохладных фонтанов. Я не попаду в ад, где вопли грешников, пламя и страдания, но хоть какая-то компания и какие-то впечатления.

Я уйду туда, где нет ничего, кроме ледяной тьмы и вечного молчания.

И предсмертных криков тех, кого я убил.

* * *

Деревня дедушки, куда меня в очередной раз сослали на летние каникулы, называется Николо-Берёзовка. Это старинное русское купеческое село на Каме, когда-то его окружали ров и вал с частоколом, а бородатые дядьки-ополченцы бродили ночами, раздувая фитили пищалей, гремя трещотками, и вглядывались во тьму, прислушиваясь: не звякнет ли сбруя коня непокорного башкирца, не зазвенит ли тетива дезертира-тептяря?

Сейчас в селе живут и русские, и татары, и башкиры, и удмурты с того берега, из Сарапула; живут своими обособленными кварталами. Хотя радио «Маяк» с шести утра и до полуночи вещает о едином советском народе и интернационализме, мальчишки всё равно собирают футбольные команды по национальному признаку. Матчи всегда заканчиваются драками, независимо от результата.

Бабушка говорит:

— Коленька, сходи на низ за хлебом. Шесть буханок возьми. Вот тебе рубль и авоська.

Низ — это нижняя часть села, старинная. Там заброшенная церковь Николы, поросшая берёзами, и центр жизни: клуб, сельсовет и магазин.

Только идти туда через татарскую улицу. Пацанов нет, они на рыбалку умотали. То есть идти придётся одному. И огребать в одно рыло.

Я ворчу:

— Бабушка, а в газете писали, что нельзя корову хлебом кормить. Неправильно это, не соответствует принципам социалистической экономики. Наши партия и правительство заботятся о том, чтобы у советского человека было вдоволь дешёвого хлеба, а вы его — корове!

Бабушка бледнеет, крестится.

— Да что ты, внучок! Какой корове? Сами съедим.

— Креститься, бабушка, тоже неправильно, потому что бога нет. А уж врать пионеру вообще почти контрреволюция!

Это запрещённый приём. Бабушка охает, становится блее простокваши

и падает на лавку. У неё за контрреволюцию расстреляли отца и брата, а саму отправили в специальный детдом, она только в войну смогла сбежать и вернуться в село.

Бабушка из-под передника вынимает кожаный кошелек, расщёлкивает железные шарики:

— На вот, Коленька, ещё двадцать копеек. Мороженого себе купи.

Я кую железо, не отходя от кассы:

— Полтинник!

Бабушка вздыхает, добавляет две монеты по пятнадцати.

За ворота я выхожу триумфатором. Хотя внутри грызёт: идти одному — почти наверняка нарваться. Могут и полтинник отобрать. Всё не станут, а полтинник — легко.

Нельзя одному.

На брёвнах сидит Маратка, книжку читает, зануда. Тоже на каникулах, из Москвы. Формально татарин, но отчим у него русский, так что по-татарски в семье не говорят. Маратку не признают ни русские, ни татарские пацаны: ничей он. И вообще москвич. Весь из себя начитанный, правильный, чистенький, ресницы как у девчонки — хлоп-хлоп! Позорище.

Но выбора у меня нет.

— Эй, Москва!

Марат испуганно захлопывает книжку, смотрит на меня, ёжится:

— Что, Николай?

— Какой я тебе, блин, Николай? Колька я. Ну-ка, закончи стишок: «Налетели, как грачи...» Ну, кто?

Маратка мнётся. Шепчет:

— Пидарасы-москвичи...

И немедленно краснеет. Вот ведь недоделанный!

Подхожу, хлопаю по плечу:

— Зыко ответил, правильно. Пойдём со мной в Нижнюю?

Маратка замирает. Неужто его признаёт за своего нормальный пацан?

— А что, надо помочь?

— Ну да. Шесть буханок тащить! Одному напряжно. А там мороженку тебе куплю.

— Ага. Конечно. Помогу. Только у тёти отпрошусь.

Я кривлюсь:

— Ты пацан или кто? Зачем тебе разрешение, ты же не малолетка, двенадцать уже. Пошли, пока зову.

— Да-да. Только книжку отнесу домой.

— Да кому она нужна, твоя книжка? Небось, не папиросы. Сунь под брёвна, и все дела.

Маратка замирает. Прижимает к груди книжку, словно это какое сокровище. Потом спохватывается, срывает лопухи, выбирает почище. Заворачивает книжку, прячет под брёвнами.

— Пошли уже, тормоз.

* * *

Думал, проскочим. Фиг там. Уже в конце улицы засвистели, из-за угла вывалил Альберт с шоблой, человек пять. Подумал, кранты.

— А чего это ты, иннян кутэ, по нашей улице ходишь? За дорогу платить надо.

Я сглотнул сухой комок. Стараясь не дрожать голосом и не частить, медленно оглядел Альберта. Сплюнул. Спросил:

— А ты что, кондуктор, за вход брать? Билетик оторвёшь?

— Оторву, — пообещал Альберт. — И билетик, и яйца. И зубы посчитаю заодно, а то у меня по математике переэкзаменовка, подучу слегка. Ты чё, борзый?

Любой мой ответ сработал бы, как детонатор, но я не успел: вдруг влез Маратик.

— Мальчики, не мешайте нам! Мы за хлебом идём.

Блаженный, вздохнул я про себя. Теперь точно уроют.

Альберт растянул щербатый рот в улыбке, оглядел свою кодлу.

— Это что за экспонат?

Шестёрка подскочил, ответил торопливо:

— Это Марат, племянник у Резеды-апа с Ключевой. Из Москвы.

— О! Татар кешесе?

— Да куда там, он с русскими...

— погоди, не таракти. Эй, Марат, татарща сейлешесенме?

Марат порозовел, хлопнул девчачьими ресницами и промямлил:

— Что, простите?

Улыбка Альберта завернулась за уши.

— Вот какой к нам пришёл чушка баласы розовенький.

Они начали окружать Маратку, закатывая рукава, обматывая кулаки ремнями, счастливо лыбясь.

Я сделал шаг. Ещё и ещё. Побежал в сторону Нижней.

Они даже не оглянулись.

* * *

Овец гонят на пастбище, где они будут выкусывать выгоревшие на солнце былинки. Овцы блеют обречённо, безнадёжно: что у них за жизнь? Жратва никакая, стригут наголо, потом зарежут. Всё как у людей.

Халима, прикрывая лицо, ставит передо мной чайник, кладёт сухую лепёшку. Я протягиваю руку, она испуганно отпрыгивает, боясь моего касания. Я глухо смеюсь. Или кашляю. Наверное, я совсем разучился смеяться.

Приходит раис кишлака. Садится в тень карагача, гладит белую, как хлопок, бороду, прикрывает глаза. Ему тоже противно смотреть на меня. Он молчит. Я тоже молчу, отламывая от лепёшки и размачивая в чае кусочки. У меня нет передних зубов: мне их выбили три года назад.

В этих горах жуткий дефицит протезистов, стоматологов, газет, радио. И вообще всего, что не влезает в границы пятнадцатого века.

Раис говорит:

— Сегодня двое. Офицер и солдат.

Мне всё равно, но раис зачем-то объясняет:

— Аббос-бек посылал людей договориться с шурави об обмене, но там была засада, наших убили. Поэтому ты казнишь пленных ножом, а Умар будет фотографировать. Пусть шурави увидят страшную смерть во всех подробностях, пусть их глаза наполнятся ужасом и лопнут, как перезревший виноград, пусть их желчь поднимется в их поганые горла и задушит их, да будут они прокляты вовеки. Ибо, видит Пророк, да процветает его имя в веках, мы не хотели зла, а хотели обмена.

Я морщусь. Я не люблю ножом, у меня нет навыков местных дикарей, с отрочества разделяющих бараньи туши. Опять будет много крови, а чапан мне новый не выдадут, как и штаны.

— Давай из автомата, а?

Раис кривится. Он говорит медленно, чтобы я понял чужой язык; слова падают тяжело, как капли крови из выпотрошенного тела.

— Ты забыл, кто ты? Ты забыл, почему ты здесь? Ты вдруг решил, что искупил вину? Так вот, твоё преступление не подлежит искуплению ни сегодня, ни завтра, ни через тысячу лет, потому что ад не примет тебя, потому что самого Иблиса вырвет гнильём, когда он посмотрит на тебя. Ты будешь резать своих соотечественников на куски столько, сколько тебе будет сказано. А когда шурави уйдут с нашей земли и тебе станет некого казнить, ты будешь каждый день отрезать от самого себя по куску мяса и сжирать сырым. Пока не кончишься весь. Потому что ты — Сафед-чаллоди, будь ты проклят тысячу тысяч веков.

* * *

Велосипед так себе: старенькая «Украина», тяжёлая и небыстрая, но всё равно машина. Вывел со двора, а тут — Маратка. Физиономия не розовая, а синяя, пальцы забинтованы, ковыляет боком. Прилично ему досталось, меня даже царапнуло холодным коготком где-то внутри, но я справился.

— Ну, чего тебе? Ныть будешь? Чего не убежал?

Маратка хлопает длинными ресницами, хоть их не выдрали.

— Что ты, Николай! То есть это, Коля. Я ведь тебя прикрывал, чтобы ты успел. Как я мог убежать? Это как солдата оставляют прикрывать отход товарищей, он должен погибнуть, но всех выручить.

Сплюнул. Реально блаженный. Отход он прикрывал, последний пулемётчик.

— И чего тебе надо?

— Посоветоваться. Мне не у кого спросить, кроме тебя. Мы же друзья?

— Друзья, друзья.

Маратка розовеет, это видно даже сквозь синяки.

— Такое дело. Бродячий мулла пришёл, это такой исламский поп, он у дяди Искандера сейчас живёт. Предлагает сделать суннет.

— Чего?!

— Ну, обрезание.

— Обрезание чего?

— Это такой обычай у мусульман.

— А, вспомнил! Это когда письку отрезают, мне Рамиль-абый в магазине рассказывал. Правда, пьяненький был. Врал, наверное. Кто же согласится в трезвом уме письку отрезать?

— Ну, там не всю письку, только кусочек.

— Всё равно, даже если кусочек, писька и так не шибко большая. Всё-таки вы, татары, странные, честное слово. Я бы ни за что.

— Кусочек кожи, с самого краешку. Словом, этот мулла зовёт, а я один боюсь, пойдёшь со мной?

Я чуть велосипед не уронил.

— Ты что, чокнулся? С чего вдруг?!

Маратка пылает розовым сквозь синяки. Удивительный какой-то овощ, словно баклажан поверх томатной пасты.

— Подожди, Коля. Он обещает три рубля денег...

— Что? Вот тут подробнее.

— Три рубля, килограмм пряников и живого зайца — выпаливает Маратка. — Деньги — ладно, но заяц!

— Да какой нафиг заяц! Три рубля. Подожди, я велосипед поставлю, и пойдём.

— Не сейчас, он сказал — вечером приходить. В шесть часов. Ты придёшь?

— Приду. Три рубля! Конечно, приду. Чёрт с ней, с писькой.

* * *

— Сосна-пять, я Берёза. Доложите обстановку.

— Берёза, я Сосна-пять. Выходим на кишлак, дистанция тысяча сто. Пехоту вижу, лежит.

— Само собой, лежит. Там дувал крайний, красноватый такой, из него пулёмёт работает. Видишь?

— Вроде вижу.

— Сосна, никаких «вроде»! Кишлак большой и мирный, это от Аббос-бека группа. Он раиса местного пристрелил и вошёл. Стрелять только при стопроцентной уверенности, слышишь? Никаких перелётов! Один осколочно-фугасный, и всё. Подойди ближе, насколько сможешь, чтобы наверняка. На четыреста, не больше. Чтобы по мирняку не прилетело. Ясно?

— Да ясно, Берёза. Не бздо.

— Николай, ты за речью следи. Отвечай, как положено.

— Берёза, я Сосна-пять. Задача ясна, приступаю к выполнению.

— То-то.

Задача, конечно, ясна. Вот только дураков нет в упор подходить, живо из гранатомёта прилетит. Знаю я этих «мирных». Все они духи, всех мочить надо.

— Наводчик, давай. По крайнему дувалу, там амбразура выбита. Чёрное пятно, сечёшь? Клади туда. Один осколочно-фугасный на всё про всё, второй попытки нет.

— Командир, погоди. Далеко. Ближе надо.

— А, салага! Слезай с табуретки, ссыкло.

Я поменялся местами с наводчиком. Положил ладони на «уши». Навёл. Нашупал кнопку.

— Заряжающий, осколочно-фугасным!

— Готово!

— Выстрел!

Снаряд поднялся по дуге, выше, выше — и разорвался где-то в центре кишлака, выбросив красно-чёрный фонтан горящих обломков.

— Чёрт, перелёт. Заряжающий, ОФ.

Пушка прыгает назад, танк приседает, гильза вылетает со звоном. Перелёт.

Что-то орала в ухо Берёза; я содрал шлемофон, завёлся.

Только на пятом выстреле понял, что забыл выставить в прицеле дистанцию.

Но было уже плевать.

— Осколочно-фугасный!

— Выстрел!

— Осколочно-фугасный!

Кишлак не было видно за чёрной стеной дыма. Я стрелял в это марево, ненавидя всё и всех: эти чёртовы горы, в которых либо жутко жарко, либо чудовищно холодно; зелёнку, из которой летит всякое дерьмо, бачей, швыряющихся камнями, рыжие остовы вдоль разбитых дорог, разбухшие на солнце трупы и трупы, скрючившиеся в арыках; густой жёлтый дым в башне, с которым не справляется вентилятор, тупого механика, слишком медленно едущего к кишлаку, тормозного заряжающего, всхлипывающего за спиной наводчика, и Берёзу, бормочущую что-то невнятное в брошенном под ноги шлемофоне...

— Осколочно-фугасный!

— Кончились, товарищ сержант!

— Кумулятивным давай!

Я припал к прицелу и увидел, как в замедленной съёмке: чёрная точка с четырьмя яркими плюмажами, цветущими крестом, всё ближе и ближе.

Крестом.

Всё, кирдык.

Потом меня тащили из башни. Потом пришли эти, из кишлака; я слышал и видел словно сквозь вату. Они что-то кричали, спрашивали; я догадался, что спрашивали, кто стрелял. Я ткнул в наводчика. Он не успел возразить, только вылупил глаза; дух махнул ножом, на горле наводчика появилась тонкая ровная линия, брызнуло алым; потом они выстрелили механику в лицо, и оно превратилось в яму, потом они отрезали кисти заряжающему и смотрели, как он орёт, глядя на обрубки. Потом подошли ко мне.

Я вдруг понял, что моя очередь. Что я сейчас умру, причём навсегда.

Я закричал:

— Брат, не убивай! Я ваш, мусульманин, вот те крест!

И принялся сдирать штаны.

* * *

Офицер долго не кончался. Не выл даже — повизгивал, словно поросёнок.

Умар отщёлкал плёнку и, довольный, пошёл заряжать новую.

Я вытер нож о чапан: всё равно безнадежно испачкан. Повернулся к солдату.

— Ко... Коля!

Румянец сквозь синяки, ресницы, как у девки.

Маратка.

Как же тебя угораздило?

Я сказал раису:

— Подожди. Этого я знаю. Он татарин, мусульманин. Его нельзя убивать, он же ваш.

Раис хмыкнул:

— Ты тоже мусульманин. Но ты не наш. Ты погубил столько детей и женщин, что никогда не сможешь искупить вину. Мы не убили тебя, но тебе самому не кажется, что лучше бы убили? Или тебе нравится резать на куски своих? Ты чудовище, собачье дерьмо чище тебя.

Я повернулся к Маратке, закричал:

— Снимай штаны, скорее! Покажи им.

— Что показать?

— Что ты обрезанный. Тогда пощадят.

Марат рассмеялся; это выглядело жутко. Передо мной смеялся труп.

— Коля, это ты обрезанный. Вспомни, я не смог прийти, меня тётя Резеда не пустила. Сказала, что пряников и так мне даст, а вместо зайца во дворе полно гусей, какая разница?

— Дурак! Ты дурак!

Я бросился к раису, упал на колени, целовал край его халата:

— Отпусти его, он ни в чём не виноват, он никого не убивал. Я вечно буду служить тебе, твоему кишлаку, твоему народу, только отпусти этого мальчишку.

Раис брезгливо вырвал край халата. Посмотрел на меня.

— Вечно, говоришь?

* * *

Когда приходит ночь и жемчужины рассыпаются на чёрном бархате.

Когда кони ложатся на землю перед рассветом в Час Быка...

Когда приходит рассвет и заливает багровой кровью небо...

Когда зима, когда лето, когда буран, снегопад и дождь...

Я, Сафед-чаллоди, Белый палач, обхожу землю Афганистана и собираю кости. Я пою колыбельные сгоревшим заживо младенцам, я баюкаю оторванные фугасками руки и вставляю в черепа вырванные глаза.

Их много. Миллионы.

У меня вечная работа.

Настасья Реньжина

Ходун

Рассказ

Жили-были муж и жена. Илья и Марья. Жили как все: не бедно — не богато, не сладко — не горько, не в счастье — не в печали. Имели двух детей — сына да дочь, двух же коров, трёх свиней и с десяток куриц.

Жена всё по хозяйству хлопотала, за скотиной ухаживала — всё на ней. Молоко с куриными яйцами продавала, тем и зарабатывала, так и семью содержала.

Муж работал-работал, а потом в один день без работы остался. Кончилась вся. Направо сходил — нет там работы, налево сходил — и тут пусто, прямо и даже назад заглянул, но и там ничего не нашёл. Нет её в деревне, а за деревню выходить — это уж страшно, это уж далеко, так уйдёшь и назад не воротиться.

Вот и сидел себе муж целыми днями на лавочке, детям игрушки деревянные вырезал да иногда по соседям дрова за двести рублей в день колот.

Но тем семью не прокормишь.

Жена на мужа ворчала, куда деваться. Он обижался, потому как делал всё возможное, но ничего не получалось. В такие дни они детей ссорами своими пугали, из комнаты убирать приказывали, а после и сами по разным углам расходились. По утру друг с другом не разговаривали, но к обеду обиды забывали.

Так, глядишь, себе и жили бы, если бы не война.

Муж про войну по телевизору слушал-слушал, слушал-слушал, от соседей слушал-слушал, слушал-слушал, потом вещи собрал, в военкомат сходил, а оттуда — на фронт.

Жена погоревала-погоревала, дети поплакали-поплакали да и смирились. Что ж поделать — на то отцовская воля.

Стали дальше жить. Отца да мужа с войны ждать. Эсэмэски ему слать. Ответные всей семьёй вслух зачитывать, а если что героическое попадётся, так и по соседям с телефоном можно пройтись.

Настасья Реньжина (Реньжина Анастасия Олеговна) родилась в Чагодошенском районе Вологодской области. Окончила отделение журналистики Вологодского государственного Педагогического университета. Автор книг «Бабушка сказала сидеть тихо» и «Сгинь!» (Эксмо). Живёт в Москве. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

Полгода прошло. Год прошёл. Эсэмэски от мужа пропали вдруг. Перестали приходить, и всё тут. Марья на себе волосы рвала, из угла в угол ходила, а рыдать боялась: что ж плакать, если муж просто не пишет. Вот если бы умер, тут другое дело, а раньше смерти слёзы не лей. А так кто ж его знает — может, телефон сломал или потерял, а где ж в окопе новый раздобудешь.

Чай, не в сказке — в бою.

Первый раз пришла похоронка в марте. Жена её прочла и в печи сожгла. Не поверила. Это ошиблись. Это не про Илью. Это не Марье.

Второй раз пришла похоронка в мае. Жена немного помаялась: похоронку прочитала, под лупой рассмотрела — не поддельная ли, да не поняла ничего. На денёк между поленьев её положила, вдруг исчезнет — вот и уйдёт беда. Поутру встала — на месте похоронка. Взяла и эту сожгла.

Третий раз пришла похоронка в июне. И только тут поверила жена, что нет мужа в живых. Детей подозвала и зарыдала:

— Сиротинушки вы мои! Расти вам теперь безотцовщиной.

Дети тоже поголосили, хотя толком не поняли, отчего мать плачет, зачем сиротинушками обзывает.

По ночам жена в подушку утыкалась и бормотала:

— Хоть бы ты вернулся. Хоть бы вернулся.

Верила ли в возвращение, нет ли — всё равно. Бормотала своё:

— Хоть бы ты вернулся. Хоть живым, хоть мёртвым.

Тело-то мужнино так и не отдали. Похоронок аж три штуки прислали, а то, что хоронить нужно, себе оставили.

Так и стала жена без мужа жить. Месяц жила, два жила, полгода жила, год жила. Привыкла без мужа. Из жены во вдову превратилась.

Чёрное да серое носила, цветные платья в мешок да под кровать убрала. На других мужиков не заглядывалась: это нечего, когда двое деток имеется. Да и заглядываться не на кого, все нормальные мужики в деревне давно разобраны, а ненормальные ей не надобны. А ненормальные — это пьяницы да дураки. К чему с такими водиться?

Соседка, баб Глаша, говорила ей:

— Ты молода ишшо. Самый сок. Мужичонку бы тебе, да покрепше.

А вдова рукой махала и морщилась:

— А ни к чему мне это, баб Глаш.

Та не унималась:

— Давай хоть на любов погадаю, на суженого поворожу.

Вдова головой лишь качала:

— Мне твоих заговоров и гаданий не нужно. Боюсь я такого. Ты лучше вон другим гадай, а от меня с таким отстань.

Долго ли, коротко ли, муж вдруг домой и впрямь вернулся.

— Встречай, — говорит, — жена, мужа своего.

Вдова обомлела, не знает, как обратно в жену обратиться.

Обнять мужа или не обнять? Расспросить, где пропадал, или не расспросить? Чёрт его поймешь.

На стол накрыла, ложку дала, а сама сидит и смотрит, как муж ест.

А он тарелку супа чуть ли не разом выпил. Добавки просит. Жена налила ещё, он и эту тарелку проглотил махом. Хлеба полбуханки съел. Ишь какой голодный.

Поел и спать улёгся, да на трое суток. От храпа дом трясся, дети ночевать по друзьям разбежались.

По деревне шустро слух побежал, что Илья вернулся. Соседи, близкие и дальние, мимо дома то и дело ходят, не ленятся и крюк сделать, всё в окно норовят заглянуть. Встанут возле калитки и разговоры говорят — надеются, что выйдет хозяин, что получится на него хотя бы мельком глянуть.

А хозяин из дома никуда. Выспался, отъелся — ничего-то ему больше и не надо. Слезает с кровати, садится за стол, так весь день и сидит, слова не вымолвит.

— Ты б пошёл к соседу, что ли, в гости, — советовала жена.

— Нечего, — отрезал муж.

— По деревне прогуляйся.

— Нечего.

— В реке сходи искупаться.

— Нечего.

Всё ему нечего, что ни предложи.

Случилось так, что на дальнем краю деревни Алексей помер. До пятидесяти не дожил всего месяц. Не справить теперь ему юбилей.

Жена мужу и говорит:

— Надо бы проститься с Алексеем.

— Нечего.

— Вы ведь в одном классе учились.

— Нечего.

— Он не раз тебя, да и всех нас, выручал. Помнишь ли, то в райцентр Мишку с ангиной возил к доктору? А как из области Дашке шубу привёз, когда мы с ползими достать не могли?

— Нечего.

— А как из проруби тебя вытащил, когда вы ребятами были! Забыл, что ли?

Тут муж призадумался, словно вспомнил, как уходил под лёд, как отказали мгновенно руки и ноги, как промёрз до самого нутра, сосульки словно бы аж по позвонкам повисли. А Алексей в воду окунулся и Илью за ворот вытащил. И взрослых позвал, чтоб скорее в тепло отнесли. Так и спас.

И согласился тогда Илья проводить его в последний путь.

Но пошёл как-то нехотя, будто на поводке тащили. От света солнечного щурился, людей сторонился. Да и от жены на два шага отступил, словно не вместе они.

К Алексею пришёл, в дом заходить не стал, слов поддержки родственникам не произнёс. На пороге встал, и ни взад, ни вперёд. А как Алексеева жена причитать начала, так Илья загоготал во всё горло. Пришедшие с покойником проститься и безутешные родственники смолкли разом, шеи в плечи втянули,

на хохочущего уставились испуганно. Что это он надумал да в своём ли вообще уме?

А Илья оттоготал своё и на улицу вон.

Жена за ним. Неловкая, стыдливая, покраснелась вся. За мужем вслед идёт, окликнуть боится, на спину его широкую смотрит, замечает, что муж ссутулился весь, чуть ли не огорбел. Давно ли?

У калитки решилась — поравнялась в Ильёй. В глаза ему заглянула, а те пустые-пустые и словно мимо мира смотрят.

— Ты чего смеялся-то? — жена мужа спросила.

А он плечами пожал и говорит:

— Да я на Алексея как глянул с порога, так увидел, что возле гроба его черти ходят, в рот залезть хотят, а не получается. Ну я и заржал, чтоб чертей прогнать.

Говорит это, а сам ухмыляется. Жена и донимать больше не стала. В дом зашла, дверью хлопнула.

А по деревне новый слух стал расползаться. Марье тот слух баб Глаша принесла, но не на блюдечке и без голубой каемочки.

— Муж-то твой и не муж вовсе, — говорит. — Ходун это.

— Ходун? — удивилась Марья. — Это что значит?

— А то, что помер он давно. Похоронки не ввали. Нееееет. Из мёртвых восстал и мертвецом к тебе припёрся. Пять лет с тобой отживёт, потом скотину сожрёт, затем детей, а после и до тебя доберётся.

— Да ну тебя, баб Глаша! — отмахнулась Марья.

— И косточек не оставит!

— Да ну тебя...

Отмахнулась, а сама бояться стала. За мужем в оба глаза с этого дня смотреть начала. А тот и впрямь какой-то прожорливый сделался: что ни положи, что ни приготовь, ему всё мало. И молчалив, не то что в прежние времена. И по ночам не лезет — не ластится, словно женские прелести перестали его интересовать. Про детей уж и вовсе лучше не говорить: тех для мужа вовсе не существует.

Деревенские Илью после Алексеевых похорон совсем в обход. Мимо дома если идут, трижды крестятся. Ночью круга дают, к калитке не приближаются. Днём в гости не заходят, а уж если что очень понадобится, так под окнами кричат, сами же за спиной кол осиновый сжимают. Это мужики не поленились — в лес сходили, осины наломали да на всю деревню кольев навыстругали.

Илья в магазин однажды вышел — нужда заставила, так все из магазина и повывбежали. Продавщица осталась, сама тряслась вся, что осиночка, кол от которой она дома оставила-забыла.

— Свят-свят, — в лицо Илье сказала.

Перекреститься захотела, а сама и руки поднять не может. Кое-как отпустила мертвеца. Потом при всей деревне долго недоумевала, зачем это неживому сигареты вдруг понадобились. Порешили дружно, что в аду сигарет не дают: подкурить есть от чего, а подкуривать нечего.

Ребятишки за Ильёй следом бегали и дразнились:

— Мертвец! Мертвец идёт! Мертвец идёт! Мертвец-мертвец!

Мамки на них шикали, за руки хватали, крапивою стегали, приговаривали:

— Не бегай за мертвецом, поймают и съест. Не бегай за мертвецом!

Мужики руку Илье перестали подавать — боялись мертвечиной пропахнуть.

Ну или, того хуже, что утащит с собой на тот свет. На том свете даже мёртвому товарищ нужен.

Жена за мужем смотрела без конца: вот тень не отбросил, в ночи в зеркале не отразился, от огня подальше держится, под Красный угол не сядет, в церковь не ходит, церковные свечи в доме жечь запрещает.

И всё жрёт-жрёт-жрёт-жрёт. Когда уж и наестся досыта? Неужели тогда, когда всю скотину пожрёт, детей проглотит, а после и жену свою?

Марья годки посчитала с тех пор, как муж вернулся: четвёртый уже почти к концу подошёл.

Испугалась.

Запаниковала.

К баб Глаше побежала.

— Баб Глаш, а что нужно, чтоб от ходуна избавиться?

— Ага, признала в муже ходуна таки, — протянула баба Глаша.

А жена глаза потупила, щеками покраснела:

— Да не. Да я так. На всякий случай.

Баб Глаша понимающе кивнула, донимать несчастную не стала.

— А нужно в полночь пойти в хлев, — рассказала. — При порожке оставить кружку молока да ломоть хлеба для овинника. Говорить ничего не надо, а то выйдет овинник, заболтает, за собой уведёт. Оно тебе надо? А умаслить его надобно, чтоб не злился, что по ночам по хлеву шастаешь. Свиньям в корыто воды из колодца налить и яблоч с дикой яблони побросать туда.

— Так уж и яблоч нет, — растерялась Марья.

— А я тебе сушёные дам, тоже сойдут. Как раз для такого случая приберегла.

Как знала.

— Хорошо.

— Ой, — всплеснула руками баб Глаша. — А корыто-то у тебя деревянно хоть?

— Деревянное, — подтвердила Марья. — Ещё Илья вырезал из цельной осины.

И добавила:

— Пока жив был.

— Царствие ему небесное, — кивнула баб Глаша. — Это очень хорошо, что деревянно. А что сам строгал, так и совсем замечательно. Ты дождись, чтоб свиньи всю воду вылакали, яблоки подьели. После корыто бери и в дом тащи. В следующие после этого тринадцать часов надобно будет корытом ходуну по рукам ударить и сказать: «Ступай откудова пришёл!» Вот и всё. Он и сгинет тут же.

— Так тяжёлое корыто же, — растерялась Марья.

— А ты что думала, — развела руками баб Глаша.

Той же ночью отправилась Марья в хлев. Хлеб взяла, молока — всё как полагается. В коридоре ведро прихватила, протащила с ним до конца улицы — только там колодец ещё сохранился, а так во всех домах уж сто лет как водопроводы.

Чуть расплескала колодезную, но донесла. Яблоки сушёные все до единого в ведро высыпала. Они размякли немного и тонкий аромат распространять стали. Перепрелого, перезрелого, пережитого. Вдохнуть и оставить бы внутри навечно.

Зашла в хлев, а сама боится — вдруг овинник и впрямь выйдет да с ней заговорит. Этак же и в обморок грохнуться со страху можно.

Свет скорее зажгла. Свиньи недовольно захрюкали — кто это там посмел их в неурочное время потревожить?

Хозяйку увидели, успокоились.

Хозяйка им воды в корыто налила, с трудом управилась: свиньи будто назло толкались, ведро пяточками поддеть пытались. Проклятые!

Воду выпили, яблоки выловили. Отступили.

Взяла Марья корыто и потащила. Корыто и впрямь тяжёлое — руки вмиг устали. Марье так плакать захотелось, что еле сдержалась. Глаза к небу подняла и прошептала:

— Помоги мне, Господи.

А Он не поможет. А Он в колдовских делах не участвует.

До крыльца еле-еле допёрла корыто, тут и бросила.

В дом вошла, спать улеглась, лишь с зарёй пробудилась.

Над завтраком хлопотала и считала в уме: «С полуночи тринадцать часов — это до часу дня будет. Сейчас восемь. Время есть ещё».

Сама всё понять не могла: как она эту колоду злосчастную поднимет да ходуну на руки уронит.

Вот он за столом, руки — на столе. Так высоко колоду не задрать ей.

Вот он к печи перебрался, руки на лавку положил. Уже лучше, да всё равно высоко. Да и как колодой по дому грохотать? Заметит же, догадается. Съест вперёд скотину и детей.

Так утро всё продумала, уж к обеду день катится. Решила тогда ходуна обхитрить.

— Илюша, — говорит ему. — Я там на улице колечко обронила обручальное, а глаза совсем не видят. Ты не поищешь?

— Поищу.

Сама колечко-то давно с руки сняла и в шкатулку положила: не могла носить при мёртвом муже.

Ходун на улицу, Марья за ним. Тот по двору принялся бродить, ногами шаркать, только пыль поднял столбом.

Нет, этак с ним не справиться.

— А ты на ошупь, Илюша, — подсказала Марья. — Я б и сама, да вот спину прихватило.

— Хорошо.

Какой-то он слишком покладистый. Вот уж точно — не муж он. Муж бы давно в Тридевятое царство послал. Ещё бы и затрещину отвесил — так, для профилактики. Чтоб не лезла с советами под руку.

Ходун на четвереньки опустился, по земле стал руками шарить. Марья же корыто схватила — уж где и силы нашлись — подняла его высоко и по рукам ходуну огрела.

— Ступай, откуда пришёл!

Ходун заголосил, на землю сел, руки к груди прижал. Руки посинели, но больше ничего не случилось — не исчез он, не провалился в преисподнюю.

— Ты что творишь, дура? — прошипел.

— Я думала, ты — ходун, — пролепетала та.

— Кто, блин?

— Ходун, — еле слышно сказала жена. — Вся деревня про тебя говорит...

И осеклась. И замолчала.

Илья от шока отошёл и заорал на жену:

— Ну ты и дура! Вот так дура! Суеверий дурных наслушалась, сказочкам деревенским поверила и родного мужа без рук оставила! Ну надо же душой такой быть! Двадцать первый век на дворе, а она всё в ходунув каких-то верит! Вот дура!

— Но похоронки же... — растерялась жена.

— Да ошиблись! Я куртку товарищу дал, в ней документы были. А он взял и покурить вышел, тут в него пуля и прилетела. Там у нас вообще такое началось. В заварушке не разобрали, кто жив, кто мёртв. Вот тебе похоронки и слали.

— А телефон...

— Что ж я, потерять не могу?

— Мог бы и с чужого позвонить.

— А я вот номер твой не помню.

Жена Илью в травмпункт отвезла. Там сказали, что шесть пальцев на обеих руках переломано. Два гипса наложили, сделали вид, что в случайную травму поверили.

Жена мужа обратно в дом привела, с ложечки накормила и долго-долго извинялась.

По сей день своего прощения не выпросила.

Евгений Резниченко

Куда ж нам плыть?

* * *

Когда мы возвратимся из похода
И с корабля сойдём на нашу землю,
Доспехи сбросим и лицо омоем
Лазурною водой родного моря, —
Что делать нам? — Подумать ли о том,
Что тысячи невинно убиенных
Тревожить будут память по ночам,
Что тысячи смертей прилипли к телу
И отодрать их можно только с кожей,
А собственную смерть в чужой стране
Мы не нашли. Хотя была надежда. —
Подумать ли? — Подумать. А затем
Раскрыть объятия для детей и жён,
Которые лишь только ждут сигнала,
Чтоб разорвать на части наш отряд
И растащить по семьям, по домам.
Так хищники на части рвут добычу
И тащат в норы. Каждый во свою.

На опустевшей пристани Отчизны
Пустой корабль раскачивает море.

Резниченко Евгений Николаевич — родился в 1961 году на Украине в г. Сумы. Окончил в 1987 году педагогический институт. Работал учителем, директором школы. С 2000 года занимался издательской деятельностью (издательства «Летний сад», «Совпадение», «Центр книги Рудомино»). С 2011 года возглавляет Институт перевода. Автор сборника «Стихотворения и песенки на всякий случай» (М., 2014), публикация в «Литературной газете» (2019). Живёт в г.Чехове. В журнале «Дружба народов» печатается впервые.

И наши жёны подадут к столу
Трофейного вина, заморских яств
И горькие домашние лимоны,
Созревшие в родной земле без нас.
И станем насыщаться мы в молчанье...
Взойдёт луна. И мы начнём рассказ
О том, как жили в этот страшный год,
Зачем и почему мы победили,
А слуги, жёны, дети, старики
Внимать нам будут с затаённым страхом,
Пока не захлебнутся свечи воском
И все увидят лик богини войн,
Светильником священным озарённый, —
Единственное светлое пятно
В огромной зале. И уйдёт луна.
Что делать нам? Услышать шёпот жён,
Спровадивших детей и слуг,
Желающих спокойной ночи старцам?
Узнать прикосновение губ родных
Иль не узнать? — Но нежная рука
Сильнее отнимает от подушек
Вином тела налившиеся наши, —
Чем боевой рожок бойцов у сна.

И наши жёны в спальню вводят нас.
Нас в нашу спальню. Сколько здесь бывало
За этот год, мы узнавать не станем —
Мы знаем сколько. Значит, никого. —
Для тех, кто возвратился из похода.
И наши жёны станут нас любить
И будут это делать до рассвета,
За свой сперва оправдываясь блуд,
Затем терзая нас за всех наложниц,
Которых истерзали мы за год,
Затем любя, затем в животной страсти,
Затем уже бесчувственно, для ритма,
Потом чтоб было больно, чтоб до крови,
Чтоб закричать, чтоб задышаться,
Насиловать свою любовь к любви
И наконец-то разбудить мужчину,
И разозлить животное, чтоб он
Забыл о коже с липкими смертями,
Вдавил жену в постель, уже сырую,
И нового ей сына подарил бы,
Раз старшего в очередной поход
Возьмёт. Хотя об этом и не знает
Пока ещё. Но знают наши жёны.
От наших жён все беды, вся любовь.

Проснёмся, словно мы не убивали
Чужих детей и города не жгли.
Что делать нам? Пахать и сеять, жать,
Сжимать в объятьях жён, потом служанок,
Потом пуститься в пьянство, а потом
Капризам жён стыдливо потакать,
Пока они в конце концов не скажут
Что месяц уж беременны. Потом
Что делать нам? Пойти на берег моря,
Да навестить знакомых кузнецов,
Да попросить их выковать доспехи
Для старшего, который девок портить
Уже горазд, а по уму — младенец
И знать не знает, что слабейшим местом
И пятка может быть у человека.

Но вот последний мира день наступит,
Хотя об этом только наши жёны
Лишь знали. Потому — лишь наши жёны
Испытывают вдруг недомоганье,
Твердят что роды не переживут,
Что от одних лимонов молоко
В груди их напряжённой верно скиснет
И как тогда ребёнка им кормить,
Что медицина запрещает близость
Вот именно с сегодняшнего дня.

Что делать нам? Оружие готово,
Корабль просмолен. Жёны не дают.
Поднадоел родной земли уют.
Куда ж нам плыть? Куда-нибудь, где снова
Надежда есть, что не вернёмся мы
На этот берег, к пристани вот этой.
В согласье с планом собственной жены
Морской мой путь окончен будет Летой.
Что делать нам? Лишь, восхищаясь прытью
Любимых жён, готовиться к отплытью.

Мы с берега восходим на корабль,
Спиною слыша песни, причитанья.
Но поздно нам оглядываться, поздно.
Мы в новый собираемся поход.
За новыми смертями, новостями
И за своею собственной смертью.
Найдём ли мы её? Но есть надежда.
Куда ж нам плыть?..

Надежда Келарева

Скоропостижнее, чем смерть

* * *

Не просто что-то сделать, а посметь,
Как выскочить из бани на морозе,
Здесь жизнь скоропостижнее, чем смерть,
И воздух, зябкий, до краёв занозен.

Здесь сводит пальцы, но влечёт вода,
Везде вода: куда ни глянь. А гляну,
Покажется: два древних великана
Трясут Неву ковром туда-сюда.

Я буду содрогаться вместе с ней
...Экскурсии по рекам и каналам...
И ощущать созвездие камней
На глубине, которой слишком мало.

* * *

Закалённым деревьям,
Закованным в тени дворам,
Что могу,
Кроме горсти шагов торопливых,
Шагов обмелевших?
Здесь зима не зима, пробиваются
Чёрные плечи
И усопшей травой
На моём доживают бегу.

Келарева Надежда Александровна — родилась в 1998 году в г. Онеге Архангельской области. Окончила Санкт-Петербургский государственный университет по направлению «филологические основы редактирования и критики». Публикации в журналах «Звезда», «Север», «Урал», «Новый мир» и др. Участница мастерской АСПИР (2024). Живёт в Санкт-Петербурге.

Здесь земля не земля
С разбодяженным небом впритык.
Бельевые верёвки, ветров нахлебавшись, качают
Немоту.
Что могу?
Только дёрнуть тревожно плечами,
Не достав
Закалённой,
Мерцающей высоты.

* * *

С утра увязнув в тишине по пояс,
Захочешь взять и вырваться отсюда.
Нагрянет мысль:
Угодить под поезд
Гораздо проще, чем намыть посуду.

Подумаешь и схватишься за губку
И ухмыльнёшься, натирая ложку,
Дивясь обыкновенному поступку
И самому себе дивясь немножко.

* * *

Поскользнувшись, угодить во тьму,
Провалиться по недоразумению, что ли,
И увидеть, как в слепом дыму
Тянут тени тихое застолье.

И угрюмо водка льётся с крыш,
И душа почти неощутима,
Но до исступления сидишь,
Радуюсь, что жизнь проходит мимо.

Или так: уже давно прошла,
Но ещё похожа на начало,
Потому и дремлешь у стола,
Словно у последнего причала.

Кто-то близкий, стоя у икон,
О тебе задумавшись, заплачет
И обнимет сквозь тяжёлый сон
Светом, исцеляющим незрячих.

Елена Гордеева

Три ранения лейтенанта Мареева

Воспоминания дочери

От автора

Когда мой муж, лейтенант-двухгодичник, демобилизовался и вернулся уже старшим лейтенантом, мой отец, вернувшийся инвалидом с Отечественной войны, говорил, что его военная карьера сложилась не так удачно: он дослужился только до лейтенанта. Отец много рассказывал о том, как именно ему служилось — с сентября 1941 по август 1943 года. И мы, его бывший зять, его сын, внучки и я, — помним эти рассказы. А мне удалось ещё и записать их. Да, год лейтенантской прозы истёк. Да, записи делала дочь, а не сам лейтенант. И всё же.

Первая порция осколков настигла ещё не лейтенанта, а рядового Мареева на Волховском фронте в феврале 1942 года. Полевой хирург извлёк три: один из левой стопы, два из левого бока. Наркоз был местный, врач не очень трезвый и сильно усталый. Усталость девятнадцатилетнего бойца была, наверное, ещё сильнее. Покуда шла операция, он то и дело засыпал и просыпался не от боли — вздрагивал всякий раз, как доктор бросал в ведро осколки. Они гулко звякали, и раненый запомнил три звяка. В госпитале города Рыбинска не слишком глубокие раны стали быстро заживать, и примерно через месяц выздоравливающий сделал первые четыре шага без костылей. Ещё через месяц выяснилось, что он заметно хромот, хотя нога уже не болит. Видя, как поправляющийся ковыляет, медики говорили: «Молодой человек, можете не стараться, мы всё равно отправим вас на фронт». А боец Мареев как раз очень старался не хромоть — не хотел выглядеть убогим.

Гордеева Елена Сергеевна. Окончила факультет русского языка и литературы МГПИ (ныне МГПУ). Работала в Якутии, в поселковой средней школе, в издательстве «Советская энциклопедия» и в районной библиотеке. Автор книги «Плоды шекспиролюбия» (ОГИ, 2014). Печаталась в журналах «Знамя», «Интерпоэзия» и других. Живёт в Москве. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

Из госпиталя Сергея отправили на командирские курсы. Там он тоже хромотал: и когда нужно было ходить, и когда бегать (не стометровку, а километры, и не с пустыми руками, а с миномётом). Мешал четвёртый осколок — самый большой, не обнаруженный коротким зондом полевого хирурга. Его увидели только через полтора года на рентгеновском снимке — рядом с позвоночником.

Второе ранение почти не хромотавший младший лейтенант Мареев получил в бою под Сталинградом. Пуля пробила обе ноги выше коленей, осталась в ватных штанах и чувствовалось, что она горячая. Сергей пополз к своим, встретил санитаря, тот посадил раненого на спину и понёс. Марееву казалось, что он слышит, как кровь течёт в сапоги и булькает там. В палатке врач обругал санитаря: зачем подобрал бойца не из своей части? Ноги перевязали, в госпиталь отправили, медалью «За оборону Сталинграда» отметили... Выписавшись, Мареев получил звание лейтенанта, стал командиром миномётного взвода и дошёл до того места под Полтавой, где был ранен в последний раз. Об этом он рассказывал жене и детям не единожды, иногда пропуская известные им подробности, иногда вспоминая ещё неизвестные. И теперь, через годы, внимательная дочь старается вспомнить всё и выстроить слышанное в правильный рассказ.

В ночь с пятнадцатого на шестнадцатое августа 1943 года под городом Полтавой лейтенант Мареев сидел в окопе и, вооружившись полевым биноклем, наблюдал частичное затмение Луны. На рассвете шестнадцатого миномётный взвод Сергея вместе с пехотой пошёл в атаку. Бой был спланирован крайне безграмотно — так говорил отец. Бежали под пулемётным огнём, и многим удалось добежать до первой линии вражеских окопов. В одном окопе атакующие обнаружили троих немцев и двоих, сопротивлявшихся, убили, третьего же, очень толстого, взяли в плен. Когда пленённого выводили из окопа, он нёс под мышкой кирпич белого хлеба. Советские солдаты дивились тому, сколь жирен враг и сколь бел его хлеб.

Дальше атакующим нужно было дойти до вершины холма — метров двадцать, практически безопасных, спуститься в широкую балку и из неё — в заросший кустами овраг. Отдышаться, выбраться и лезть вверх по склону второго холма. Как только бойцы начали спускаться, противник открыл густой миномётный огонь. Сначала мины перелетали со свистом; Сергей изображал этот свист и показывал, как при взрыве осколки расчерчивали дёрн во все стороны. Бегущие понадеялись, что доберутся до оврага, пока противник корректирует стрельбу. Бить из миномётов по оврагу было невозможно — слишком близко. Не добрались. Мины перестали свистеть и бухаться позади. Теперь они ритмично шуршали и взрывались рядом — с громким сухим треском и выплеском противной химической вони. Пришлось лечь на землю и начать окапываться. Когда зашуршала *его* мина, Мареев ткнулся лицом в вырытую ямку и закрыл руками голову. Мина взорвалась на левом плече Сергея. Так ему показалось. На некоторое время он потерял себя, и это было первым пробелом того пунктира, в который месяца на два превратилось его сознание... Очнувшись, он обнаружил, что из плеча льётся кровь, и не заметил, что осколки попали ещё и в голову. Сергей снял португезу и сделал из неё перевязь для левой

руки; сапёрную лопатку, личное оружие, бинокль, полевую сумку с письмами из дома и необходимыми вещами оставил там, в обстреливаемой балке. И пошёл к своим. Он мог заблудиться, потому что был контужен и соображал с огромным трудом. Надо идти туда, куда летят мины. Для начала это служило верным ориентиром.

Кости в развороченном плече тёрлись друг о друга. Чтобы уменьшить противное трение, приходилось держать левую руку правой. Он видел, как впереди и с боков от него разлетаются на куски металлические цилиндры, полные вонючей мерзости, ощущал запах от взрывов и горько-солёный вкус во рту, осязал, как течёт кровь, внимал шестому чувству и ничего не слышал. Из ощущений была ещё боль, но она не казалась очень уж важным обстоятельством. Шестое чувство говорило: ты не умрёшь, ты не умрёшь, ты не умрёшь. Точнее было бы: ты выживешь, ты выживешь, ты выживешь. Но раненый брёл под напев «не умрёшь». И увидел, что навстречу в полном беззвучии движутся три своих танка. И захотел сообщить танкистам (которые и так это знали), что немцы стреляют чугунными болванками, способными пробить броню. Но как сообщить?

Он шёл и добрался до окопа, в котором мог бы отдохнуть. Спустившись и сделав несколько шагов, лейтенант наступил на нечто муторно мягкое. Тут же поднялось жуткое количество мух и хлынула волна тяжёлой вони. Он потерял себя... Очнулся, понял, что стоит в незасыпанной могиле на разлагающемся трупе. Сергей упирался в край окопа лбом, не зная, что чуть выше в голове застряли мелкие осколки. Он собирался с силами и старался не вдыхать глубоко. Могила находилась в тупиковом ответвлении окопа; он вышел из тупика, добрался по окопу до живых и сказал бойцу: «Забинтуй!» Тот начал бинтовать голову. Нет, нет, надо — руку, плечо! Забинтовать плечо не удалось. Лейтенант пошёл по склону вниз, и навстречу ему попались два бойца с котелками. Они несли мутную родниковую воду. До начала боя родник был чистым. Солдаты дали Сергею попить прямо из котелка. С головы упали в воду капли крови, смешанной с потом и грязью. Бойцы переглянулись и ничего не сказали. Потом он долго шёл к лесочку, время от времени отключаясь. Обмороки были такие короткие, что он не успевал упасть. Так бывает с эпилептиком. Болезнь имеет простонародное название «падучая», однако больной, регулярно принимающий лекарства, не падает и не бьётся в припадке, а может сидеть или даже стоять, если обморок очень короткий.

Сергей шёл к лесу. Вернулся слух, и стало казаться, что в паузах между взрывами он слышит скрип, с которым трутся кости в раздробленном плече. На опушке леса незнакомый лейтенант в аккуратнейшей амуниции, хорошо побритый, сидел перед расстеленной белой салфеткой. На салфетке были бутерброды. Сидящий отвинчивал крышку термоса. Раненый дошёл до неожиданной картинки и остановился. Перевязь разболталась, левый глаз был залеплен кровью и грязью, ноги не выпрямлялись. Сергей стоял на полусогнутых, подобно орангутану, и ждал. Помощи? Слов поддержки? Может, просто — когда пройдёт удивление. Завтрак на траве был парадоксален. Родник помутнел, и это было понятно. А здесь у странного существа на краю леса — чуть ли не

лоснящиеся щёки и подбородок, сверкающие пуговицы, белоснежная салфетка и аппетитные бутерброды. Из термоса запахло крепким кофе. Аккуратный лейтенант посмотрел на окровавленного лейтенанта и воскликнул с шутливой досадой: «Что за люди! Позавтракать спокойно не дадут!» И Сергей стал огибать лесок. А немецкие самолёты прилетели бомбить обоз, выбравшийся на дорогу раньше, чем следовало.

Бомбёжка шла своим чередом, раненый — своим: иногда падал, вставал, тащился по краю лесочка и набрёл на Раю Камынкину, медсестру из соседнего подразделения. Она делала окопчик и только-то успела снять дёрн, как один из самолётов собрался бомбить этот участок. Девушка быстро уложила Сергея в углубленище и ещё закрыла собой. Бомба летела с обычным мерзким свистом. Воздушная волна, как пушинку, сбросила Раю и выковырнула Сергея. Он поднялся и не смог приблизиться к далеко откатившейся медсестре и хотя бы кивнуть ей. Не было сил на благодарность. Он побрёл дальше по огибающей лес дороге. Перестал видеть. Выставил вперёд правую руку. Скоро услышал: «Эй!.. Солдат! Под лошадь попадёшь!» Раненый решил: раз кричат вдалеке, значит, не ему. Но через два шага ткнулся рукой во влажный тёплый бок. Зрение вернулось, и он увидел эту лошадь. Кричали из укрытия — именно ему. Сергей подумал, что зрение отказывает из-за потери крови, хотел вернуться на дорогу, с которой, конечно, сбился, отвлёл руку от лошадиного бока (или же лошадь сама отодвинулась) и опять потерял: зрение, слух, равновесие...

Очнулся он на колёсных носилках. Над головой сменялись верхушки деревьев, между листьями промелькивали небо и солнце. Припекало. Санитар сидел у ног Сергея и восклицал: «Барсук, вперёд! Барсук, вперёд!» Должно быть, вожак собачьей упряжки очень старался как следует направить «подчинённых», но везти приходилось по просеке, одолевая рытвины и кочки. Благополучно свернуть на дорогу не удалось: носилки опрокинулись, раненый вывалился в кювет, санитар — тоже. В следующий раз Сергей пришёл в себя в землянке. Пахло йодом. Измученному лейтенанту сделали уколы: в живот и в здоровую руку. Ещё промывали плечо и голову. И перевязывали.

Он уснул рядом с чугунной печкой, в которой горели дрова. Засыпая, думал: зачем они топят печку, ведь тепло, жарко даже? На чугунной плите кипятили воду для медицинских нужд. Сергей успел порадоваться, что уходит не в беспамятство, и переселился из землянки в сновидение. Опытные уверенные хирурги сделали операцию и соединили самую крупную его артерию с мельчайшим капилляром. Он стал практически бессмертным — не умрёт, куда вся кровь из артерии не просочится сквозь капиллярчик. Это предыстория; она просто известна, а видит он последнего человека на остывшей Земле — себя. Он лежит и смотрит на закат. Земля сильно приблизилась к Солнцу, всё ещё горячему. Оно выглядит громадным — диаметром в полгоризонта. И очень печёт. Половина красного диска уже закатилась, а на фоне ещё видной половины танцует дракон — второе существо, оставленное распорядителями специально, чтобы развлекать Сергея. Танец похож на лезгинку, и дракон поёт: «Веселись на радость человека, веселись на радость человека...» Это сопровождается высоким непрерывным звуком: кровь с тонким мучительным писком протискивается

из широченной артерии в микроскопические капилляры. А сновидец мучается из-за ошибки: надо не «человека», а «человеку». У дракона блиноподобная волосатая морда. Вообще весь он в бурой щетине. Переминается на коротких ногах и пытается производить лезгиночные движения руками. Да ещё неправильное «на радость человека». И какая, спрашивал рассказчик, от этого может быть радость?

Ночью пришёл грузовик. В кузов с очень высокими бортами стали затаскивать тяжелораненых. Сергея вывели и посадили, привалив спиной к колесу. Он опять не удержал сознание. Очнулся, увидел, что деревья не параллельны, а перпендикулярны его телу, спросил у пожилого санитаря: «Я упал?» Голос был очень хриплый и тихий, но дядька расслышал и откликнулся: «Ничего, милок, ничего. Сейчас». Снова посадил, ушёл в землянку, вернулся с крепким-крепким сладким-сладким чаем. Сергей сделал два глотка, почувствовал благодарность, но ни допить, ни поблагодарить санитаря не смог — едва хватило сил вернуть стакан. Сергея положили в кузов последним, заперли борт, крикнули «уезжай!». Он опять то засыпал, то терял сознание. В промежутках смотрел вверх — в тёмное небо между ветвями, слушал, как нижние ветки задевают крышу кабины, пытался сползти с тела, которое подкатывалось под него при каждом подъёме, и знал, что это не раненый боец, а тело. Шофёр гнал машину, её мотало, но полумёртвый лейтенант не запомнил ни особенно сильной боли, ни ветра, ни какой-либо иной острой неприятности, кроме катавшегося мертвеца.

Очнувшись после особенно долгого забытья, он обнаружил, что лежит на носилках на краю леса. Уже полдень, солнце в зените. Через большой просвет между деревьями оно шпарит с неавгустовской силой. Он решил действующей рукой загородить от нестерпимых лучей хотя бы лицо, но оказалось, что руки его связаны бинтом на груди. Он повернул голову и увидел справа на соседних носилках капитана с серым лицом и ужасно раздутым животом. Кто-то лежал и слева. За капитаном и за левым соседом тоже лежали тела — довольно ровным рядом. Вдоль ряда, приседая возле каждого, двигался светловолосый молодой человек в очень сильных очках. Он что-то делал с лежащими. Когда очередь дошла до капитана, Сергей увидел, как светловолосый с трудом задрал его гимнастёрку. Полдневный луч ударил в туго натянутую кожу и отразился от неё. Парень плюнул себе на руку, растёр на ослепительном животе слюну и начертил химическим карандашом пару знаков — судя по всему, номер. Напаялил гимнастёрку на огромный живот, вынул что-то из её кармана, повозился с вынутым, спрятал в свою полевую сумку и подошёл к нему. Сергей уставился побелевшим правым глазом на близорукого парня, а тот присел, задрал гимнастёрку очередного, как он полагал, покойника, растёр слюну и начал выводить цифру. Почувствовав прикосновения, Сергей собрал силы, чтобы подать голос. Чуть слышно он прохрипел:

— А за... а зачем это?

Очкарик отпрянул и побежал на согнутых ногах назад. Пробежал вприсядку шагов пять, вскочил и бросился за санитарями. Те живо оттащили Сергея в тень, обтёрли мокрым полотенцем его лицо, дали несколько глотков холоднящей

воды, после чего он снова потерял себя... Выбравшись из временного небытия в следующий раз, Сергей увидел, что вместо братской могилы попал в палатку невиданно большого размера и сидит на табуретке в углу, опираясь на туго натянутые стены здоровым боком и спиной. Пристроили так, чтобы он не клонился и не падал.

Два бесконечно усталых хирурга пилили руку молодому красивому грузину, который и под наркозом скрипел зубами.

Дочь спрашивала, откуда уверенность, что на столе посреди санитарного шатра лежал именно грузин? «Ну как же! — восклицал отец. — Обязательно грузин! Молодой, красивый, кудрявый, с чёрными усами. И бледный, как... Как я не знаю что!»

Мышцы были отогнуты в обе стороны, на сосудах — зажимы, и один хирург держал руку грузина двумя своими, а другой с усилием пилил кость: вжик-вжик — ножовкой с очень белым блестящим полотном. Сергея замутило только тогда, когда рука была отброшена в большую кучу рук и ног, кровавых бинтов и всяких сгустков. Куча была в палатке, у стенки... Грузина унесли, и настала очередь Сергея. Его положили на стол, и он услышал шелест. Врачи и медсёстры шептались: «Ампутация? что? ампутация?» И: «Двадцатилетний обескровленный полумёртвый мальчик, совершил подвиг». Он заплакал и сказал: «Ребята, не отрезайте мне руку, не отрезайте, пожалуйста...» И они сказали: «Посмотрим». И положили на его лицо маску. И велели: «Считай». Он стал считать: один, два, три... готов, готов... И уплыл туда же, куда прежде нырял, проваливался, обрушивался безо всякой маски.

Хирурги сделали в левом плече два больших разреза, как-то их распылили, повытаскивали обломки костей, наложили шину на всю руку, а сестра перебинтовала Сергею голову. Про это он узнал на следующий день, очнувшись в большом сарае, где все лежали на соломе. Настало девятнадцатое августа. От церкви, которую лейтенант приметил, когда лежал под солнцем вместе с мёртвыми, долетал, не успевая раствориться в чистом воздухе, успокоительный тонкий звон. Ещё, очнувшись, он слышал (или ему казалось, что слышит) отголоски стройного праздничного пения. Преображение Господне. Оно же Яблочный Спас. В сарае находилось довольно много народу, в частности командир его полка майор Штыков чуть ли не со всем штабом. Штабных засыпало землёй и маленько придавило брёвнами, когда почти в блиндаж попала авиабомба. Майор пребывал в своём обычном состоянии — деликатно говоря, нетрезвом. Он узнал очнувшегося: «О-о! Мой лейтенант! — и выразил намерение облобызать его, если, конечно, тот приблизится. — Иди к нам!»

Сергей даже ухом не повёл в сторону весёлой компании. И это объяснялось не только презрением, с каким относились к Штыкову командиры и солдаты. Не было сил. Накануне в землянке, где делали уколы, Сергей видел бойца из своего взвода, но и на его приветствие не смог отреагировать ни словом, ни жестом — только попыткой кивнуть. Не получалось у него откликаться. По собственной инициативе он действовал в случае самой острой необходимости. Наткнулся в соломе на немецкую фляжку, сунул её под мышку, чтобы уменьшилась боль. С этой фляжкой переехал потом в городок, расположенный

у железной дороги. Он лежал в стационарном госпитале, и медики ждали, чем кончится воспаление в его мозгу. Суждено лейтенанту выжить и отправиться в древний азиатский город или быть ему похороненным в этом пересыльном городке. В городке было несколько госпиталей. Там делали операции серьёзно раненым; а тех, кому повезло больше (или меньше?), долечивали и отправляли: кого в кратковременный отпуск, кого сразу на фронт. Инвалидов, нуждающихся в длительном лечении, увозили из этого городка в Среднюю Азию, не сумевших выжить — в предместье, на сильно разросшееся кладбище. Город-госпиталь был ещё городом-пересылочным-пунктом и городом-похоронным-бюро. Воспаление началось вокруг осколков, попавших в голову. Сергей пролежал в госпитале недели три, из них почти две с температурой больше сорока. До воспаления он успел продиктовать одно короткое письмо родным.

Самостоятельно, выжив, начал писать из Самарканда в сентябре-октябре. В самаркандском госпитале ему отсекали головку плечевого сустава; у неё не было надкостницы. Очнувшись от наркоза, Сергей открыл глаза и увидел на тумбочке эту самую головку. Зачем её туда положили? Он схватил это правой рукой и швырнул — тоже непонятно зачем. Оно ударилось о дверь... В Средней Азии было мучительно, незабываемо жарко. Плечо гноилось; под гипсовой рубашкой завелись черви. Они щекотали грудь и спину. День и ночь у Сергея чесалась половина тела. Изготовленная для него чесалка — обмотанная бинтом палочка, которой он пытался залезть под панцирь, практически не помогала. Когда какой-нибудь червяк выползал наружу, он смахивал его на пол здоровой рукой. Медики рассказали, что в Америке специально разводят опарышей, которые питаются омертвевшими тканями и таким образом очищают гноящиеся раны. Сергей усвоил это, но... Поправлялся, преодолевая омерзение.

В письме из Самарканда он подробно рассказал родителям о ранении и добавил: «Боюсь, что со скрипкой придётся распрощаться». Подростком он целый год брал уроки скрипичной игры и был гордостью учителя. Денег на продолжительное обучение не было, и совершенствовался Сергей самостоятельно. Он был дерзким и страстным. И, став инвалидом, научился держать скрипку выпрошенной у докторов рукой. Какая у отца была техника, дочь не знает. Вдохновенной его игра бывала, наверное, каждый раз. Сергей брался за гриф левой рукой, правой поднимал её вместе со скрипкой до нужного уровня, а потом ещё поправлял, устанавливал, прилаживался. Это было слишком хлопотно, чтоб затевать игру без подходящего настроя. До ранения он играл так, что люди преображались, смотрели сквозь слёзы не повседневным, каким-то другим взором. Он говорил, что люди плакали.

Домашние спрашивали, ходил ли Сергей любоваться минаретами, арыками, садами, когда сняли гипс. Прогулок не было: прямо из палаты сопровождающий отвёз лейтенанта на вокзал. И выписали его не из госпиталя, а из Военно-медицинской академии. Однажды лейтенант Мареев проснулся в палате и увидел, что его руки и ноги очень сильно отекли. И лицо, и грудь под гипсом — всё отекло. Его перевели в Академию, эвакуированную из Ленинграда. Там сделали рентген и, кроме воспалённых почек, рассмотрели осколок, из-за которого Сергей долго хромотал. (А после третьего ранения отлежался, и хромота

прошла.) Из-за высокой температуры и отёков он задыхался; по ночам чувствовал, как замирает сердце. Он с огромным трудом вставал, выбирался в коридор и просил дежурного врача: «Помогите. У меня останавливается сердце».

Доктор делал записи; не отрываясь от бумаг, он отвечал: «Идите, Мареев, не мешайте работать...» Когда Сергей уже выздоравливал и больше не паниковал, в Военную академию пришёл молодой узбек и сказал: «Живот болит». Медики пообещали посмотреть его живот, устроили юношу на койке в коридоре, завели карту и в ней латынью записали предварительный диагноз: симуляция. Пациент был призывного возраста. До окончательного диагноза дело не дошло. Вечером новенький ещё несколько раз повторил своё «живот болит», а ночью умер.

Лейтенант Мареев выкарабкался из нефрита и уехал в Москву, увозя в своём теле четыре осколка. Первый, волховский, навсегда остался возле позвоночника. После полтавского ранения оставалось три осколка. Их не обнаружили ни в госпитале, ни в Академии. Сергей полагал, что перебои в сердце случались не столько из-за отёков и давления, сколько из-за осколка под левой ключицей. Его углядели, когда он (дочь уже родилась) заболел туберкулёзом и понадобился рентген лёгких. Ещё через два года инвалид войны Мареев, работавший переводчиком с венгерского языка — нередко синхронным — обратился к медикам с жалобой на сильные головные боли. На рентгеновском снимке врачи увидели два осколочка: в кости ниже левого глаза и в мозгу выше глаза. Двадцатисемилетний Сергей с доверием отнёсся к словам профессора Розенталя: «Молодой человек, никому не позволяйте ковыряться у вас в мозгах». И вопрос об удалении второго осколка был закрыт. Лет через пять снова делали рентген головы. Кусочек металла, застрявший в кости, не сдвинулся, а в мозгу осколка не было.

Однажды Сергей проснулся от колющей боли в горле. Понадеялся, что это пройдёт, повернулся и заснул. Утром горло не болело. Он проглотил осколок. Маленькая железка спускалась, покуда не попала в глотку, затем в пищевод, затем в желудок и далее. «Гравитация, — говорил он. — А что? Мозги ведь мягкие». Скорее всего, гравитация ни при чём. Иногда после удаления зуба в десне остаются осколки. Недели через три из гладкого места, где был зуб, вдруг вылезает твёрдый кусок, ощущаемый и днём, и ночью. А через несколько суток обнаруживается, что десна опять гладкая и не болит. У дочери Сергея Мареева так было с нижней челюстью. На голове она не стояла, и вряд ли, если б стояла, зубной осколок вылез бы раньше. Гравитация ни при чём.

Когда Мареевой-младшей было месяцев пять, её мама и бабушка ушли по своим делам, а её двадцатилетний отец, выбравшийся из туберкулёза, в первый раз остался с дочкой — присматривать. Ребёнок спал в кроватке и должен был проспать ещё часа полтора. Сергею незачем было напрягаться, некуда торопиться, нечего опасаться. Он глянул на опрятное дитя, потом сделал три шага к зеркалу, вынул из кармана свежий наодеколоненный платок, понюхал, посмотрел на своё отражение и сказал: «Ну? Живой?» И вдохнул свой, не заёмный, не пожалованный воздух. И осознал, что не погиб ни на войне, ни из-за войны — из-за ранения, инвалидности, червей под гипсом... Ододел.

Елена Тимохина

Пекарь

Рассказ

Проснулся Пётр Кириллович внезапно. Вздрыгнул всем телом и широко открыл глаза. Пару минут тревожно всматривался в тёмный потолок, по памяти проверял мозаику обвалившейся с потолка штукатурки. Не появилось ли новых узоров за прошедшую ночь? Он начинал так каждое своё утро, но осень неизменно брала своё: солнце всходило всё позже, и всё сложнее ему было разглядеть в высоте трёхметровые голые потолки своей квартиры. А может, дело было не в осени, а в его глазах? За последний год они постарели на все десять.

Нет, это был не взрыв. Не звук разбудил его. Это холод. Сунул ледяную руку прямо ему под одежду. И как только умудрился? Пётр Кириллович уже давно спал во всём, что у него осталось: в исподнем, двух изношенных до дыр рубашках, растянутом вязаном отцовском свитере и шерстяном бушлате. Последний достался ему от двоюродного дяди, капитана подводной лодки.

Пётр Кириллович нашёл глазами зияющий проём окна. Позавчера в его доме выбило стёкла, — вот и вся несложная отгадка, как к нему подкрался холод. Шаркая замёрзшими, затёкшими от лежания на полу ногами, старик доплёлся до подоконника. Всё на улице было серым, покрытым предрассветным пеплом, и только слева едва-едва угадывалась застенчивая розовая полоска света. Да луна тонкой хищной улыбкой зияла, застрявшая в этом беспросветном, как их жизнь, ленинградском небе.

Пётр Кириллович нащупал мел, осветил старым фонарём начерченные на голой стене палочки. «А, проклятая наскальная живопись», — разозлился вдруг старик, зашёлся долгим сухим кашлем и сплюнул мокроту на пол. Крепко задумавшись, пересчитав костяшки на трясущихся жилистых руках, Пётр Кириллович вывел полосочку и крестик. По всему выходит, что сегодня 1 октября: второй месяц второго блокадного года.

Тимохина Елена Алексеевна, родилась в Тульской области. Окончила НИУ ВШЭ по специальности «журналист» (бакалавриат) и «менеджер проектов» (магистратура), а также магистратуру «художественного письма» Royal Holloway University of London. Автор книг для подростков «Твои финансы», «Ок! Что дальше», «Бизнес-teesn», любовного романа «Вата» (2022). Автор ТГ-канала «Дочь Достоевского». Живёт в Лондоне. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

Там, где Пётр Кириллович рисовал палочки и крестики, когда-то висел календарь. Сонечка, его единственная и любимая на всю жизнь жена, имела привычку вычёркивать оттуда прожитые дни. Она всегда жила в ожидании: то лета, то новогодней распродажи у Елисеевых, то приезда сына в гости. «Как глупая семинаристка, ей Богу, Соня, — бывало, выговаривал он ей. Не из злости, а так, из вредности. — В твоём-то возрасте заниматься такой ерундой!»

Она перестала «заниматься ерундой», когда встретила своего майора. Пётр Кириллович не сразу заметил. Сонечка перестала считать дни, потом читать по вечерам в любимом кресле у окна, потом приходить домой к ужину. Майским утром 1938 года она ушла из дома навсегда. В том декабре Пётр Кириллович впервые купил календарь сам.

Старик положил мел, вздохнул и вышел из квартиры вон. Больше ему здесь было делать нечего: не осталось любимых книг, давно истопили его красное кресло-качалку, старый дедов диван, кухонный гарнитур. Всё, что было ценного, — продали, все, кто был рядом, — растворились. Гулкая пустота — единственная, кто проводил старика из дому.

Пётр Кириллович был пекарем. От дома до пекарни, где он работал, было примерно триста восемьдесят четыре шага. Триста восемьдесят четыре шага туда и триста восемьдесят четыре обратно. Вот уже год как он не месил тесто, не ощущал на пальцах мелкую крошку муки, не держал в руках песочного цвета рязанские яйца, не вдыхал аромат «Бородинского». В начале прошлого сентября город окружили немцы. В тот день он готовил торт для Галины Ивановны, хозяйки небольшого магазинчика на Литейном. Торт вышел на славу: фисташковый крем и шоколадный бисквит, белые и розовые красавицы-розы сверху. Он помнит, как вечно голодные и поцарапанные мальчишеские лица мгновенно облепили стёкла его пекарни, привлечённые волшебным ароматом. Пётр Кириллович сурово потряс кулаком в их сторону, приказав освободить витрины для нормальных покупателей, но мальчишки даже ухом не повели. Напряжённо ожидали своей добычи. Пекарь обречённо покачал головой и усмехнулся. Он уже остужал «испорченный» корж, специально сделанный для дворовых хулиганов. Где они сейчас эти оборванные пацаны? Он не хотел знать. Через две недели после того памятного торта начались перебои с продовольствием, а ещё спустя месяц его пекарня закрылась.

Но Пётр Кириллович всё равно приходил на работу: каждое утро — и в удушливый питерский зной, и в хрустальную от холода зимнюю стужу, и когда под подошвами хрустел снег, и когда хрустели выбитые стёкла парадных. Он этим своим упрямством и покориł когда-то Сонечку. Каждый день ходил под окна её общежития, пока, наконец, эта хрупкая светловолосая студентка не согласилась сходить с ним в синематограф. Он женился на ней в двадцать семь, ей было восемнадцать. Он упрямо любил всю жизнь только её одну: ничего вокруг не замечал, кроме её ясного, синеглазого круглого лица. Это не спасло их брак.

Пётр Кириллович и сам до конца не понимал, зачем он ходил в пекарню всё это время. Просто ходил, из упрямства, из вредности. Ходил, чтобы доказать: это он, он сам, единственный и полноправный хозяин своей жизни, а не эти проклятые оккупанты. Они отняли у него и кресло-качалку, и книги, и дом, но эти триста восемьдесят четыре шага туда и триста восемьдесят четыре шага обратно они отнять не смогут! Не смогут отнять у него, не смогут у всех них, ленинградцев, отнять. Потому что все на Литейном видели: старик, согнувшись от ветра, ледяного дождя и шума военных самолётов, шёл на работу, он не сдавался. Не сдавались и они.

Шаг номер семьдесят восемь — любимый сонечкин магазин. Она ходила туда каждое утро купить газеты, поболтать с продавщицей. Продавщицу эту Пётр Кириллович когда-то звал по имени, для неё он готовил торты на день рождения. Но она умерла ещё год назад, и он предпочёл больше не помнить её имени. Осколочное в живот для неё, мощный чёрный снаряд для её магазина. От магазина теперь тоже остались только воспоминания, зияющие пустыми рамами выломанные окна и груда пыльных кирпичей. Даже крысы — и те все давно разбежались, а может, перемёрзли, кто их знает.

Навстречу, вдоль домов, пробегает бесплотная серая тень. Одета тень явно не по погоде: в лёгкой куртке, растянутых, явно чужих, штанах. «Опять Рязановых мальчишка», — не сбавляя шага, думает Пётр Кириллович. Младший их уже две недели лежит в чахотке, помрёт не сегодня-завтра. Такую зиму ему не пережить. А старший вон ещё бегает. Видимо, это голод гоняет его по разорённому проспекту: Пётр Кириллович припомнил, что видел его мельком и вчера, и позавчера. И не его ли рыжая голова заглядывала в пекарню в выходные?

Шаг двести пятьдесят три — подъезд дома Пахома, его школьного друга. Вот, обугленные, стоят окна его квартиры на третьем этаже. Сколько водки они выпили там вдвоём, сколько всего друг другу сказали без слов. Хороший мужик был Пахом, земля ему пухом. Рядом ещё один дом — изуродованный огромной рваной раной от снаряда. Его тут совсем недавно построили, лет тридцать назад. Дом этот младше Петра Кирилловича в два раза. Не нужно бы его жалеть, дом-то этот. Кирпич да деревяшки. Но Пётр Кириллович ничего с собой поделывать не мог — как посмотрит на двести восемьдесят четвёртом шагу вправо, так зубами скрипеть начинает, да руки в кулаки сами непроизвольно сжимаются. Сильнее сжимаются, чем за продавщицу, качалку и Пахома. Это город его, его любимый Литейный проспект. Как он Богу за Литейный в глаза взглянет?

Пока торговался сам с собой, поздно услышал глухие шаги сзади. Не успел обернуться, как почувствовал, что его повалили, затылок пронзила острая боль; ударили то ли кулаком, то ли доской. Старик с громким охом рухнул на землю, в сознание ворвался жуткий пронизывающий хруст.

— Давай бушлат, дед! — услышал он наглый голос, почувствовал запах перегара. Мальчишка лет двадцати бесцеремонно стаскивал с него драгоценный дядин бушлат. Закончив своё дело, нападавший перевернул старика на спину и заглянул ему в лицо. Да это же Рязанов-старший! Рыжий, волосы торчком, на пушистых бровях капли, усы только-только несмело опушились над верхней

губой. Лицо такое юное, почти детское, но уже изуродованное синюшными кругами под глазами, болезненно очерченными скулами и злобным, загнанного животного взглядом.

— Ты, дед, того... зла не держи. Ты своё отжил, а мне держаться надо, — процедил парнишка скомканно и исчез в предрассветном металлическом ленинградском безвременье.

«Дед», — почему-то именно это слово царапает сильнее всего. Видимо, Рязанов тоже предпочитает его, Петра Кирилловича, больше по имени не помнить.

«Петруша, тебе нравится причинять людям боль?» — почему-то следующей вспоминается ему мать. Она часто спрашивала так, когда ей жаловались на маленького сына, снова затеявшего драку с соседскими мальчишками. Нравилось ли ему? Он силился вспомнить, напрягал последние силы, но не мог, он очень устал. Пока шёл упрямо — не чувствовал, а сейчас лежал, распротёртый на земле, и так приятно ему было отдохнуть. Перевести дух. Он вдруг себя таким уставшим, старым и слабым почувствовал.

Неужели когда-то он был босоногим семилетним хулиганом, которого мама ругала? Неужели когда-то у него была мама? Неужели когда-то он шалил и дрался, смеялся и гулял с другими, такими же, как он, сорванцами? С Пахомом? Взаправду ли было всё это с ним?

— Ты, дед, чего лежишь всё? Вставай давай, а то замёрзнешь же! — услышал Пётр Кириллович истеричный голос откуда-то из переулка. Кажется, тот же наглый юнец. Припомнить бы фамилию его — Ростовцев, Костромин... Не то, не то... Вот этот пацан, застывший в нерешительности в ближайшей подворотне. Старик только устало махнул ему рукой. Юнец переступил с ноги на ногу, бросил нервный взгляд на лежащего деда и всё-таки убежал.

Пётр Кириллович посмотрел в квадрат неба. Улыбка луны тут же окрысилась в ответ. Окружавшие дома, словно растрёпанные зеваки, сгрудились над ним, любопытно сверля взглядом. «Ты чего тут лежишь?» — словно повторили они вопрос уличного вора.

«А я своё-то пожил, прав малец», — выдохнул пар им в ответ Пётр Кириллович, он почему-то совсем не чувствовал холода. Он за всех пожил: и за отца, что молодым не вернулся с войны, и за младенца своего чахоточного Арсения, и за мать, что была у него когда-то. Эх, только бы Сонечка успела выехать из Ленинграда со своим этим майором. Только бы Ванька не изжарился там, в этом пекле, только бы вернулся живым, только бы детей своих наделал. Чтобы не зря он сам, Пётр Кириллович, эту землю шестьдесят девять своих лет топтал. Вы уж тут, на Литейном, не серчайте: больше пекарь на работу не выйдет. Дальше вы уже без него.

Владимир Лидский

Индия в сердце

Этнографическое путешествие

Это была настоящая туристическая авантюра, потому что редкий путешественник мог бы добраться в те места, где удалось побывать нам. Мы видели глубинную Индию, неприкрашенную, неухоженную, такую, какая она есть на самом деле, мы видели людей, тот самый коренной, укоренившийся на этой земле множество веков назад народ, который и составляет суть индийской цивилизации. Мы отправились в настоящее этнографическое путешествие, и всё увиденное нами было аутентичным. Конечно, мы миновали замечательные музеи, которые тоже могли бы рассказать нам много интересного о стране, но музеи мы можем посетить и в другой раз, а вот то, что удалось испытать в глубинке, вряд ли получится испытать повторно.

Дорога

Семь часов езды на джипе по равнине, потом по горным серпантинам, снова по равнине... Водители, к слову, ведут себя на дорогах весьма странно. Начать с того, что правил они не соблюдают, а может быть, в Индии их и вовсе нет. Главное отличие местных дорог — здесь все непрерывно сигналият. Нам поведали, что этому феномену есть объяснение: водитель сигналиит не для того, чтобы предотвратить возможную опасность, а чтобы сообщить миру о своём существовании. Каждой встречной, обгоняющей или стоящей рядом, машине посылается гудок. И какое разнообразие в оттенках звуков! Кто-то гудит басом, кто-то тенорком, а кто-то и дискантом...

Место назначения

После мучительной дороги приехали мы в рыбацкую деревушку Харнай и разместились в симпатичном домике. Обстановка вполне спартанская, как раз для таких отмороженных пилигримов, как мы. Из мебели в комнате только кровать.

Владимир Лидский (Михайлов Владимир Леонидович) родился в 1957 году в Москве. Окончил ВГИК, сценарно-киноведческий факультет. Поэт, прозаик, драматург, историк кино. Автор романов «Русский садизм», «Избиение младенцев», сборников стихов «Семицветье» и «По ту сторону зеркала», нескольких киноведческих книг. Постоянный автор «ДН». Публиковался в журналах «Знамя», «Новый журнал» и др. Член Союза кинематографистов Кыргызской Республики. Лауреат премии журнала «Дружба народов». Живёт в Бишкеке.

Шкафов, стульев, тумбочек и прочих излишеств нет. Правда, есть телевизор, но не думаю, что его можно причислить к мебели. Впрочем, телевизор, если не плоский, как раз удобно использовать как тумбочку. Что мы и сделали. А кровать! Я ведь когда-то и на бетонном полу спал и ничего, выжил, а тут — целая кровать! Упал, словом, на неё и, сказав пару неприличных слов в адрес мирового зла и враждебного капиталистического окружения, временно выбыл из этого противоречивого мира.

Харнай

Харнай — маленькая рыбацкая деревушка, округ Даполи, штат Махараштра. Это запад Индии. Живут здесь около восьми тысяч рыбаков со своими семьями. Ничего особо выдающегося в деревушке нет, кроме разве старинного маяка, мечетей и небольшого индуистского святилища. Знаменит Харнай своим огромным рыбным рынком и несколькими старинными фортами, расположенными в окрестностях.

Побережье

Меня зовут Даярам, что значит «сострадание Рамы». Я родился в этой деревне, её прозвание — Харнай. Жители наши — рыбаки. Ну, а я — возчик рыбы. Моё имущество — две коровёнки зебу и бричка. По меркам деревни я не беден, но живу в лодке. Знаешь, каково в лодке? В ней нет электричества, воды и канализации. Так многие у нас живут. Прямо на берегу. Посмотри, во-о-о-о-н наша лодка. Когда-то мой дед ходил на ней в море. Видишь бухту за фортом? Там он ловил макрель. Сострадание Рамы — это когда есть лодка, ставшая домом и кровом. Сейчас в лодке живём я, моя жена и мой сын. Ему восемь лет, года через два он будет помогать мне с бричкой.

Жёны рыбаков

Наши мужья ловят рыбу. Они удачливы, иначе мы не носили бы таких сари. Сегодня штормит, ветер дует с воды. Мы остаёмся на берегу, мы ждём. Мужья вернутся и продадут рыбу. Вечером здесь зашумит рынок, побегут зебу в упряжках, тук-туки и даже автомобили. Нас можно не замечать среди миллионов. Мы только песчинки в этом разноцветном мире. Но без нас мир беднее.

Бедняцкое жильё

В этих лодках, стоящих между деревней и побережьем, живут люди. Те же рыбаки, у которых нет дома. Лодки пришли в негодность и, наверное, не подлежат ремонту, а вот для жилья пока ещё — в самый раз. Условия, конечно, не лучшие, но и в деревенских хибарках плюс-минус так же. Главные черты местных жилищ — простота, аскетизм и почти полное отсутствие привычных нам цивилизационных благ.

Священные коровы

Нас называют «зебу». Мы священные животные. Нас нельзя есть. В Индии не едят говядину. Но мы работаем. Это можно. Мы таскаем брички на побережье. В бричках рыбаки перевозят рыбу. Мы красивые. Нас украшают. Мы любим эти

незатейливые ракушки, бубенчики и витые шнурочки. Но еды в деревушке мало, кормят плохо, вот мы и едим всякую дрянь, найденную на берегу, и даже — полиэтиленовые пакеты, пахнущие чем-то съестным...

Лавки

Индийские лавки похожи на все сельские лавки мира. Правда, в российских ассортимент побогаче. Индийский товар однообразен. Печенье, конфеты, вода, пряности. Всё такое непритязательное, невзрачное, скромное. Правда, когда были в одной деревушке на храмовом празднике, видели чудесную лавочку. В ней продавались сласти домашней выделки. Необычайного вкуса мармелады из манго, пастилки, пасты из тропических фруктов и много ещё всяких затейливых радостей. А мы ж люди увлекающиеся, мимо пройти никак не можем. Лишние килограммы в багаже, лишние усилия в перевозках, лишние складки на боках... Впрочем, благодаря малосъедобной для европейцев индийской пище, складки на наших боках продержались недолго.

Рыбацкие дворы

Типичный двор харнайского рыбака: голубые сети, поплавки и прочие «приспособы» для рыбной ловли. Незамысловатая рыбацкая жизнь: рано-рано утром промысел, потом рыбный рынок, вечером тоже рынок, а потом — быт, починка сетей и подготовка к новому выходу в море. Жизнь простая, суровая и не всякому по плечу. Поэтому в Харнае есть ремесленники, торговцы, держатели зеленных лавок, аптекари, парикмахеры, механики... Нет строителей, ни разу не видели мы здесь что-либо строящееся.

Фото на память

Прикольный этот мужик. И борода у него смешная. Наши такие бороды не носят. А какой у него английский! Ни слова не разберёшь. Про школу расспрашивал, про родителей, про жизнь. С европейцами сниматься у нас очень почётно. Любим мы их, они классные. Друзьям расскажем, соседям. Фотки обещал прислать. Пришлёт, наверное...

Первая пуджа

Пуджа в деревушке Харнай оказалась столь увлекательной, что мы выпали из времени. Это был храмовый праздник Ганеши, и все, пришедшие в этот день поклониться богу мудрости и благополучия, первым делом становились в большую очередь, чтобы дойти до его изображения. Я стоял возле алтаря, вглядываясь в необычайно красивых людей и дрожа в предвкушении уникальных снимков, когда ко мне подошёл брамин в белых одеждах и стал быстро говорить что-то на маратхи. Тут же подтянулись другие брамины, человек пять или шесть, и громко запели непонятные песни — явно в мой адрес. Я смешался, как смешалось когда-то всё в доме Облонских. Пропев с воодушевлением свои гимны, брамины разошлись по углам храма так же быстро, как и явились. Что это было? То ли Ганеша указал на меня своим хоботом, то ли брамины прельстились нездоровым блеском моих нездешних глаз — кто знает! Я ж красив (местами), в меру упитан и всегда пленяю своим видом самые

разные социальные группы прогрессивных трудящихся мира. Говоря правду, я был смущён и подавлен величием происходящего.

Прекрасные дамы

В Индии не празднуют Международный женский день. И вообще, по данным демографов в стране не хватает сорока трёх миллионов женщин. Связано это в первую очередь с гендерной дискриминацией. Мальчик в индийской семье считается благом, девочка — обузой. Девочку надо вырастить, выдать замуж и собрать для неё приданое. После чего она уйдёт навсегда. Мальчик же останется в семье и будет работать на неё. Но всё равно в Индии — множество прекрасных дам. Они такие красивые, необычные. Они лучезарные и улыбчивые. Они чудесные. Они везде. Они как стаи разноцветных птиц, волшебных, сказочных. Они — как драгоценные камни: блестят и сверкают на радость миру. Они в браслетах, монистах, серьгах. Когда они идут мимо, я слышу лёгкий дребезг и мелодичный звон. Они прошли. Я оглядываюсь: они уходят в шелесте сари, и солнце посверкивает на их голых руках. Они уже далеко, и тут ветер доносит едва слышный аромат ванили, мускуса и сандала — прощальный привет очарованному чужеземцу.

Дети

Индийские дети — это отдельная песня. Это незамутнённый поток, чистый родник, неиссякаемая радость. Они философически свободны и не скованы догмами. Их восприятие мира не искажено условностями. Они смотрят на тебя как на фрагмент природы, сами являясь при этом сутью её. Это такая часть мира, которую нельзя изъять из него. Выпилишь её, выломаешь из стройной системы индийского мироздания — и всё! Мироздание рухнет! Эти глаза, этот взгляд невозможно забыть — ребёнок, у которого за плечами, может быть, уже сотни жизней, смотрит тебе прямо в душу и видит в ней то, что тебе и самому вряд ли ведомо.

Чёрно-белое

Индия, как известно, страна контрастов. Сейчас я думаю, что Индий, по большому счёту, не одна, не две. Их больше, их много больше. И все они разные. Причём это не пятьдесят оттенков серого и не чёрно-белая гамма, как на этих фото. Индия — это многоцветье и разнообразие, смешение религий, плавильный котел цивилизаций. Мы растерялись в этом вихре, и он увлёк нас, как приключенческий роман, как авантюрное предприятие и путешествие к неведомым мирам.

Харнайский грузовик

Я — большой грузовик. Живу в Харнае. Работаю везде. В соседние штаты езжу. Семнадцать тонн способен поднять. Хозяин хороший, любит меня, как жену. Нет, больше жены. В прошлом году купил жене сари и латунный браслет. Меня любит крепче. Украшает меня, не скупится на краски. Я весь в гирляндах, подвесках, колокольчиках. Каждый день получаю красивую обнову. Кабина внутри обита у меня бархатом и бахромой. Сигнал мой — слаще голоса Чакраборти. Я прекрасен, многоцветен

и многолик. В новой жизни стану храмом, таким же прекрасным, многоцветным и многоликим.

Амазонка в красном

Если такая амазонка явится в моём доме, то мне кранты! Я вижу: она мотоцикл останавливает на скаку. Не знаю, как насчёт горячей избы, но мужика своего лядашенького она точно заездит. И не одного его. Она, пожалуй, с десятка таких уделает. Боже, как она на меня смотрела! Думал, она испепелит меня. Но ведь и я не лыком шит. Обфотографировал её со всех сторон. Хорошо, что здесь не Европа, а то бы по фейсу схлопотал.

Сестрёнки

Мама пошла в храм, а мне нянчить сестрёнку. Я старшая, сестрёнка — поскрёбыш. Мама работает на рисовых чеках, а папа — на большегрузе. Очень большая машина. Больше нашего дома. Он сейчас в Бангалоре, знаешь, где это? Я смотрела на карте... очень далеко. А по карте кажется — близко. Хочу к папе, у него сильные руки и твёрдая грудь. Люблю ткнуться ему в живот, обнять... но он уже не подкидывает меня к небу. А сестрёнку подкидывает. Наверное, любит её сильнее.

Резьба по дереву и буйство красок

Один из первых храмов на нашем пути. Их много в стране, в каждой маленькой деревушке их может быть несколько. Встречаются очень древние, многим полторы-две тысячи лет. И стоят, ветер истории им нипочём. Красота неземная, и сделано всё на совесть. Вот именно — на века. Падают царства, приходят и уходят завоеватели, а храмы, если их не разрушили чужеземцы, сияют на радость миру.

Душа страны

Индия — девочка, Индия — дитя. Это и есть душа страны — улыбчивая, глазастая, наивная и доверчивая. Недоступное европейцам приятие мира, лёгкость духовного бытия при всех трудностях бытия земного, безграничность плотского счастья, радость от пребывания во Вселенной и отсутствие страха смерти, потому что впереди — новые инкарнации и понимание, что ты будешь всегда. Вот что такое Индия, многоцветная, разноликая, полная чудес.

Фрески

Ну, и без настенных росписей никуда. Я их невольно сравниваю с росписями в наших церквах. Насколько разный подход в индуистской и православной традициях! Сюжеты наших росписей трагичны и обращены к чувствам, индийские мотивы сказочно-реалистичны, как дождь в Макондо, и рожают мистические фантазии. Волшебные картинки, встреченные нами в одном из храмов, дали моему воображению хорошего пинка, и оно, воображение, сразу принялось продуцировать совершенно невообразимые, фантастические сюжеты...

Переправа

Там, где много воды, всегда снуют лодки. В индийских челнах есть особая красота — боковой поплавок, сделанный на случай сильной волны, и эта красота добавляет экзотики нашему заливу. На этом берегу — школа в посёлке, а на том школьники живут, вот они после школы и поплыли домой. А мы следом — наш перевозчик уже толкнул лодку.

Брадобреи

Проходя мимо уличной цирюльни, загляделся я на весёлые ножницы, резво мелькающие в руках мастеров. Постричься, сахиб? — иронически спросили меня. Я выразительно показал на свою голову, вспомнив при этом детскую дразнилку — лысая башка, дай пирожка! Не знаю, есть ли на маратхи эквивалент фразы, но парикмахеры с клиентами дружно заржали. Что там стричь? Они поняли скорбную иронию бледного человека. А побриться, сахиб? — снова спросили меня. Но я свою бороду и за миллион баксов не отдам, ведь я без неё всё равно что голый.

Колибри

Люблю индийских школьников. Люблю их как любят цветы, как экзотические букеты диких полей, как разноцветных колибри, порхающих с ветки на ветку, как звёзды, едва различимые в ночном небе... Они ещё затмят своей красотой большие созвездия, а пока собираются в стайки, чтобы светить тихим светом неухоженным улицам и очарованным путникам-чужестранцам.

Кондуктор

Я — кондуктор автобуса. У меня есть образование, но я не работаю по специальности. И частником не хочу. Хотя и умею кое-что. Я — госслужащий, живу под крылом государства. Государство платит, дает льготы. Хорошая зарплата, хорошая пенсия. Если доживу, конечно. Деньги важнее диплома. У меня семья, дети. Их надо кормить и учить. Вырастут — пусть станут кондукторами.хлопотно, но надёжно. Голодать точно не будут.

Урок медитации

Малышей водят в храмы, мероприятие называется урок медитации. Но дети есть дети. Резвятся, носятся, хохочут. Никакой строгости и религиозной чопорности. Вообще, как мне показалось, религия здесь не предполагает аскезы, духовных ограничений и смирения плоти. Религия — это радость, и дети в храме — ярчайшая метафора религиозного бытия.

Два в одном

Это «матрёшечный» храм. Первый — каменный — стоит более двух тысяч лет. Второй, возведённый над ним, деревянный — тысячу. Если их не тронут бури времен, то, может, простоят ещё столько же.

Перевоплощение брамина

Наш прекрасный брамин, человек, добившийся своего места благодаря упорству, терпению и бесконечному стремлению к знаниям, спокойно провел пуджу, сфотографировался с нами на память и тихо отошёл в сторону.

Потом мы, покинув храм, ушли по трассе вперёд, и километра через два нагнал нас человек на мотоцикле — современного вида, в европейской одежде. Сказал несколько слов, помахал рукой и уехал. Это был наш брамин. Я его сразу и не узнал.

Сколько лиц у каждого из нас в этой жизни... мы и сами не всегда ведаем.

Музейное наследие без призора

Уникальные музейные вещи просто валялись в траве возле храма. Музейное наследие здесь как-то не очень ценят. Легко могут сломать тысячелетний храм и на его месте возвести новый. Потому что храмы у индусов — в душах, а всё, что вне душ, — неважно.

Шаровые молнии

В джунглях растёт вот такое счастье. Пальмовые плоды. Может быть, и плантации таких пальм где-то есть. Из жёлто-оранжевых мячиков делают приправу. Не скажу, что она изумительна по вкусу. Но многим нравится. А сам процесс подготовки плодов необычайно красив: женщины в разноцветных сари сидят вокруг золотой горы, неспешно перебирая маленькие шаровые молнии. Край джунглей, край света, край жизни.

Марсианские камни

А потом на пути встали джунгли, и заброшенный мост, и ступени, ведущие в небеса. Мы зашли в тень пальм и направились к марсианским камням, таящимся в глубине джунглей, туда, где текла таинственная река, где мерцали в тиши зелёные лагуны и стояли среди воды странные круглые камни.

Искатели драгоценных камней

Меня зовут Рикки-Тикки-Тави. Это общее прозвание нашей породы. Я индийский серый мунго, мангуст, принадлежу Кубере, одноглазому богу богатства и светлогожему магарадже севера, хранителю спрятанных в земле сокровищ. Мы ищем драгоценные камни, откапываем, глотаем, а потом отрываем их перед своим господином. Я живу рядом с домом людей и приглядываю за ними, охраняю имущество. Что греха таить — подворовываю иной раз у них что-нибудь съестное. Но ведь я свой, главное — чтобы чужие не лезли.

А вообще мы, мангустаны, сражаемся со змеями. Борьба со змеями — наше призвание. Благодаря нам люди на этой земле живут спокойно. В моей норе спят детёныши, они тоже в безопасности — змеи не рискуют подползать к ним.

Водоносы

Мы водоносы. Вода — дефицит. Хотя купить бутылку воды можно в каждой лавке. Цена — 20 рупий или 30 американских центов. Но мы эти деньги получаем за час. Поэтому у нас нет даже обуви. Мы должны работать весь день, у нас семьи, дети. Иногда перепадает рыба от рыбаков, но в основном едим рис. Еды мало, работы много. В новой жизни хотим стать водой, может быть, океанской. У неё нет забот, нет обязанностей, нет долгов. Можно будет не работать, а только мечтать, глядя в вечное небо.

На любой вкус

Рынок шумит, гудит, вскрикивает, и эти разные голоса и звуки живой жизни отзываются в сердце как самые дорогие сновидения. Здесь пестро, весело, и тебя здесь любят. Ты подходишь, смотришь, тебе говорят хорошие слова, хлопают по плечу. Неважно, купишь ты что-то или нет, главное — перекинуться с тобой словом, улыбнуться тебе, потому что ты для этих людей такая же диковина, как и они для тебя. Здесь много счастья, здесь свобода.

Форт

Величественный форт Шиваджи Махараджа, национального героя Индии, свергнувшего в XVII веке мусульманских властителей и основавшего в Махараштре свободное государство маратхов. Форт Суварнадург — в Аравийском море, в нескольких километрах от Харная — был одним из передовых рубежей обороны от вражеских эскадр. Стоит более четырёхсот лет и хоть сейчас готов к новой обороне. Правда, сражаться сегодня не с кем.

Козы Золотого форта

Форт Суварнадург, или Золотой форт, знаменит своими сокровищами, зарытыми королём маратхов Шиваджи. На протяжении четырёх веков сюда навешиваются кладоискатели в надежде найти золото предков. Но никто пока ничего не нашёл. Более того, искатели удачи не возвращаются с острова. Они превращаются в диких коз, которые, впрочем, совсем не боятся людей, подходят и просят еды. Сразу видно, что когда-то были людьми. Вообще, реинкарнация — хорошее дело.

Без участия человека

...И когда предвечернее солнце ложится на этот благословенный берег, я смотрю на маленькие фигурки вдали, на белого зебу в упряжке, на алые колёса повозки, на её отражение во влажном песке и думаю: эта красота вообще не ищет участия человека, а уж моего внимания и подавно, она цветёт сама по себе, не требует оценки прохожего, его праздного взгляда, она есть и пребудет, а нам дозволяется лишь взглянуть на неё мимоходом и просто запомнить...

Затерянность

Романтическая деревня, где почти все друг друга знают, и которая, если бы не повсеместная грязь, казалась бы райским местечком, созданным для покоя души и убажания тела. Мотив затерянности здесь во всём, и вообще трудно представить, как живут люди без интернета, театров, кино, библиотек... Очень простая жизнь: ловят рыбу, рожают детей, работают кто как может. Выживают, словом сказать. Да и то — какой интернет? У них и времени нет, чтобы зависать в соцсетях.

Малыши

Эта новая жизнь кипит в каждом дворе, и вообще малышей везде очень много. Их любят, их берегут. Но не все ходят в школу, а в некоторых районах страны у детей просто нет доступа к образованию. Зато они работают. Мы видели совсем юных тружеников, помогающих взрослым и делающих что-то даже самостоятельно, выполняя несложные, но зачастую тяжёлые работы.

Дервиш

Не знаю, кто я. Не знаю, как меня зовут. Не знаю, где живу. Не знаю своих родителей. Не знаю, где добывают еду. Не знаю день, месяц и год. Не знаю времени. Не знаю судьбы. Не знаю любви. Не знаю — на земле я или на небе. Знаю голод, холод, жажду и боль.

Долблёнка на берегу

На древних лодках, выдолбленных из цельного куска дерева, плавали в незапамятные времена и плавают по сей день. Лодка дешёвая, неприхотлива и надёжна. Правда, лишь в каботажном плавании, ибо ясно, что далеко на такой посудине не уйдёшь. Лично я на ней и вдоль берега не рискнул бы. А индийские рыбаки ходят — и ничего.

Сушка рыбы

Это не нашествие змей, это зимняя еда. Богатые уловы вялятся под солнцем Махараштры. В сезон дождей будет чем кормить семью. Такие импровизированные сушилки расположены на всех прибрежных скалах, и я едва удержался от наглой несанкционированной дегустации.

Верхний посёлок

Верхний посёлок рыбаков, где стоит небольшой храм. Быт — самый непритязательный. Дети, куры, бельё на верёвках. Днём посёлок почти пуст, рыбаки на море. А где рыбачки, один Ганеша знает. Тишина, покой, но неуютно без людей. Зато красиво.

Жених и невеста

За меня дали хорошее приданое. Родители собирали его восемнадцать лет. Жених замечательный — богатый и красивый. Будет добрым, заботливым мужем. Рожу ему детей. Трех. А лучше — пятерых. Богатая свадьба. Красивая свадьба. Весёлая свадьба. Много гостей. Даже европейцы пожаловали. Будет что внукам рассказать.

Сельская свадьба

Боевая раскраска индийской свадьбы напоминает мне полотна Климта. Золото, буйство красок и тлеющая подспудно страсть. Всё кипит, клокочет, взрывается... эмоции гостей на пределе... гремит музыка, грохочут барабаны... Разве уснёт кто-нибудь в этой деревеньке?

Лики народа

Лица настолько интересные и такая в каждом из них читается судьба, что ты останавливаешься волей-неволей и вглядываешься: что там, в этих глубинах неведомых тебе океанов? Какие бури снаружи и какие внутри? Что стоит за этими лицами и что видят они, вглядываясь в тебя?

Одна

А это уж отдельная песня. Одна на свете. Дети давно разлетелись, внуки разъехались по границам. Правнуки тоже есть, да где они, эти правнуки?

Вот сидит живая история, осколок прошлого века в придорожной дешёвой харчевне на обочине дальней дороги, на обочине жизни, на обочине судьбы... Чего просить ей у мира? Нечего. Уже ничего не нужно, только стаканчик масалы¹ и тихое спокойствие нежного утра...

Пещеры буддистских монахов

Буддийско-индуистские пещеры, которым более двух тысяч лет, спрятаны вдали от хоженных троп, посреди джунглей, и тянутся они вдоль берега древней реки. Эти пещеры, а числом их, наверное, несколько десятков, выдолблены в толще монолитной скалы на протяжении полутора километров. Здесь, на каменных ложах, спали сначала буддийские монахи, но прошло несколько веков, и они исчезли. На их месте поселились индуистские отшельники, а потом и они растворились в вечности. В центре комплекса — монументальный храм, также выдолбленный в скале.

¹ Масала — популярный в Индии чай, получаемый путём заваривания чая со смесью индийских специй и трав.

Джагдиш-правитель

Меня зовут Джагдиш. Словно в насмешку мне это имя, ибо оно означает — правитель. Могу ли я править и царствовать? Нет, ведь моя семья бедна и принадлежит к одной из низших каст. Но я — артист тейяма¹, и на всё время представления перевоплощаюсь в бога. Танцоры тейяма — только мужчины. Наше искусство передаётся по наследству, от отца к сыну. Танцуют в тейяме артисты из бедняков. Я думаю, это компенсация небес за скудость нашей жизни. Когда смотрю в зеркало, становлюсь высшим существом и вхожу в божественный пантеон...

Индийский сюр

Я думаю, последняя папироска с грибами была лишней. И коктейлем-шасси из кактусов зря усугубил я своё и без того крайне нестабильное состояние. Они пришли. Они были неумолимы. Они преследовали нас. Они хотели отобрать у меня ум, честь и совесть нашей эпохи. Я был против, я возражал, всем видом своим показывая категорическое несогласие. Теперь я знаю, как тяжело пожать каменной его десницы. И её, конечно же, само собой.

До Веры Мухиной и её рабочего с колхозницей местным умельцам далеко, но их отчаянная попытка приблизиться к советскому соцреалистическому шедевр достоин уважения.

Дай десять рупий

Да, я бомжую. Но я чистый. На мне чистая рубашка. Чистые волосы, борода. У меня чистая постель. Я не работаю, и что? Я философ. Вот ты скажи мне: где мы, когда нас нет? Не знаешь? И правильно. Потому что ты не философ. Когда нас нет, мы — везде. Если нас нет, то мы в дереве, в улицах, в морской воде... мы в облаках, в воздухе. Мы будем всегда. Смерть — это просто смена сезонов. У тебя есть десять рупий? Вот видишь, а у меня нет. Дай мне твои десять рупий, и у тебя их не будет. Но у меня-то они будут. Понял, да? Ну, давай скорей десять рупий!

Часть веры

Люблю эти лица, потому что в них нет никакого театра, в них жизнь и, я бы даже сказал, — бытие. Эта бытийность во всём — в движениях рук, в поворотах голов, во взглядах. Так смотрела Мария, когда готовила кашу Младенцу, а потом лицо её стало мифом, легендой и частью веры. Нет ничего интереснее человеческого лица, ибо по нему можно читать историю приключений и тихих досугов, побед и поражений,

¹ Тейям — доиндуистская прамистерия, соединяющая в себе религию, философию и народный театр. Корни её — в доарийском культе почитания духов. В тейяме более трёхсот сюжетов, но используются в настоящее время лишь двадцать-тридцать. Тейям трудно увидеть, он исполняется только в глубинке. Один из главных сюжетов тейяма — дружба-соперничество Шивы и Кришны, их борьба за жену-богиню, которая является им в образе тигрицы. В ночном тейяме огненный Шива изображает битву с соперником и покорение полосатой кошки. Тейям похож на религиозные радения, но более неистов. Местные верят, что в исполнителей вселяются духи умерших, чтобы общаться с миром живых. (Прим. авт.)

ИНДИЯ В СЕРДЦЕ. Этнографическое путешествие *Фото Владимира Лидского*

Это была настоящая туристическая авантюра, потому что редкий путешественник мог бы добраться в те места, где удалось побывать нам. Мы видели глубинную Индию, неприкрашенную, неухоженную, такую, какая она есть на самом деле, мы видели людей, тот самый коренной, укоренившийся на этой земле множество веков назад народ, который и составляет суть индийской цивилизации. Мы отправились в настоящее этнографическое путешествие, и все увиденное нами было аутентичным. Конечно, мы миновали замечательные музеи, которые тоже могли бы рассказать нам много интересного о стране, но музеи мы можем посетить и в другой раз, а вот то, что удалось испытать в глубинке, вряд ли получится испытать повторно.



ПОБЕРЕЖЬЕ

*«Меня зовут Даярам, что значит "сострадание Рамы".
Я родился в этой деревне, её прозвание — Харнай».*



ЖЕНЫ РЫБАКОВ

«Наши мужья ловят рыбу. Они удачливы, иначе мы не носили бы таких сари».



ФОТО НА ПАМЯТЬ

«Прикольный этот мужик. И борода у него смешная. Наши такие бороды не носят».



ПРЕКРАСНЫЕ ДАМЫ



РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ И БУЙСТВО КРАСОК



ДУША СТРАНЫ.

«Индия — девочка, Индия — дитя. Это и есть душа страны — улыбчивая, глазастая, наивная и доверчивая».



МАРСИАНСКИЕ КАМНИ



БЕЗ УЧАСТИЯ ЧЕЛОВЕКА

*«...и когда предвечернее солнце ложится на этот благословенный берег,
я смотрю на маленькие фигурки вдали, на белого зебу в упряжке...»*



ЗАТЕРЯННОСТЬ

*«Такая романтическая деревня, где почти все друг друга знают,
и если бы не повсеместная грязь, казалась бы она райским местечком...»*



МАЛЫШИ

«Эта новая жизнь кипит в каждом дворе, и вообще малышей везде очень много».



ДЕРВИШ

«Не знаю, кто я. Не знаю, как меня зовут. Не знаю, где живу».



ВЕРХНИЙ ПОСЁЛОК

«Верхний посёлок рыбаков, где стоит небольшой храм».



ЖЕНИХ И НЕВЕСТА

«За меня дали хорошее приданое. Родители собирали его восемнадцать лет».



СЕЛЬСКАЯ СВАДЬБА

«Боевая раскраска индийской свадьбы напоминает мне полотна Климта».



ОДНА

*«А это уж отдельная песня. Одна на свете.
Дети давно разлетелись, внуки уже по заграницам».*



ПЕЩЕРЫ БУДДИСТСКИХ МОНАХОВ

*«Буддистско-индуистские пещеры, которым более двух тысяч лет,
спрятаны вдали от хоженных троп».*



ДЖАГДИШ-ПРАВИТЕЛЬ



ИНДИЙСКИЙ СЮР

«Я думаю, последняя папироска с грибами была лишней».



СВЯЩЕННОЕ ЖИВОТНОЕ

*«Европейцы на фоне городских коров смотрятся забавно.
Ладно бы это была деревня, но ведь город».*



ИГРУШЕЧКА

*«Маленький храм в золоте заката промелькнул мимо и исчез за поворотом.
Снял, из окна автобуса, и, тем не менее, что-то в этом есть».*

страстей и покаяний; миллионы лиц — миллионы историй. Вглядываясь в них, постигаешь одновременно себя, и тебе никогда не скучно.

Книги

Книжные в Индии тоже есть. Сказать, что мы сильно удивились, увидев такой магазин, значит, не сказать ничего. Правда, человека с книгой или хоть с газетой мы ни разу не встретили. Ни в городах, ни в деревнях. Что тоже удивляет. Не то чтобы индийцы были поголовно хорошо образованны, нет, но страна имеет гигантский интеллектуальный потенциал. Индия — космическая держава и обладает ядерным оружием. В Индии более 500 высших учебных заведений, правда, образование могут позволить себе далеко не все, так как годовое обучение в вузах стоит около пятнадцати тысяч долларов. Но книжные магазины есть даже в небольших городках.

Священное животное

Европейцы на фоне городских коров смотрятся забавно. Ладно бы это была деревня, но ведь город. Куда деваются эти коровы после смерти, в каких райских кушах пасутся? Возможно, в будущей жизни, когда сам стану коровой (быком?), я всё узнаю до мелочей. Тогда и расскажу.

Говядина в Индии, как уже сказано, не употребляется в пищу. Корова для индийцев — священное животное. Впрочем, здесь и вообще с мясом напряжёнка. Нельзя сказать, что его вовсе нет, но индийцы едят в основном вегетарианскую пищу. В сельских забегаловках мяса нет вообще, в крупных городах, в ресторанах для туристов можно заказать европейскую еду, но без говядины. Легко найти блюда из куриного мяса или рыбы. Обобщая, можно сказать, что индийская пища весьма непривычна для человека с севера или запада: слишком много специй, сахара, еда очень острая и необычных для европейца консистенций.

Животные на воле

Заповедник Мудумалай в штате Тамилнад — уникальное место, где можно увидеть огромное количество животных в естественной среде обитания. Это граница Карнатаки и Кералы. Только слонов тут более двух тысяч. И тигры есть, и леопарды, а уж обезьяны так просто стаями носятся повсюду.

Сафари было азартным и увлекательным. Хотя в руках была только фото- и киноаппаратура, а не ружьё. В таких заповедниках пробуждаются какие-то первобытные чувства, это весьма необычный опыт, который даёт совершенно новые представления о жизни и позволяет осознать своё ничтожное место в этом гигантском и разнообразном мире. Ты всего лишь биологическая единица среди сонма иных биологических единиц.

Купание чёрного слона

Люблю Петрова-Водкина и его «Купание красного коня», а вот довелось же увидеть и купание чёрного слона. И это, конечно, незабываемое зрелище! Пятитонный исполин барахтается и резвится в реке, как грациозный котёнок. Слоны обожают воду. Они валяются на мелководье, подняв столбы ног, хлопают ушами и поливают себя

из хоботов. Это настоящий цирк, но ни в одном цирке такого не увидишь. А хозяева слонов драят их грубые шкуры жёсткими щётками. Слоны при этом послушно подставляют бока, животы и прочие части своих гигантских тел.

Джайны

По дороге в аэропорт встретили джайнов. Главная цель приверженцев этой религиозной доктрины — самосовершенствование души ради достижения всеведения, всеисия и вечного блаженства. Самый страшный грех для джайнов — причинение вреда, боли, неудобства живым существам вокруг. У них даже рот закрыт специальной повязкой, дабы не вдохнуть случайно какую-нибудь мошку. А метёлка — чтобы подметать дорогу перед собой: вдруг на пути попадётся муравей, блоха или войско микробов. Вот так вот. А вы говорите — мировые войны...

Игрушечка

Снял из окна автобуса и, тем не менее что-то в этом есть. Маленький храм в золоте заката промелькнул мимо и исчез за поворотом. Мы промелькнём в своём закатном золоте и так же исчезнем за поворотом, как игрушечный храмик, посвящённый неизвестному божеству, а те, кто ещё не дошёл до поворота, едва успеют помахать нам вслед... Но ведь мы ещё свидимся? Свидимся, а поэтому:

— До свиданья!

Дмитрий Шеваров

Тоска по Татарскому

Радио на стенке говорит негромко.
Ровный, тихий голос каждому знаком.
А ему на печке на своём наречье
Подпевает чайник тонким голоском.

Маро Маркарян

Так назывался мой первый очерк о Викторе Витальевиче: «Тоска по Татарскому»¹. Это название ему нравилось. Бывало, вдруг вспомнит о нём и в который раз с притворной строгостью спросит: «И вы сами придумали такой странный заголовок?.. А может, редактор?..»

«Да нет, — с ученической поспешностью отвечаю я, — это мой заголовок!»

И тут Виктор Витальевич весело отзывается: «Браво!..»

Тогда, тридцать лет назад, это название — «Тоска по Татарскому» — казалось странным и мне самому. В начале 1990-х Виктор Татарский был на пике своей популярности и как актёр, и как радиоведущий. «Встречу с песней» слушали в стране все, у кого был репродуктор на кухне или транзисторный приёмник на тумбочке. Я же только за две недели до выхода статьи в «Комсомолке» познакомился с Виктором Витальевичем, и впереди были долгие годы нашего счастливого, ничем не омраченного общения. Какая могла быть тоска?..

Виктор Татарский родился 17 ноября 1939 года в семье научных работников, живших в Ленинграде на Кировском (ныне Каменноостровском) проспекте в доме 26/28. Это знаменитый дом «трёх Бенуа» на 16-й линии Васильевского острова. Отец — Виталий Борисович Татарский (1907—1993) — был ученым в области геолого-минералогических наук, преподавал в Ленинградском университете, заведовал кафедрой. Мать — Нина Юрьевна Икорникова (1913—2002) — химик, во время

Шеваров Дмитрий Геннадьевич — журналист, писатель. Родился в 1962 году в Барнауле. Закончил факультет журналистики Уральского государственного университета им. А.М. Горького. Печатался в журналах «Новый мир», «Урал». Автор книг прозы «Жители травы», «Добрые лица», «Вологодская тетрадь», «Воздушная тревога» и др. Автор и составитель изданий о русской поэзии «Тихая пристань», «Двенадцать поэтов 1812 года», «Три счастливых детства», «Ушли на рассвете», «До свидания, мальчики», «Нечаянный Пушкин». Лауреат премий «Ясная Поляна», «Anthologia», Горьковской литературной премии, премии «Александр Невский», имени П.Бажова и др. Постоянный автор «ДН». Живёт в Подмоскowie.

¹ *Д.Шеваров. Тоска по Татарскому. — «Комсомольская правда», 24 августа 1994.*

войны — начальник цеха в Институте галургии; правнучка Николая Гавриловича Чернышевского.

Про первые семь лет жизни Виктора Витальевича мы почти ничего не знаем. Всё, что сам он знал о себе маленьком, — это рассказ матери, относящийся к зиме 1941—1942 годов: «Я везу тебя на санках, вдруг — взрыв. Ты показываешь рукой в ту сторону и смеешься...». Четыре года (с 1942-го по 1945-й), проведенные мальчиком в Доме малютки Петроградского района Ленинграда, и вовсе были скрыты от него непроницаемой завесой. Так было со многими детьми, родившимися в канун войны: Господь прикрыл им ладонью глаза, заслонил от них самое страшное.

О том, что пережил маленький Виктор, мы можем лишь догадываться по редким документам или немногим свидетельствам ленинградцев.

Вот что записывал в дневнике врач Израиль Назимов (он заведовал отделом внебольничной помощи Ленгорздравотдела): «15 февраля 1942. Воскресенье. Просмотрел работу Дома малютки. Плохо. Нужно срочно принимать решительные меры. Борьбы за жизнь ребенка в этом учреждении не чувствуется. Часов в 7 вечера начался сильный артиллерийский обстрел города...»

А вот запись из дневника военного шофёра Николая Елисеева, 24 апреля 1942 года: «В результате налёта имеются жертвы гражданского населения. Одна авиабомба упала в Дом малютки, убила заведующего и несколько детей. Главной целью удара был Васильевский остров... Имеются попадания в крейсер...»

В Ленинграде Дома малютки были открыты во всех центральных районах города. Прежде всего туда направлялись маленькие сироты и дети ленинградцев, ушедших на фронт. О каких конкретно Домах идет речь в приведенных выше дневниковых записях, мы не знаем, но очевидно, что все они страдали от налетов, от голода и холода.

Судя по дневнику И. Назимова, были попытки их эвакуировать, но самое большее, что удавалось, — это вывезти детей на лето в зеленые пригороды Ленинграда, на «дачу».

Память вернулась к мальчику лишь 9 мая 1945 года, когда отец привел его на набережную Невы, где в честь Победы выстроились на рейде расцвеченные огнями военные корабли и раздались залпы салюта.

После расформирования Дома малютки Витя жил у друзей семьи. После войны они разыскали Нину Юрьевну, жившую уже в Москве, и она забрала сына в столицу. К тому времени родители мальчика разошлись. Нина Юрьевна вышла замуж во второй раз. Отчимом Виктора стал театральный режиссёр Валерий Михайлович Бебутов. Человек большой культуры и такта, Валерий Михайлович относился к мальчику бережно, никогда не повышал на него голос. Он понимал, что после того, что пережил Витя, с ним не может быть легко и просто. И характер у Виктора оказался скорее от матери, чем от отца, — взрывной, предельно эмоциональный и при этом скрытный, глубоко замкнутый. Бебутов умел одним словом — в нужной интонации и вовремя сказанным — дать оценку тому или иному поступку Вити. Именно Валерий Михайлович дал пасынку первые уроки актёрского мастерства — уроки владения собой. Благодаря Бебутову перед подростком открылся мир сцены, мир театра.

В Москве Витя оказался новеньким и во дворе, и в школе. Так началась его личная война за свою жизнь и достоинство.

Дети войны — подранки, безотцовщина. Часто — нервные, «психованные», как тогда говорили. Свою обездоленность пацаны вымещали на ровесниках послабее или ребятах помладше. Ни матери, ни милиция с ними не справлялись. Осколки зла и горя, попавшие в детские души, не может извлечь ни один хирург.

Виктор Витальевич рассказывал мне: «Мы жили в деревянном двухэтажном доме. Он стоял на углу Борисоглебского и Собачьей площадки, на месте нынешнего кинотеатра “Октябрь”. Мы там жили с 1947 по 1957 годы. Арбат был бандитским

районом, а наша 103-я школа — хулиганской. На меня часто налетали мальчишки — втроем-вчетвером на одного. Поэтому сейчас, если вижу, что мальчишки обижают слабого или несколько на одного, — я тут же вмешиваюсь. От меня отстали только в седьмом классе, когда я организовал драмкружок имени Сергея Мартинсона и у меня стали заниматься старшеклассники: они домой меня провожали, чтобы я жив остался... А вы спрашиваете, почему я не пишу мемуары. А что вспоминать? Как меня колотили? Или как разводились родители? Или как я оказался в Доме малютки?..»

В последние годы Виктор Витальевич, обычно избегавший говорить в эфире о себе и от себя, признавался, если это было к месту, что он — ленинградец и всю блокаду оставался в ленинградском Доме малютки. При этом он непременно благодарил тех, кто спас его в годы войны. Надеялся: а вдруг кто-то из сотрудников ещё жив и услышит по радио его слова.

27 января 2014 года, в день 70-летия снятия блокады Ленинграда, Виктор Татарский участвовал в прямом эфире «Радио России» и сказал тогда: «Хочу поблагодарить сотрудников детского дома на Петроградской стороне. Я низко кланяюсь им. Они спасали детей. Это был подвиг...»

В ответ слушатели «Встречи...» писали Виктору Витальевичу: «Спасибо тем женщинам, которые в блокадном Ленинграде сберегли вас крошечкой...»

Но ни одна из его спасительниц, увы, так и не откликнулась.

Разбирая почту «Встречи с песней», Виктор Витальевич в особый пакет откладывал письма из Ленинграда. Они звучали в эфире в первую очередь.

В 1970—1980-е годы все свои литературные программы Татарский старался прежде всего показать в родном городе. И ленинградцы отвечали ему любовью. Особенно ему запомнилась худенькая седая женщина, приходившая на все его выступления с маленькой корзинкой, прикрытой салфеткой. «После концерта она подавала эту корзинку мне. В корзинке было домашнее печенье...»

Бывая в гостях у Виктора Витальевича (а жил он в старинном арбатском доме, замечательном не только своими знаменитыми жильцами, но и тем, что в нем находился легендарный «Зоомагазин») и бросив взгляд в окно, нельзя было не вспомнить Ленинград — за окном открывался совершенно петербургский двор-колодец.

В Главную музыкальную редакцию Всесоюзного радио недавнего выпускника Щепкинского училища Виктора Татарского привел Онегин Гаджикасимов. Рекомендация популярного поэта-песенника оказалась убедительной. Кроме того, за плечами у Виктора был опыт работы на Мурманском радио и телевидении. И вот в 1967 году в эфир вышла его авторская «Встреча с песней»¹, ставшая эпохой в истории отечественного радиовещания: появилась передача, целиком основанная на письмах слушателей, создававших её сюжеты, её драматургию.

Виктор Витальевич в разное время вёл на радио и другие популярные музыкальные программы («Запишите на ваши магнитофоны», «Музыкальный глобус»,

¹ Ещё в 1950-е годы журналист Иван Спиридонович Рахилло вёл на Всесоюзном радио передачу с таким же названием. В ней звучали рассказы авторов песен об истории их создания. В середине 1960-х «Встреча с песней» вернулась в эфир благодаря режиссеру Терезе Владиславовне Рымшевич. Но передача тогда выходила эпизодически (чаще всего к красным датам календаря) и была основана на интервью с авторами песен. С 31 января 1967 года начались регулярные (примерно раз в месяц) выпуски «Встречи...». Первые семь выпусков провёл актёр Геннадий Леонидович Бортников. С 1968 года «Встреча с песней» стала выходить в эфир раз в две недели.

«На всех широтах»), но «Встрече с песней» выпала совершенно особая судьба. Эта авторская программа Виктора Татарского побила все мировые рекорды звучания в эфире. В январе 2022 года передаче исполнилось 55 лет.

Первые четверть века своей жизни «Встреча с песней» выходила по пятницам. Позднее, в 90-е — по субботам в 21 час 10 минут по московскому времени.

Поначалу «Встреча...» была адресована фронтовикам и тем, кто пережил войну (а не пережили её в ту пору, в 1967 году, лишь те, кто был младше двадцати двух лет). Следуя просьбам фронтовиков, Виктор Татарский искал и передавал в эфире редкие песни военной поры. Но уже тогда главной составляющей передачи он считал содержательные письма. Под содержательностью он понимал и мысли, и сюжет, и чувства, и стиль, и даже почерк. Это был для него главный критерий при отборе писем.

«Встреча...» родилась как ответ на то, что начинало происходить с памятью о войне, как реакция самых чутких сердец на казённое к этой памяти отношение. Именно на рубеже 1960—1970-х стал нарастать пафос майских торжеств, на фронтовиков щедрым дождем посыпались юбилейные медали. Появились таблички с дикими аббревиатурами, их до сих пор ещё можно встретить в сельпо и районных больничках: «Участники и инвалиды ВОВ обслуживаются без очереди», «Палата ИОВ».

Негромкие и сердечные песни, родившиеся в окопах и блиндажах, вытеснялись громовыми одами победе и партии. Одновременно нарастало ощущение *невывлаканности* горя, недосказанности. Кровоточащая рана заслонялась бетонными монументами.

Через полвека, уже на наших глазах, сытые циники, не нюхавшие пороха, доведут эту тенденцию до апофеоза: они приватизируют память о войне и сделают из нее инструмент удержания власти.

Самые совестливые люди уже в конце 1960-х предчувствовали такую опасность. Константин Симонов записывал в дневнике: «Я сделал для себя окончательный выбор и решил до конца своей жизни класть все оставшиеся у меня силы на то, чтобы, во-первых, в меру своих сил и понимания писать и говорить правду о войне; во-вторых, на то, чтобы опять-таки в меру своих сил и понимания мешать тому, чтобы о ней говорили неправду; в третьих, стремиться к тому, чтобы роль рядового участника войны, вынесшего на своем горбу её главную тяжесть, предстала перед последующими поколениями и во всем её подлинном трагизме, и во всем её подлинном героизме...»

Симонову тогда было пятьдесят лет, Виктору Татарскому — двадцать семь. Знаменитый поэт-фронтовик и пока мало кому известный молодой актёр сделали один выбор. Оба ради правды пожертвовали многим. Симонов — покоем, устоявшимся положением классика. Татарский — карьерой официального диктора, преемника Юрия Левитана.

Как раз в январе 1967 года, когда в эфир вышел первый выпуск «Встречи с песней», Константин Михайлович Симонов отстаивал перед чиновниками свой документальный фильм «Если дорог тебе твой дом». В конце концов ему пришлось снять свое имя с титров фильма: «Быть причастным к искажению нашей истории при помощи умолчания о её наиболее драматических моментах я, как писатель, не могу».

Виктор Татарский вел борьбу с теми же чиновниками на своем фронте. Многомиллионная аудитория «Встречи...» о цензурных сложностях ничего не знала, но чуткие люди догадывались, сколь нелегко приходится молодому ведущему. Они стремились поддержать его — кто при случайной встрече, кто телефонным звонком, кто письмом.

С первых выпусков «Встречи...» её слушателем стал Михаил Исаковский: «Давно хотел написать Вам, чтобы сказать спасибо за отличную передачу “Встреча с песней”, которую Вы ведёте. А ведёте Вы её так умело, так умно, с таким большим тактом и пониманием, что, кажется, лучше и нельзя. Словом “Встреча с песней” представляется мне самой лучшей из всех постоянно существующих на радио передач, и спасибо Вам, что она такая... Буду Вам признателен, если Вы позвоните мне в ближайшее время...» (январь 1973 г.)

С первого же выпуска передачи в 1967 году нота светлого воспоминания была задана музыкальной заставкой — оркестровым вступлением к песне Михаила Исаковского и Бориса Мокроусова «Одинокая гармонь». Отчего-то, только заслышав её, затихаешь — так, что слышишь собственное дыхание. Иногда голос Татарского заставляет чуть ли не вздрогнуть от странного чувства: кроме тебя и многих-многих рассеянных по планете слушателей у «Встречи...» есть ещё один Слушатель. И он слушает вместе с нами...

«Встречу...» и её ведущего полюбили Леонид Утёсов и Изабелла Юрьева, Юрий Никулин и Леонид Енгибаров, Лидия Либединская и Александр Сокуров (тогда ещё школьник), Лев Шилов и Валентин Курбатов, Никита Михалков и Юрий Соломин, Александр Городницкий и Юрий Визбор... Пронзительные письма во «Встречу...» пришли от Василия Белова и Виктора Астафьева¹.

Голос Татарского создавал вокруг себя пространство умной, благоговейной тишины, притягивая к приёмникам талантливых, самостоятельно мыслящих и глубоко страдающих людей. Виктор Витальевич так и говорил о своей аудитории: «Благополучные люди не пишут во “Встречу...”». А ещё он любил повторять: «Слушатели “Встречи...” — лучшая часть человечества».

Фронтовики доверяли ему то, о чем порой избегали рассказывать даже близким. Они писали не о подвигах, а о погибших друзьях. С раскаянием вспоминали такие случаи, которые их не красили. Ими двигало чувство вины перед ровесниками, которые остались на полях сражений. Так они исповедовались. Исповедальная нота во «Встрече...» стала определять всё её духовное содержание, задавать интонацию передаче.

В Церкви священник, участвующий в таинстве исповеди, находится в наиболее сложном, можно сказать, пограничном положении: он стоит между человеком и Богом как часовой, охраняющий это событие особой важности. Поэтому (если есть на то возможность) исповедуют прихожан священники духовно и житейски опытные, часто пожилые. А Татарскому и тридцати не было, когда исповедальные письма хлынули к нему потоком: как будто люди ждали вот именно такого человека — сдержанного, немногословного, скупого на эмоции, с таким голосом — ленинградским, без всякой актерской валяжности или наигранной доверительности.

Виктор Витальевич хорошо понимал силу воздействия своего голоса. Не раз мы вместе были в самых разных «присутственных местах», и чаще всего он предоставлял мне право вести переговоры с администраторами, кассиршами, продавцами. Не хотел пользоваться слишком узнаваемым голосом как рычагом, который открывает двери.

¹ Виктор Астафьев. Нет мне ответа... Эпистолярный дневник 1952—2001. — Иркутск: Издатель Сапронов, 2009. Стр. 280—281.

С годами «Встреча...» стала, никак этого не декларируя, первой подлинно христианской программой на радио. Это была уже передача не только о человеке на войне, но и о судьбе вообще, о любви, о несении креста и о жизни после смерти. Всё это произошло ещё в советское время, в семидесятые-восемидесятые годы, и никакая цензура ничего с этим не могла поделать, поскольку таким был дух передачи, а он неуловим административными мерами.

Впрочем, после 1991 года новые хозяева жизни сделали то, что прежним держимордам не удалось: они выкинули «Встречу с песней» с «первой кнопки». Хотели и припугнуть, и приручить Татарского. Рассчитывали никуда не денется, придёт на поклон, бросит «Встречу...», которая не вписывается в новую реальность, продаст свой голос за крошки с барского стола, начнет рекламировать пиццу, пиво или какую-нибудь политическую партию. Но Татарский отмёл соблазны и искушения. Даже в горькие месяцы безденежья отверг все предложения поучаствовать в рекламе. А таких — настойчивых — предложений было множество, и сулили торгаши миллионы.

Прошло несколько лет и «Встречу...» по настоянию слушателей вернули в эфир главной радиостанции страны. Но это была уже не та большая страна, где голос Татарского собирал у приёмника жителей Риги и Полтавы, Вильнюса и Ташкента, Еревана и Ашхабада... По злой воле заигравшихся политиков миллионы людей лишились возможности слушать любимую передачу (и лишены до сих пор).

Как относилось к Виктору Татарскому руководство радио? Не сказать что недоброжелательно, но чувствовалась настороженность. С давних пор в начальственных коридорах за Татарским закрепилась опасная слава «неуправляемого». Поэтому почтение, которое ему время от времени выказывалось, выглядело натужным, отдавало холодком.

Татарскому не мешали, но и не помогали. Ни разу не предложили машину, чтобы привезти на запись. Зная о его давних проблемах с сердцем, никто из радиона начальников даже не подумал о том, чтобы привлечь к лечению серьезных специалистов или хотя бы предложить путевку в санаторий.

Ничего этого Виктор Витальевич не просил, но могли бы ведь и сами догадаться. Могли бы не принуждать к увольнению его постоянного звукорежиссера. Могли бы не бросаться на летучках такими словами как «нафталин». А ведь нашлись доброжелатели, поспешившие сообщить.

С конца 1980-х годов Татарский был волен высказываться в своей передаче обо всём на свете, но он никогда не тянул одеяло на себя. Лишь изредка в нескольких словах комментировал письма или отвечал на заданный вопрос. «А я живу с бабушкой, и у меня нет планшета», — пишет мальчик из Орла. И тут Виктор Витальевич будто между прочим роняет: «И у меня нет планшета, как-то обхожусь...» Или кто-то пожалуется в письме: «У меня нет машины...»; а Виктор Витальевич утешительно заметит: «Я тоже пешеход, машины нет...» В почте попадались и неподписанные письма. Это огорчало, но он знал, что у слушателей бывают причины не называть себя, поэтому, представляя письмо, позволял себе лишь понимающе, с еле приметной улыбкой вздохнуть: «Письмо неведомо откуда, незнамо от кого...» Говорил слушателям: «Вглядываясь в ваш почерк, я вижу вас...» Вот почему он предпочитал рукописные письма электронным. (Как писал отец Павел Флоренский: «В произведении руки человеческой всегда есть таинственное мерцание жизни...»)

Теперь уже не секрет: Виктор Витальевич записывал выпуски «Встречи с песней» не просто заранее — за год-полтора до выхода в эфир. В том была жизненная необходимость: на тот случай, если автор «Встречи...» заболит, слегнет, попадет в больницу. Да и вообще: у нас всегда может произойти что-то непредвиденное. Он говорил: «Я никогда не забываю, в какой стране мне выпало родиться».

Некоторые коллеги считали предусмотрительность мэтра причудой: «Ну это же анахронизм!..» Недоумевали порой и авторы писем во «Встречу...»: «Ну когда же прозвучит мое письмо?! Сколько можно ждать...» А тем временем все письма были в работе: некоторые отложены до определенной даты, другие вошли в сценарий передачи, а третьи уже прочитаны у микрофона, но сама передача ещё ждала своего часа выйти в эфир. Уезжая в отпуск, он тревожился и просил меня «присмотреть» за «Встречей...». Это означало послушать в субботу передачу с особенным вниманием, отслеживая звучание как музыки, так и голоса.

Его прощание со слушателями никогда не было рутинным. Невозможно представить, чтобы Татарский сказал слушателям банальное «пока-пока» или «до новых встреч в эфире». Он приберегал для финала передачи что-то особенное, иногда дружески шутливое, иногда чуть высокопарное, но всегда полное искреннего участия и заботы. «Добрых летних дней...» — «Не простужайтесь, берегите себя и всех, кто вам дорог...» — «Мира и благоденствия вашему дому, весеннего настроения...» — «Добрых мыслей, благих начинаний...» — «Добра и благоденствия!..» — «Остаюсь без лести преданный вам Виктор Татарский...» — «Диалог с вами вёл Виктор Татарский...»

Особенно внимателен Виктор Витальевич был к письмам молодых. Во «Встрече...» звучали немыслимые для современного эфира обращения: «Досточтимый Михаил Николаевич, поздравляю вас с шестнадцатилетием!..» Он и к моим дочерям всегда обращался на «вы» и только по имени-отчеству: Ася Дмитриевна, Вера Дмитриевна...

Татарский говорил: «“Встреча...” — это то, что поручено мне на Земле». Чтобы перепоручить её подготовку кому-либо другому, — об этом не могло быть речи ни при каких обстоятельствах. Да и кто бы потянул этот крест? Татарский ведь был не только ведущим, но и режиссёром и сценаристом передачи. Он один был всем.

Его одиночество перед микрофоном разделял только звукорежиссер Дмитрий Фёдоров. Кстати, именно он помог спасти «Встречу...» в пандемию, когда аппаратные оказались недоступны, — запись проходила на квартире у Татарского. Так что, слушая последние выпуски «Встречи...», знайте, что вы буквально, а не в переносном смысле, в гостях у Виктора Витальевича на Арбате.

В злосчастном феврале 2022 года я пожаловался ему: не пишется — всё из рук валится. В ответ он сказал, что работает над выпусками... 2024 года. «Ну и как там, в 2024-м?..» — спрашиваю вовсе не шутя, а всерьёз. Виктор Витальевич грустно хмыкает и переводит разговор на другую тему.

Он не любил иллюзии и отвергал пустое благодушие с его дежурными утешениями: мол, не переживайте, как-то само наладится. Услышав от кого-либо совет «не принимайте близко к сердцу», Татарский морщился как от зубной боли. Он считал такие фразы вопиющей, нестерпимой пошлостью, а того, кто смел давать ему такие рекомендации, мог навсегда вычеркнуть из круга своего общения.

В глобальном масштабе Виктор Витальевич не мог ничего предотвратить, но верил в то, что «Встреча...» поможет кому-то зацепиться за жизнь, не сорваться

в пропасть. «Виктор, спасибо, что не даёшь умереть старым песням, которые и мне не дают умереть...»

Место Виктора Татарского в русской и мировой культуре еще долго не будет определено. Для этого должна осесть информационная пыль. Должна развеяться пелена ожесточения, многим застилающая глаза. Нам осталось огромное наследие — километры бесценных записей, каждая из которых — эталон русской речи, классика звучащей словесности.

Магией своего голоса Виктор Татарский творил культуру будущего, соединяя в своей работе музыку, поэзию, историю, театр, эстраду, психологию, журналистику, риторику, святоотеческие заветы и даже медицину. Можно назвать это искусство синтетическим или полифоническим, но точнее назвать *искусством Татарского*.

Мы познакомились тридцать лет назад, 21 августа 1994 года. К тому времени я уже много лет слушал «Встречу...» и представлял себе её ведущего как человека шепетильного, взыскательного, строгого, очень закрытого. Так и оказалось: шепетилен, взыскателен, строг, закрыт.

Но я ушел от него в каком-то веселом недоумении, успокоенный и свободный от страха перед мэтром. Последнее, что сказал Виктор Витальевич, когда я стоял уже в дверях: «Храни вас Бог...»

Перед тем как появиться на пороге у ВикВита¹ первый раз, я, конечно, позвонил. А до этого искал номер его телефона. Найдя, не сразу решился набрать. В ту пору мне было тридцать два года, не так и много, но уже саднила тоска по детству, по его вдруг осознанной недостижимости. Мне казалось, если я встречу ВикВита, отменится горестная невозвратность. Знакомство с Татарским придавало осмысленность переезду в Москву. Приехали мы в столицу в трагические дни октября 1993 года — беда витала в воздухе. Неустроенность первых месяцев, болезни детей, ещё совсем маленьких, переживания жены, неурядицы на работе — после всего этого нельзя было не пожалеть о переезде, о том, что зря сорвал семью с места.

Встреча с Татарским и вдруг родившаяся наша дружба были одним из тех немногих счастливых московских событий, которые впоследствии помогли мне отчасти оправдаться перед родными людьми за муки переезда. Человеку с годами очень важно знать, что всё в его жизни было не случайно, не впустую; что и опрометчивые поступки, влекущие нас неведомо куда, Господь наполняет смыслом.

«Встреча с великим человеком продолжается дольше, чем мы предполагаем, и налагает на нас обязательства, о которых мы не подозреваем...» (Эдуард Бабаев).

Отзвук наших встреч и разговоров сохранился в моих дневниковых записях. Записи скупые, сделанные на бегу, поэтому, предлагая их читателю, я, сколь позволит память, буду их комментировать.

¹ ВикВит — здесь и далее: Виктор Витальевич Татарский.

Акварель

Осень 1994

Казанский вокзал. Дождь. ВикВит: «Я обожал Паустовского. Когда он умер, я нес его гроб. Это был единственный писатель, которого я хоронил от Дома литераторов на улице Герцена до места упокоения. А хоронили Паустовского в Тарусе... Я дружил с Алёшей Паустовским. Алёша не раз приезжал ко мне. Он был замечательной личностью. Его акварель — спокойный осенний пейзаж много лет висит передо мной на стене...»

Алёша Паустовский ушел вслед за отцом и тоже лежит на Тарусском кладбище. Ему было всего двадцать шесть лет, когда он погиб.

Верится, что Алексей когда-нибудь написал бы портрет Виктора Витальевича. Вообще странно, что никто из художников не просил его позировать. Впрочем, он вряд ли бы согласился. (А ведь лицо у Татарского было редкостное: смуглое лицо испанского гранда, сложное по изменчивости, по глубине запечатленных на нём переживаний, по благородству черт, принадлежащих разным народам Кавказа, Ближнего Востока и Европы. С определенностью он говорил мне о том, что среди его предков — армяне, евреи, поляки и русские, а в какой-то глубине и татары, конечно.)

Акварель, подаренная Татарскому Алёшей, удивительна по «паустовскому» настроению. Поздняя осень. Дворик почтовой станции в Тарусе: амбары, сараи, тележные колеса, солома... И — никого. Всё замерло перед первым снегом. Акварель много лет висела просто прикрепленная на кнопки и потому выгорела на солнце, бумага пожелтела. Однажды Виктор Витальевич подарил «Тарусский дворик» мне. Теперь акварель висит у меня в комнате, теперь уже в рамке, под стеклом.

Мы часто говорили о Паустовском. Прощание с ним в Тарусе в июле 1968 года Виктор Витальевич вспоминал как одно из главных событий в жизни. А ещё до этого, в Щепкинском училище, он выбрал рассказ «Старик в станционном буфете» для чтения на экзамене. Это было первое литературное произведение, прочитанное Татарским со сцены, и оно навсегда осталось в его репертуаре. Разбуди его ночью — и он мог прочитать этот рассказ.

В Третьяковке

Май 1995

ВикВит: «Вас в Третьяковке спрашивают картины: “Где Дима?” “Да всё не соберется”, — говорю я...»

Тогда начались съёмки «Истории одного шедевра», и Татарский много времени проводил в залах Третьяковской галереи, которую очень любил. Часто вспоминал отрывок из диалога Фаины Георгиевны Раневской с Натальей Крымовой. «Почему вы так часто переходили из театра в театр?» — «Я искала настоящее искусство». — «Нашли?» — «Да, нашла. В Третьяковской галерее...»

ВикВит имел свое мнение о каждой великой картине и о том, какими словами уместно о ней говорить, поэтому часто не соглашался со сценаристами, сердился, правил текст, и в результате получилось хорошо. После было продолжение — сериал

о Русском музее. Тогда у Виктора Витальевича была счастливая возможность недолго пожить в родном городе.

«Кому повем печаль мою...»

23 августа 1995

«Встреча с песней» — чеховская передача. В «Доме с мезонином» есть строки — они кажутся написанными человеком, который только что услышал «Встречу...»: «Когда меня томит одиночество и мне грустно, я вспоминаю смутно, и мало-помалу мне почему-то начинает казаться, что обо мне тоже вспоминают, меня ждут и что мы встретимся...»

Вик Вит: «Когда мне очень грустно, печально и я где-то далеко от Москвы, от дома, я очень люблю перечитывать короткие рассказы Чехова. Очень люблю “Попрыгунью”. Или вот “Ванька Жуков”. Или “Капитанка”. Или рассказ “Тоска”... — “Кому повем печаль мою?..”»

«Кому повем печаль мою?..» — это было одним из любимых присловий Виктора Витальевича. По сути это — эпиграф ко «Встрече с песней». Людям некому было поведать свою печаль, и они писали на радио Татарскому. Он был их печальником. Словарь так трактует это слово: «Тот, кто разделяет печаль; покровитель, заступник, благодетель».

Источник этого горестного вопрошания «кому повем печаль мою?..» — старинный духовный стих, часто звучавший в среде паломников и странников. Стих называется «Плач Иосифа Прекрасного, проданного в рабство в Египет».

Кому повем печаль мою,
Кого призову к рыданию?
Токмо Тебе, Владыко мой,
Известен плач сердечной мой...

12-я аппаратная

20 октября 1995

Вик Вит рассказывает:

Один профессор прислал на днях письмо на 35 страницах. Он 30 лет собирался мне написать, а написал только когда у него инфаркт случился.

Тархова мне говорит про начальство:

— Витя, не расстраивайтесь — чем хуже, тем лучше.

— Как это?

— Чем ниже они падут, тем выше окажемся мы.

Как на улице дождь, у нас в 12-й аппаратной вода капает. И это слышно на записи, потом приходится вырезать эти куски и переписывать.

12-я аппаратная — намоленная. Входя в студию, закрывая за собой дверь, я оставляю в своем существе только самое хорошее. Только добро, только благорасположение, всё остальное — за дверью. Там, во «Встрече...», — я такой, каким бы я хотел быть.

31 января 1996

Письма во «Встречу...»:

«Дорогой Виктор Витальевич, здравствуйте! Поздравляю Вас сердечно с очередной годовщиной “Встречи...” У меня всё как было: живу достаточно трудно. Но, знаете, на фоне общей беды даже и не хотела бы жить благополучнее — стыдно. Пусть будет так, как у всех. Надежды не теряю, ищу маленькие радости, иногда хожу на концерты, слушаю радио — живу. Спасибо за многолетнюю верность всем нам, за чуткость и доброту.

Анна Михайловна

Москва»

«Помню, как в детстве, услышав знакомую мелодию “Одиноким гармони”, карабкалась на стол, чтобы снять со стены приёмник. С той поры прошло много лет, но так же, как в детстве, я всегда с нетерпением жду знакомые позывные и, отложив все дела, сажусь поближе к радио. Слушать Вашу передачу.

Говорят, что незаменимых людей не бывает. Уверена, что Ваша работа абсолютно опровергает эту, казалось бы, прописную истину. Если Вы, не дай Бог, когда-нибудь решите уйти на пенсию, — «Встречи с песней» просто не станет существовать.

Светлана Полетило

С.-Петербург»

Капли Вотчала

29 мая 1996

Сегодня мне стало дурно в Домжуре: сердце прихватило. Присел на первом этаже, надеясь, что станет лучше. Но сердце выпрыгивало, и я думал, что же мне делать. Лекарств с собой нет. Вызывать скорую помощь как-то стыдно. Вдруг заметил прямо над головой телефон-автомат. В каком-то полубессознательном состоянии набрал номер Виктора Витальевича. Он тут же поднял трубку. Сразу понял по моему голосу, что мне нехорошо. Спросил, где я. «Никуда не уходите, я скоро». Уже через пятнадцать минут Виктор Витальевич накапывал мне в стаканчик какие-то капли (а сердце-то мне отпустило сразу, как только я увидел вбегающего в фойе Виктора Витальевича). Убедившись, что мне лучше, посадил меня в такси. Я был спасен. Добравшись до дома, звоню Виктору Витальевичу, мол, все хорошо. Спрашиваю о чудодейственных каплях. «Это капли Вотчала».

С тех пор капли Вотчала всегда есть в моей аптечке. Правда, теперь они продаются в аптеках под другим названием — карниланд. Такое переименование несправедливо. Борис Евгеньевич Вотчал лечил Бориса Пастернака, Анну Ахматову, Фаину Раневскую, Льва Ландау, Георгия Жукова. Главный терапевт Советской Армии, академик. А капли Вотчала элементарны по составу — нитроглицерин, ментол, этанол и настойки трех трав: валерианы, красавки и ландыша. Каплями Вотчала пользовался отчим Виктора Витальевича — Валерий Михайлович Бебутов.

Спасатель

Июнь 1996

Приехали в Плёс. Ночным поездом до Иванова, а там такси взяли. Где бы ни появлялся ВикВит — все становятся тише, суета замирает. Будто в воздухе натягивается струна, которую все боятся задеть. И все понимают, кто натянул эту струну, — вот этот худощавый молчаливый человек. Кстати, в лицо его мало кто знает. Ему не приходится надевать тёмные очки как кинозвездам.

В Плёсе ВикВиту нравится тишина, неспешность, простор. «Есть много замечательных вещей помимо работы. Я это всегда знал...»

Первое наше путешествие с Виктором Витальевичем — в Плёс, в дом творчества СТД. Со мной жена Наташа и младшая дочка Вера. Ей неполных семь лет. У нее сразу сложились с Виктором Витальевичем свои особенные отношения. Веруся впервые увидела взрослого человека, который относится к ней всерьез, без приседания на корточки. Что важно — они были интересны друг другу. Оба любили собак и кошек, умели с ними общаться. После обеда Вера и Виктор Витальевич шли кормить собак, живших во дворе Дома творчества.

Июнь выдался холодным и дождливым. Приходилось не расставаться с зонтиками. На память о той поездке остался снимок: Виктор Витальевич, Наташа и Верочка стоят на ступеньках Дома творчества. Виктор Витальевич держит мой кособокий зонт со сломанной спицей.

В хорошую погоду мы ходили по Плёсу, поднимались на гору Левитана, заходили на рыночек у причала, где продавали творог, молоко, зелень и первую землянику. Виктор Витальевич покупал землянику, попутно двумя-тремя приветливыми фразами развеивая тоску грустных женщин, переживавших, что мало туристов и торговля идет плохо.

Умаявшись от подъемов и спусков по горам, смотрели на Волгу, на редкие теплоходы и баржи. От причала ходил катер, и однажды утром решили воспользоваться им и посмотреть, что там, на другом берегу.

Причалив, пошли в гору, к селу Красному, а Виктор Витальевич остался на берегу. Его сердце противилось крутым подъемам. Мы побродили по селу, полюбовались издали, с крутого обрыва, на Плёс. Увидели сверху Виктора Витальевича — он стоял совершенно один, обратившись лицом к Волге, пустынной, просторной. Мне захотелось окликнуть его, но я удержался. Даже на таком расстоянии чувствовалось, что он счастлив. Счастлив от простора, от легкого ветра с Волги, от того, что вокруг на сотни метров никого нет и никто не дергает, не досаждаёт разговорами.

Пока Наташа с Верусей собирали букет в высоких травах, я сфотографировал с горы одинокий силуэт Виктора Витальевича. Дома отпечатал снимок. И хотя лица не видно, мне кажется, это одна из самых удачных фотографий Татарского. На ней есть всё, что он любил: простор, лето, небо, одиночество.

Тем же катерком, сновавшим по Волге от берега к берегу, мы вернулись.

В ту пору жизнь была уже откровенно бедной. По набережной бродили нетрезвые, заросшие щетиной мужики, потерявшие работу и не понимающие, как жить дальше. Заприметив Татарского одного на скамейке (когда он курил, то не хотел дымить на нас

и присаживался в сторонке), они как-то бочком, осторожно приближались. Просили огонька или сигаретку. Пробовали рассказать про свою жизнь, поначалу волнуясь и с трудом подыскивая слова. Увидев в его глазах понимание, увлеченно повествовали о своих горестях.

После таких встреч Татарский мрачнел. Он не умел не переживать. Уходил в свою комнату, читал Паустовского.

В его комнату мы приходили иногда вечером на чай. Чайников в номерах не было, но у ВикВита был кипятильник, и он терпеливо на всех кипятил воду.

В один из погожих дней предложил пойти на лодочную станцию и взять напрокат лодку. Он очень любил гребти и вообще воды не боялся. Мы согласились.

Татарский со знанием дела выбрал лодку. Мы вышли из бухты и пошли вдоль берега Волги по направлению к нашему Дому творчества. Сначала грёб Виктор Витальевич, потом я сменил его. В какой-то момент на солнце нашла туча, ветер посвежел, и я почувствовал, что нас относит к фарватеру, где в любой момент могла появиться «Ракета» или какая-нибудь баржа. Вдруг, будто из неоткуда, хлынул дождь. На реке усилилось волнение, волны мгновенно потемнели, стали свинцовыми, лодка угрожающе раскачивалась, перестав подчиняться. Виктор Витальевич решительно прогнал меня с места гребца. Ему быстро удалось поставить лодку носом к волне, и мы пошли к берегу.

Не знаю, как Верочка, а мы с Наташей здорово тогда напугались.

«Куда я попал...»

29 августа 1996

Сегодня мы спорили по телефону (проклятая политика!). ВикВит: «Когда наступило время испытаний, ваш народ повел себя плохо. Мы попали в уголовный барак — все резвятся, а охрана спит или пьянствует. На верх идет всякая пакость, которую советский режим держал в узде...»

Всякий раз, сталкиваясь с хамством и прочими прелестями нашей жизни, Татарский с возмущением пенял мне: «Вот он, ваш народ-богоносец. Вы его всегда защищаете, а он ведет себя мерзко...»

Поначалу было обидно: с какой стати я должен быть ответчиком за весь народ? Потом притерпелся.

Когда в тверской деревне погибла семья батюшки Андрея Николаева, в репортажах по ТВ на лица односельчан не было ни скорби, ни горя. После этого ВикВит сказал мне: «Это ваш народ и убил. А вы его все защищаете...»

Говорил с болью, почти с отчаянием. Татарский имел право *так* говорить, ведь он всю жизнь посвятил сопереживанию людям. Однажды он сказал мне: «У меня есть одно хорошее качество — сочувствие...» Но он не терпел сентиментального, благодушного народолюбия.

Его не очень утешали мои слова о том, что народ — это те люди, которые пишут во «Встречу...», слушают ее, и это прекрасный народ. ВикВит знал, что погоду в стране делают, увы, совсем другие люди. Он с горечью прерывал меня: «Оставьте, Дима... Мой предок Николай Гаврилович не звал к топору, это на него наговаривали, а вот я бы позвал. Впрочем, у меня больше всего вопросов к людям, к нам, а не к властям...»

ВикВит считал, что я живу в иллюзорном мире и жизни не знаю. Его любимым риторическим вопросом было: «Дима, вы в какой стране живете?.. Я вот, оказавшись младенцем в блокаде, сразу понял, куда я попал...»

Оберегал себя от иллюзий так, как мы оберегаем себя от разочарований. Ему были равно чужды как мечты о будущем, так и ностальгия по прошлому. Категорически протестовал, когда «Встречу...» называли ностальгической передачей. «Так говорят люди, которые не слушают передачу. Если бы они слушали, они бы знали, что “Встреча...” о любви к жизни, а не о любви к прошлому...»

Письма

18 октября 1996

«Дорогой Виктор Витальевич!

Большое Вам спасибо за выполнение моей просьбы. Когда я услышал в эфире свое письмо и музыку марша, то почувствовал, как мной овладело спокойствие и чувство выполненного долга перед павшими воинами, в том числе и перед моими ровесниками. Вы сделали всё так, как следовало. Приношу извинение за задержку ответа, решилась моя судьба; теперь всё хорошо.

Юрий Егоров

Казань»

«Здравствуй, дорогая, самая любимая, такая необходимая и ничем не заменимая “Встреча с песней”! Как прекрасно, как радостно, тепло и светло на душе от сознания и чувства того, что Вы есть на белом свете и в нашей жизни и что на Вас всегда можно надеяться.

Михаил Маринов

с. Дубчёвка

Черкасская область

Украина»

Кони бегут по снегу

28 апреля 1997

Получил письмо от Галины Васильевны Касиновой из Гатчины: «Спасите передачу “Встреча с песней” — этот светлый огонек среди полнейшего безразличия к нам государства, единственная передача, которая помогает оставаться людьми...»

Обзвонил за эти дни немало серьезных людей, которые могли бы чем-то помочь. Одни в ответ сетовали: «Нас самих закрывают». Вторые говорили: «Пойми, время таких передач прошло». Третьи хмыкали: «Старик, тут страна гибнет, а ты нашел, о чём беспокоиться...»

В общем, шансов, что передача останется в эфире, очень мало.

5 августа 1997

Разогнали Радио-1. Что будет теперь со «Встречей...»?..

12 февраля 1999

Вместе слушаем «Встречу...» — на диване, прижавшись друг к другу. Звучит запись Плевицкой с пластинки столетней давности.

Спрашиваю детей: «На что похоже скрипение старой пластинки?..»

— Кони бегут по снегу...

— Костер горит, трещит...

— Дождь идет...

Коврик

21 октября 1999

История, рассказанная Виктором Витальевичем.

В подъезд ходил ночевать бомж, соседи его гоняли. Но он всё равно ходил — открывал дверь отмычкой, брал у дверей Татарского на четвертом этаже коврик (он у него самый длинный и чистый) и шел на второй этаж, там против квартиры модельера Зайцева есть ниша под лестницей.

Утром Виктор Витальевич уходил по делам, а вечером на обратном пути забирал свой коврик.

Так продолжалось до осени. В Москве грянули события (1993 год). Столица наполнилась дымом и бесприютными людьми.

Тогда ВикВит рассудил, что нехорошо у бомжа забирать коврик, и вообще — пусть живет, — хоть и не консержка, но всё-таки живой человек в подъезде.

Былое и думы

24 января 2009

Из письма во «Встречу...»: «После вашей передачи иногда чувствую себя так, будто побывал в церкви...» Письмо подписано: «Инвалид идеологического фронта».

21 октября 2009

Звонил Виктору Витальевичу. Мои архивные занятия настораживают его. Я рассказал о найденных мною старых письмах одного церковного деятеля, рассказал с воодушевлением, а ВикВит вздохнул: «И что вы там всё в прошлом роетесь? Что вы всё назад глядите?..»

При этом любимым чтением Виктора Витальевича были мемуары. Все его последние большие работы на радио — это композиции по мемуарной прозе Александра Галича, Андрея Вознесенского, Эльдара Рязанова, Михаила Ромма и Сергея Довлатова.

Выбор книги для работы всегда был мучителен и долог. Виктор Витальевич перебирал свою библиотеку, обходил ряды букинистов на Арбате, заглядывал в Дом книги, советовался со мной, чему я был несказанно рад. Я тут же принимался азартно рыться на своих книжных полках. Откладывал то, что казалось подходящим. Скоро у телефона вырастала стопка книг, и я звонил Виктору Витальевичу, чтобы «огласить весь список». Что-то он сразу отвергал, что-то просил занести ему при случае. Иногда все отобранные мной книги возвращались на свои места, и я продолжал поиск.

Итог нашего многолетнего книжного круговорота и долгих обсуждений — пять больших работ Виктора Витальевича: «Письма русского путешественника» Карамзина, «Философические письма» Чаадаева, «Былое и думы» Герцена, «Окаянные дни» Бунина и «В окопах Сталинграда» Виктора Некрасова.

Не раз я осторожно предлагал Татарскому самому взяться за мемуары. Он всякий раз категорично отказывался: «Я не журналист. Я изначально не журналист. Не литератор. У меня эмоциональный порыв — первый и главный. Мне неинтересно писать. Я пользуюсь видениями. Я вижу, ощущаю всех тех людей, к которым обращаюсь. Не миллионы на площади Тяньаньмэнь, а конкретных людей. Хороших, интересных, ярких, умных людей...»

Снежок и Репка

13 мая 2014

Вечером звонил Виктор Витальевич: «Расскажите мне что-нибудь...» Он посмотрелся телевизора, стало плохо с сердцем.

Я стал что-то рассказывать про внучку Лизу, про книжки, про погоду, про мытье окон, про облака, про Снежка.

Снежок — это наш кот. Когда он выпал у нас из окна и потерялся, ВикВит каждый день звонил, чтобы узнать, нашелся кот или ещё нет.

Везде, где бы мы ни были с Виктором Витальевичем, к нему шли собаки и кошки. Устраивались рядом, давали себя погладить. ВикВит говорил с ними. Его голос особенно нравился кошкам. Когда по радио начиналась «Встреча...», кошки устраивались поближе к радиоприемнику и дремали, шевеля кончиками своих чутких ушей. Об этом ему не раз сообщали в письмах слушатели, об этом ему рассказывала Новелла Матвеева — она слушала «Встречу...» с кошкой Репкой на коленях. Передавая Виктору Витальевичу свою новую книгу, Матвеева написала на титульном листе: «Кошка Репка, всегда подмурлыкивающая песням Ваших радиопередач, Вам тоже кланяется! (Она любит пение Элвиса Пресли!)».

ВикВиту всегда хотелось завести собаку, но что с ней делать, куда пристроить, если надо уехать?.. Обременять кого-либо он не хотел.

11 октября 2014

Из письма во «Встречу»: «Нет никого из действующих лиц моей судьбы...»

«Ваша постоянная слушательница Н.Матвеева...»

5 сентября 2016

Поднимаю телефонную трубку — ВикВит из Ялты: «Звоню с горечью — умерла Новелла Николаевна... Я никогда её не видел, говорил только по телефону, но ощущаю сейчас, что потерял очень близкого человека... Она была гениальной затворницей. Она часто звонила мне. Как жалко, что Новелла Николаевна не услышит октябрьского выпуска — там письмо о ней, её голос и песня Городницкого о ней...»

Взаимное дружеское притяжение Виктора Татарского и Новеллы Матвеевой установилось на моих глазах. Новелла Николаевна с детства была человеком радио. Телевидение для неё не существовало. Телевизора никогда и не было. А вот спидола стояла на почетном месте. «Встречу с песней» Матвеева слушала с самых первых выпусков. Долго не решалась написать во «Встречу...» письмо, но, когда узнала, что мы знакомы и даже дружны, написала Виктору Витальевичу о «Варяге» — любимой песне своего отца. Я передал это письмо из рук в руки, и оно прозвучало во «Встрече...» Потом Новелла Николаевна ещё не раз передавала Виктору Витальевичу свои новые диски и книги.

Вот её письмо ВВТ, написанное 2 января 2009 года:

«Глубокоуважаемый Виктор Витальевич!

С Новым годом Вас! И с новыми прекрасными передачами — «Встречи с песней»!

Я их слушаю (по возможности — не пропуская) с начала 1960-х годов. Хотя точно уже не помню, — может быть, и с конца 50-х. (А до этого у нашей семьи просто не было радио.) И часто (когда уже и у нас было некоторое радио) слушали мы Вас всей семьей. И никогда это наше увлечение не исчезало и не ослабевало. Ещё бы!

Здоровья Вам — и счастливого Нового года!

Ваша постоянная слушательница Н.Матвеева».

На протяжении четверти века Виктор Витальевич в первом выпуске октября поздравлял Новеллу Николаевну с днем рождения и передавал одну из её песен.

Только трех своих современниц Виктор Витальевич неизменно поздравлял во «Встрече...» с днем рождения: Новеллу Матвееву, Алису Фрейндлих и Елену Камбурову. Он безмерно уважал их и ценил, пристально следил за творчеством этих великих женщин.

Одинокая гармонь

19 ноября 2016

ВикВит сорвал голос. Врач сказал как можно больше молчать, переутомление связок. На днях я вдруг понял, что в «Одинокой гармонии», написанной Исаковским еще в 1945-м, уже таилась интонация «Встречи с песней» — интонация тихого разговора в сумерках, где-то на ступеньках крыльца. Разговора скорее с самим собой, чем с кем-то.

*Снова замерло всё до рассвета —
Дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь.
Только слышно — на улице где-то
Одинокая бродит гармонь...*

Первое послевоенное лето. Притихшая, наполовину обезлюдевшая деревня или поселок. Женщины, которые до утра прислушиваются: не скрипнет ли калитка, не послышатся ли родные шаги. Девушки, не дождавшиеся с фронта женихов. И гармонь — близкая и недостижимая. Она слышится им, слышится, да не видится. Бродит в потемках этот родной звук мирной жизни, да жизнь-то без милого не мила...

Вот тут и понимаешь, отчего песня называется «Одинокая гармонь». Не вернулся наш гармонист. И гармонь без него — сирота.

*«Подумайте обо мне...»**4 марта 2017*

«С 10.30 до 12.00. Татарский». Такие «напоминалки» я держу перед глазами в субботу, когда ВикВит записывает «Встречу...». Вот уже много лет он накануне записи просит: «Подумайте в это время обо мне...»

После записи, вечером, мы, как всегда, созвонились. «Меня накануне колотит безумно так, как будто утром мне идти на первый экзамен в Щепкинское училище. Но колотун происходит только до того момента, как я сажусь у микрофона и включаю лампу...»

Никогда бы не посмел коснуться отношений Виктора Витальевича с Всевышним, если бы не тот удивительный урок, который он невольно мне дал. Это даже больше, чем урок. Виктор Витальевич укрепил меня в вере, он дал мне понимание того, что такое *молитва*. Доселе молитва казалась мне необходимым послушанием, рутинной обязанностью, но силы её я не понимал, не чувствовал. Я просил и до сих пор прошу помолиться других людей, прежде всего священников, когда в том есть необходимость, но к своей молитве я всегда относился скептически, понимая своё недостойство, зная свою лень, рассеяние, неспособность к глубокой сосредоточенности — в общем всё то, что называется *маловерием*.

Тем больше я был обескуражен, когда однажды, лет десять назад, Виктор Витальевич попросил меня помолиться о том, чтобы у него благополучно прошла запись. Тогда он даже не сказал «помолиться», сказал — «вспомните обо мне завтра», но было понятно, что речь идет о молитве. Он и потом редко говорил высокое слово «молитва», чаще «подумайте обо мне завтра», «прошу вас не забыть обо мне завтра утром», «побудьте мысленно со мной завтра»...

Я писал себе записки на утро, чтобы не забыть. Первое время по своему маловерию я думал о ВикВите параллельно своим делам и заботам, просто старался держать в голове, что он вот сейчас работает и мысленно желал ему, чтобы всё получилось. Трудно было назвать это молитвой.

В тот же вечер мы созванивались, я с некоторым страхом спрашивал: ну как прошла запись?

По рассеянности я иногда вовсе забывал о том, что обещал помолиться в назначенное время (после этого и стал писать себе «напоминалки»). И тогда было очень стыдно. Язык не поворачивался сказать. Набирал телефон Виктора Витальевича, многозначительно вздыхал, извинялся, приводя уважительные доводы: меня отвлекли, было срочное дело и т.п. Но чаще всего я и пролепетать ничего не успевал. ВикВит опережал меня: «Да я всё знаю, можете ничего не объяснять. Печально. Ну что же вы так?.. Сорвали запись. Придется всё перезаписывать...»

Пойти на детскую хитрость, утаить свою промашку и успокоить — мол, думал, переживал, молился — нет, пойти на это даже ради утешения Виктора Витальевича я не мог. Такое лукавство бы просто не прошло. Он всегда знал, молился я или нет. Говорил, что точно может сказать, когда, в какую минуту я вспомнил о своей обязанности. И всякий раз сверка наших часов показывала абсолютное совпадение. Мне становилось от этого не по себе — будто приоткрывалась какая-то сокровенная завеса. И сразу думалось: как же тонок духовный наш мир, как мы все связаны в нём и как это невыразимо. Ну мы и не говорили об этом много, не пытались богословствовать. Самое главное было для нас прозрачно и очевидно.

Слушатель

7 ноября 2019

Виктору Витальевичу скоро 80. Пишу для газеты к этому дню. Сейчас самое удивительное я вижу не в долговечности передачи, а в том, что происходит в тот день и час, когда передача выходит в эфир: люди, ничего друг о друге не ведающие, собираются вокруг радиоприемника, и вдруг становятся друг другу родными. Это не обманчивое умиление случайных попутчиков, выпивших за знакомство. Нет, это чувство строгое и ясное — оно обнимает и живущих, и тех, кто ушел, и тех, кто будет жить после нас.

Из чего оно возникает — из писем ли, которые читает Виктор Татарский, или из забытых песен? Наверное, и из них тоже, но более всего — из нашего одновременного прикосновения к чему-то очень важному, истинному.

Сегодня люди в большинстве своем очень одиноки и «Встречу...» слушают в одиночестве, но, когда мы слушаем, — мы не одиноки. За неполный час, пока длится передача, ты успеешь перебрать в памяти не только всех своих далеких и близких, но вспомнишь вдруг и того, кого почему-то давно не вспоминал.

Иногда, слушая голос Татарского, чуть не вздрагиваешь от странной догадки: кроме тебя и многих-многих рассеянных по планете слушателей, у «Встречи...» есть еще один Слушатель. И Он слушает вместе с нами.

Во дворе, где четыре скамейки

13 июня 2021

Был у ВикВита. Он похудел, осунулся. Ходит не очень уверенно. И при всем этом работает на 2023 год.

ВикВит сетует на то, что не умеет терпеть боль. На мои слова, что боль терпеть вредно: «Надо же хоть что-то терпеть...»

Сидели на солнышке на Арбате, потом у театра Вахтангова в тени у фонтана, потом во дворе, где четыре скамейки.

«Я буду работать до конца жизни, а там посмотрим... Передача меня переживёт... Там... — там, где большинство, — меня должны встретить хорошо. Потому что многих никто, кроме меня, не поминает...»

И ведь правда: каждая «Встреча...» — это звуковой помянник, мартиролог. О ком-то из поминаемых в передаче композиторов, певцов, поэтов и потомки забыли или не осталось у них потомков. А сколько во «Встрече...» звучало (и будет звучать всегда — до тех пор, пока хранятся записи) имён неизвестных миру прекрасных людей: чьих-то отошедших ко Господу дедушек и бабушек, отцов и матерей, братьев и сестер, любимых и друзей. Не счесть этих имен! Я сам не раз писал во «Встречу...» о родных и любимых: о дедушке Коле, о бабушке Вере, о моем погибшем друге Диме Королёве...

9 июня 2021

ВикВит: «Мне кажется, я живу в стране захватчиков...»

*«Человека можно и не заставить...»**6 июля 2021*

Неделю не звонил Виктору Витальевичу. «Звоните... а то ведь человека можно и не заставить...»

27 февраля 2022

Господи, упокой душу раба Твоего Виктора!..

В тот день почувствовал неладное с самого утра. Звоню ВикВиту и не могу дозвониться. Обзваниваю общих друзей и знакомых. Они тоже не могут дозвониться.

Накануне вечером, часов в девять, мы говорили. ВикВит спрашивал, что бы ещё могло помочь от болей в сердце. Я вслух перебирал все знакомые мне названия сердечных лекарств. ВикВит сказал, что всё это уже испробовано. Я не решился настоять на том, что было бы единственно верным — вызвать скорую. Упоминание о скорой обычно раздражало его. Он всегда учил меня: «Надо справляться самому...»

26 марта 2022

Горе горькое по свету мыкалось и на нас невзначай набрело... Как жить — об этом и поговорить не с кем. Ужасно не хватает ВикВита. Он бы сказал: «Ну, рассказывайте...» Нет, он бы не утешил, но ободрил бы своей твердостью, решимостью исполнять предназначенное в любых условиях, работать наперекор внешним обстоятельствам.

...Сегодня ночью мне приснился сон: будто мы с ВикВитом плывем на теплоходе. Корабль большой, народу много, и тут — шторм, корабль загребает воду бортом, но я спокоен, потому что ВикВит рядом — элегантный, выдержанный, строгий.

А вечером сегодня «Встреча...» — один из тех выпусков, которые Виктор Витальевич успел записать и оставить нам. Возможно, там будет разгадка сегодняшних наших ночных встреч.

8 апреля 2022

Вчера было 40 дней со дня ухода ВикВита. С Наташей ездили на Троекуровское. Лютый промозглый ветер воеет и сносит, роняет венки, цветы и фотографии. Скорбно до ужаса. Подобрал разбитую рамку с фотографией Бориса Невзорова. А рядом лежат Валентин Гафт, Борис Плотников... Любимые наши актёры. Теперь вот и ВикВит здесь... Нет, не здесь, а там, где никто не мешает смотреть вдаль, трепать щенков и гладить кошек, слушать любимую музыку...

*Последний выпуск**10 июня 2023*

В эфир вышел последний выпуск «Встречи с песней». Передача пережила своего создателя на 473 дня. Нестерпимо хочется позвонить Виктору Витальевичу. Каждый день смотрю на молчащий городской телефон и жду звонка от него и не понимаю: я-то почему ему не звоню?!

Что с этим делать? Кому повем печаль мою?..

Тоска по Татарскому

1 января 2024

Утром, пока тихо в доме и за окном, работал. Это тоже «школа Татарского»: хоть немного, но непременно работать даже в новогоднее утро. Иначе, он считал, легко сбить дыхание, изменить себе, уступить массовому наваждению.

Новогоднюю ночь он в последние годы встречал по-чеховски — то есть никак не встречал. Этот порядок сам собой образовался после ухода Лидии Борисовны Либединской. Пока она была жива, Виктор Витальевич две ночи в году — новогоднюю и пасхальную — встречал в гостеприимном доме Лидии Борисовны.

...Вдруг вспомнилось: лето, я в гостях у Виктора Витальевича. Как хорошо у него в доме — балкон открыт во двор, занавеска колышется, светотени играют на полу. В комнате лампада горит у иконы...

Икона святых пророков Илии и Иезекииля — большая, храмовая. Давний подарок Виктору Татарскому от Сергея Никоненко.

В 1970 году Никоненко снимался в фильме режиссёра Василия Ордынского «Красная площадь». Сергей Петрович играл роль матроса-анархиста Володи Кольцова, ставшего большевиком. Съёмки проходили в Ярославской области. Там Никоненко подобрал обречённую на гибель икону, привёз в Москву и подарил своему другу детства.

27 февраля 2022 года Виктор Витальевич Татарский скончался под этой иконой¹.

* * *

Из последних заявок Виктора Татарского в службу обеспечения Государственного телерадиофонда. «Прошу выдать для передачи “Встреча с песней” для использования в 2023 году следующие фондовые материалы...»

«Сулико» в исп. Т.Махарадзе;
«Памяти Карузо» в исп. Паваротти;
«Ласточка», армянская песня в исп. П.Лисициана;
«Соловей» в исп. А.Соленковой;
«Повій вітре на Вкраїну» в исп. И.Козловского;
«Рондо» Бетховена в исп. С.Рихтера;
«Норвежский танец» Грига;
«Над Канадой небо синее...» А.Городницкого;
ария из оперы «Самсон и Далила» в исп. Н.Обуховой;
«Жертва вечерняя» П.Чеснокова в исп. хора;
«Катюша» в исп. В.Батищевой;
«Палуба» в исп. Т. и С. Никитиных;
«Не для меня придёт весна...» в исп. А.Карамзина.

¹ Сейчас принадлежавшая Виктору Татарскому икона святых пророков Илии и Иезекииля отреставрирована и находится в храме Спаса Нерукотворного Образа. Этот древний храм стоит вблизи станции Водники Савёловского направления железной дороги, в черте города Долгопрудного.

«Жизнь начинается заново именно так...»

24 мая Иосифу Бродскому исполнилось бы 85 лет. Конечно, любопытно, каким бы он был старцем, но ещё интересней — как живут его стихи. С одной стороны, ушло придыхание, с которым звучало его имя в девяностых и нулевых, его интонация, ритмика, лексика, его строфа уже не так повально заразительны, с другой — книги регулярно издаются и раскупаются, в кризисные моменты стихи Бродского выстреливают и разлетаются по соцсетям, репостятся, порождают мемы, обретая миллионную аудиторию и вызывая яростные споры.

*...Разрастаясь как мысль облаков о себе в синеве,
время жизни, стремясь отделиться от времени смерти,
обращается к звуку, к его серебру в соловье,
центробежной иглой разгоняя масштаб круговерти.*

*Так творятся миры, ибо радиус, подвиги чьи
в захолустных садах созерцаемы выцветшей осью,
руку бросившим пальцем на слух подбирает ключи
к бытию вне себя, в просторечьи — к его безголосью.*

*Так лучи подбирают пространство; так пальцы слепца
неспособны отдёргнуть себя, слыша крик «Осторожней!».
Освещённая вещь обрастает чертами лица.
Чем пластинка черней, тем её доиграть невозможней¹.*

Мы решили провести блиц — на два простых вопроса отвечают:

*Алексей АЛЁХИН, Евгения Джен БАРАНОВА, Вера ЗУБАРЕВА,
Геннадий КАЛАШНИКОВ, Алёна КАРИМОВА, Марина КУДИМОВА,
Вадим МЕСЯЦ, Вадим МУРАТХАНОВ, Олеся НИКОЛАЕВА, Александр ПЕРЕВЕРЗИН,
Сергей ПОПОВ, Андрей ФАМИЦКИЙ, Феликс ЧЕЧИК, Константин ШАКАРЯН,
Ганна ШЕВЧЕНКО.*

Итак:

- 1. Ваша встреча с Бродским (его стихами). Впечатление и влияние.*
- 2. Для вас лично Бродский — важный сегодня поэт или достояние канона русской поэзии?*

¹ Иосиф Бродский. Bagatelle.

Алексей Алёхин, поэт (г. Москва)

«Пришедший гений меняет состав литературного воздуха»

В середине примерно шестидесятых все вдруг — и поэтическая братия, и критика — принялись пророчить и поджидать появления у нас «нового Пушкина». Помнится, даже в «Литературке» писали. И кого только не прочили на данную *вакансию*, чуть ли не Юрия Кузнецова. А к этому времени нагловатый и рыжеватый молодой тунеядец из Ленинграда понаписал уже немало шедевров из тех, что теперь всякий знает. Смешно получилось.

Когда чуть позже, в конце 70-х и уже в 80-е, его хорошенько прочли, всё стало очевидным. На радость большинству, а кому и в огорчение. Явился *первый поэт*. И дело не в том, что *первый*, а в том расстоянии, которое сразу отделило его от *вторых* — притом что тоже настоящих, значительных. Бродский стал последним по времени, пятым или шестым, смотря как считать, великим русским поэтом XX века.

Гений всегда мешает современникам. С ним неудобно. Это как геологический фактор, выросшая вдруг гора, и с ней ничего не поделаешь. Смешно и глупо ворчать на гору, что не на том месте выросла. Но не обошлось и без того. Причем, занятно, едва ль не чаще заслуженных лауреатов и кумиров эстрады огорчились обитатели «бойлерных», числившие себя первыми в очереди на пьедестал, как только место освободится.

Очухавшись от первого потрясения, поэты-критики-литературоведы принялись сперва осторожненько, а потом уж и с вызовом поругивать Бродского за «причиненный поэзии вред».

Под «вредом» в первую очередь понимали тут же расплодившуюся армию его эпигонов. Чему смешно удивляться: всякое яркое явление искусства заведомо порождает массу подражателей, и чем оно ярче, тем их больше. Их и правда хватало, и длилось это лет десять с лишком, пожалуй. Потом прошло. Нынче «под Бродского» пишут разве совсем уж тормознутые дилетанты — а другие, как и встарь, под Пушкина, под Некрасова, под Есенина и под Сергея Михалкова, ну а самые продвинутые под Мандельштама.

До первых серьезных изданий поэзия его наплывала порциями, путая хронологию. Весь Бродский первых лет эмиграции — это непрерывная ностальгия плюс тоска по утраченной женщине. Оттого и стихи такие длинные, что и ностальгия, и тоска бесконечны.

А по мне, самое притягательное в стихах Бродского эдак до конца 70-х — их видимая небрежность. Как в божественных мраморах Микеланджело, как в полотнах Хальса. Позже он принялся отделять вещи тщательнее. Хотя, скорее всего, его б и ещё куда качнуло — поэты, бывает, сильно меняются с возрастом. Жаль, что написанного семидесятилетним Бродским мы не почитаем.

Ну а вопрос про «живой или канон» я бы счел простодушным, не будь он заведомо лукав. В отличие от науки, где после Коперника нет нужды перечитывать Птолемея, в искусстве ничто настоящее никуда не исчезает. Пришедший гений меняет состав литературного воздуха, и мы им дышим. В поэзии, если брать русскую, присутствуют разом все — и Державин, и Крылов, и Пушкин, и Фет, и Блок, и Пастернак, и Мандельштам, а теперь и Бродский. Не знаю как кто, а я их всех перечитываю. И радуюсь, и наслаждаюсь.

Ну да, Бродский, как и те, давно стал добычей литературоведов-филологов. Про него уже больше написано, чем он сам оставил. Не надо пугаться. Самое лучшее в этих бесчисленных трудах всё равно — цитаты.

Евгения Джен Баранова, поэт, переводчик, соиздатель журнала «Формаслов» (г. Москва)

«Он — последний материализовавшийся миф»

Мое знакомство с Иосифом Александровичем началось романтически: в евпаторийской городской библиотеке мне не выдали «Осенний крик ястреба». Стояло иссушающее лето, я уже попросила принести мне Камю, Ремарка и что-нибудь из Ницше, поскольку окончательно решила стать нравственным ориентиром для девятиклассников, возможно, основать коммуну или секту. Удивительно, что именно на поэзии Бродского произошел сбой. Женщина с фиолетовыми волосами сказала, что мне рановато, и вернулась к чайной церемонии. Впрочем, меньше чем через год Бродский в двухтомнике был добыт у отца моей школьной подруги. Я впиалась в него (в сборник, а не в чужого отца) со страстью молодого животного — и была очень разочарована. И почему, спрашивается, меня держали в стороне от этой нудятины? Римляне какие-то, волхвы. Вот Маяковский отроковицам полезен — учит эффектно подавать ананасную воду открытым к общению дамам.

...Когда мне исполнилось двадцать, Бродским, как ветрянкой, болели почти все крымские поэты. Они грассировали, они показательно увлекались античностью, распивая портвейн на закатных руинах, они обожали Питер, ни разу в нем не побывав. 2007 год был к тому же годом невероятной популярности Vero4ki, а столкнувшись с поэзией Полозковой¹, почти всякий амбициозный литератор через какое-то время понимал, что облако напоминает крышку концертного фортепьяно и что любил он немногих, однако сильно.

Конечно, я тоже любила ИАБ. Будем честны, я люблю его до сих пор. Его чёрно-белую фотографию в ватнике, его Марину-Марианну с ликом чистым, как прохладная минералка, неуютное жилье его родителей, его дерзкий язык, окончательно

¹ Росфинмониторинг включил Веру Полозкову в перечень террористов и экстремистов.

1. *Ваша встреча с Бродским (его стихами). Впечатление и влияние.*

2. *Для вас лично Бродский — важный сегодня поэт или достояние канона русской поэзии?*

освободивший русскую поэзию от успокоительной диктатуры жесткого ритма, его легчайшие переходы от байронизма к городскому романсу.

Бродский не только поэт, сломавший голос двум-трем поколениям (после него так подминал под себя, пожалуй, только Борис Рыжий), он — последний материализовавшийся миф. Мальчик из ленинградской коммуналки, проблемный подросток, не окончивший курса средней школы, изводит своим списком обязательной литературы респектабельных англоязычных студентов! Бродский — стилига, Бродский — матерщинник, Бродский — трепетный донжуан, Бродский — кошатник. Бродский, Бродский, Бродский — самая русская фамилия из еврейских, куда там предкам-сахарозаводчикам.

Итак, сегодня портрет Иосифа Александровича на футболке или чашке — вещь такая же неувидительная, как Че Гевара на школьном пенале или Довлатов в названии рюмочной. Лирический герой Бродского оказался достаточно привлекателен, чтобы стать кумиром стильных девушек эпохи эмо. Какая ирония! После смерти превратиться в литературную версию Джона Леннона, когда всей душой ненавидел рок-музыку и всё, что с ней связано.

Пожалуй, я могу с чистой совестью привести ещё только одного русского писателя, чья личность не менее значима для широких масс, как собственно текст, — это Лимонов. Не зря Эдуард Вениаминович так ревновал, так отчаянно жаждал места условного поэта-лауреата, но позднесоветский ренессанс суров: одному вотчиной поэзия, другому проза, одному — Профферы, другому — Каррер.

А стихи? Со стихами всё проще, кажется, они остались навсегда, сохранились, как речь Мандельштама. Любопытно другое — никто не посыпает пеплом собеседника во имя Вознесенского или Рубцова, зато некоторые тексты Бродского настолько живы, что продолжают собираться на общей кухне и гореть там синем пламенем. Такая биография сделана нашему рыжему, такое рождественское чудо приключилось, что никто теперь толком не понимает, что всё-таки происходит — то ли «она надевает чулки, и наступает осень», то ли «время тихой сапой убивает маму с папой»? Взгляд, конечно, очень варварский, но другого Иосифа у нас нет.

*Вера Зубарева, поэт, прозаик, литературовед
(г. Филадельфия, США)*

«Приоткрылась дверь в неизвестное»

Встреча с его стихами произошла в юности, а юности свойственно обострённое восприятие нового. Это был Бродский эмиграционного периода, и он впечатлил, как может впечатлить скачок из тональной музыки в атональную.

1. Ваша встреча с Бродским (его стихами). Впечатление и влияние.

2. Для вас лично Бродский — важный сегодня поэт или достояние канона русской поэзии?

...Ни на чём задержаться. И вертикальный стебель
иван-чая длинней уходящей на север
древней Римской дороги, всеми забытой в Риме.
Вычитая из меньшего большее, из человека — Время,
получаешь в остатке слова, выделяющиеся на белом
фоне отчётливей, чем удаётся телом
это сделать при жизни, даже сказав «лови!».
Что источник любви превращает в объект любви.

(«В Англии», 1976)

Ощущение было такое, словно приоткрылась дверь в неизвестное. К тому же знакомство совпало с большими переменами в стране, в городе и в кругу близких друзей. В самом времени присутствовала атональность. Повальные отъезды, всё выпадало из привычного ритма, строя. Там, где общение неслось бурным потоком, теперь возникали затянувшиеся паузы, и только по ним можно было догадаться, кто уже далече. Тогда и читались его стихи — как вести с той стороны, как письма друзей, как проекция своей жизни на чужое пространство, к которому нужно было присмотреться, привыкнуть... Для чего? Ясно, для чего.

Поэт неизбежно закреплён за своим историческим временем и навсегда с ним слит, как бы ни хотелось ему звучать вне времени, стать универсальным. Универсальность не бывает вне историчности. Каждый исторический период несёт в себе отголоски других, ассоциируется с ними. Чем всеохватнее отразил свое время поэт, чем глубже посмотрел в корень, тем универсальнее будет его присутствие в литературе и культуре.

Уже позже открылись его другие стихи, написанные *до*, и поразило, насколько лирический герой былых времен не совпадал с новым, отстраненно философствующим, будто древнеримский памятник вел монолог, взирая со своего постамента на пространство и время. Несомненно, в этом отразился фазовый переход от поэзии души к поэзии созерцательности, характерный для перемещения в «чужую» культуру с попытками вернуть равновесие при помощи мира идей. Бродский это прекрасно понимал, написав ещё в 1959 году:

Когда теряет равновесие
твоё сознание усталое,
когда ступеньки этой лестницы
уходят из-под ног, как палуба,
когда плюёт на человечество
твоё ночное одиночество, —
ты можешь рассуждать о вечности
и сомневаться в непорочности
идей, гипотез, восприятия
произведения искусства —
и даже самого зачатия
Мадонной Сына Иисуса.

Именно это он и делает, отчалив и отстранившись.

1. Ваша встреча с Бродским (его стихами). Впечатление и влияние.

2. Для вас лично Бродский — важный сегодня поэт или достояние канона русской поэзии?

Ко времени знакомства с его стихами до-эмиграционного периода я была уже за пределами прошлой жизни, но не вступила ещё в настоящую, и голос, сопровождавший меня в Риме, Венеции, по северной Италии и далее, был его голос. Как своеобразный путеводитель по кругам эмиграции.

Для меня он так и остался в двух ипостасях, и в каждой — значим. Разница — в самоощущении места каждого из его лирических героев. В первом случае — это русская литература в окружении Бродского, Ахматовой, Наймана и других замечательных поэтов. Во втором — это мировое наследие в окружении Гомера, Горация, Данте, Бродского и других.

Геннадий Калашников, поэт (г. Москва)

«Он слушал русский язык и следовал за ним»

1. Точной даты знакомства с поэзией Иосифа Бродского я, разумеется, назвать не могу. Но произошло это на переломе 60—70-х годов. Я был студентом, ездил в студенческие строительные отряды и как-то на очередных посиделках у костра услышал песню «Пилигримы» и, по-моему, ещё «Ни страны, ни погоста...». Песни запомнились пронзительной, мрачноватой энергией, но имя автора слов к ним не приклеилось. Вокруг звучало множество самодельных песен со студенческой, геологической, уголовной, бродяжнической романтикой...

Потом пошли слухи о судебном процессе над ленинградским поэтом Бродским. Суд над поэтом... Времена были глухие, и сведения об этом до нас, бесшабашных студентов, доходили смутные. Да и распространять подобную информацию было рискованно. Во всяком случае, сочувствуя гонимому поэту, до его стихов я так и не добрался. Немногим позже читал чуть ли не четвертую машинописную копию. Сильного впечатления опять не произвело — то ли из-за спешного чтения (рукопись дали, как это водилось, на короткий срок), то ли из-за моей читательской неподготовленности к *таким* стихам.

Пару лет спустя, когда я занимался в литературной студии у Бориса Слуцкого, мне попал в руки *тамиздатовский* сборник Бродского «Остановка в пустыне». Вот тогда-то я вчитался в его стихи по-настоящему. И если поэма «Горбунов и Горчаков» показалась затянутой и какой-то механической, то «Рождественский романс», «Большая элегия Джону Донну», «Новые стансы к Августе» с их «гнездом жулана» покорили и потрясли. С тех пор стихи Бродского стали моим постоянным чтением.

Вопрос о влиянии — вопрос сложный. Бродский повлиял на всю тогдашнюю и последующую поэзию. В какой-то степени повлиял и на меня. Смею надеяться, что влияние это было не поверхностным, когда все вдруг бросились писать «под Бродского», а глубинным, затронувшим основы моего и не только моего стихосложения.

1. *Ваша встреча с Бродским (его стихами). Впечатление и влияние.*

2. *Для вас лично Бродский — важный сегодня поэт или достояние канона русской поэзии?*

2. Для меня Бродский очень важный поэт. Это поэт, сдвинувший, изменивший просодию, акустику и оптику русского стиха. После чтения и усвоения его поэтики невозможно стало писать пейзажные лирические стишки с березками, ромашками, бабушкиными оладушками... Да ещё раздумчивым ямбом и бодрым хореем. Конечно, такое пишут и сейчас, но отчетливый нафталиновый душок витает над подобными виршами. То же самое можно сказать и о поверхностных подражателях Бродского с их монотонной ритмикой, неуклюжим эпатажем и громоздкими оборотами.

Урок Бродского в том, что он последовательно и убедительно «прозоизировал» поэзию, как бы «отменил» автоматическую гладкопись, регулярный размер и канон. Он был убежден, что «поэт орудие в руках языка, ибо язык существовал до нас и будет существовать после нас». Ему не понадобились романтические котурны, чистый лиризм, пафос. Он слушал русский язык и следовал за ним. Но не только следовал за этим движением, но и управлял им, последовательно отказываясь от силлаботоники в пользу тонического стиха с его длинной строкой, неожиданной рифмовкой, акцентированным ударением.

Мне кажется, что произошло это не на ровном месте. В отечественной поэзии намечалась эволюция к подобным масштабным сдвигам. Вспомним Ходасевича с его «и, каждый стих гоня сквозь прозу, вывихивая каждую строку, привил-таки классическую розу к советскому дичку». В этой связи нельзя не вспомнить и стихи Хлебникова с их вольным размером, творчество обэриутов с их лихим утверждением, что «поэзия — это не манная каша», в конце концов, поэтов «Кузницы» или поэмы Ильи Сельвинского с их нарочито прозаической тематикой.

Позже внесли свой вклад в это движение поэты-фронтовики и в особенности Борис Слуцкий с его жестким, подчеркнуто «непоэтическим» стихом. Как говорил он нам, студийцам его семинара, неинтересно, когда взлетает то, что легче воздуха, интересно, когда парит то, что тяжелее воздуха.

Бродский очень ценил поэзию Слуцкого. «Именно Слуцкий, едва ли не в одиночку, изменил звучание послевоенной русской поэзии... Вообще, я думаю, что начал писать стихи потому, что прочитал стихи советского поэта, довольно замечательного, Бориса Слуцкого».

Говоря об истоках столь кардинального подхода к поэтическому инструментарию, нельзя не упомянуть и английского поэта У.Одена. «Для меня ближе всего к мудрости поэзия Одена, — писал Бродский, — поэзия, лишенная всякого нарциссизма, — он редко пользуется первым лицом единственного числа, и, странным образом, написанное им внушает ужасающее чувство объективности... Его стихи врезаются в память не только из-за их красоты, а из-за их лингвистической неизбежности».

Бродский утвердил канон тонического стиха, довел принципы «прозоизации» поэзии если не до совершенного (как говорится, нет предела...), то до весьма убедительного воплощения. Мне кажется, что именно поэтому явление Бродского, его творчество и сейчас предмет самого пристального внимания. Одни тянут его в имперский стан, другие в «либерально-диссидентский». И для того и другого есть основания. Но гораздо важнее поэтическое наследие Бродского. Оно бесспорно вошло в канон отечественной поэзии, оставаясь живым, современным явлением.

1. *Ваша встреча с Бродским (его стихами). Впечатление и влияние.*

2. *Для вас лично Бродский — важный сегодня поэт или достояние канона русской поэзии?*

Алёна Каримова, поэт, переводчик (г. Казань)

«Один из любимых поэтов на всю жизнь»

1. Впервые я прочла стихи Бродского — книгу «Часть речи» — в самом начале девяностых, в старших классах. Кажется, мне принёс её почитать мой тогдашний учитель физики. Я училась в лицее при университете, где учителя были не только нашими преподавателями, но и друзьями, и мы говорили обо всём, в том числе о философии и поэзии.

В этой книге меня поразило два обстоятельства. Почему-то поразило то, что эти стихи были написаны в год моего рождения и чуть раньше. И особенно — что они были естественны, как дыхание.

Посреди восхищения и немедленной любви я тогда вдруг поняла, что интонация — это необычайно важная вещь, очень сильный инструмент. Я, кстати, и сегодня так считаю.

Многие из этих стихов были сразу запомнены мною наизусть. Не выучены, а именно запомнились сами собой, потому что проникали в сердце и голову очень легко и оставались там.

Понятное дело, что мои собственные стихи, которые я тогда только начинала писать, избежать влияния Бродского шансов не имели, но всё же влияние это было скорее мировоззренческое, чем какое-то иное.

2. Для меня лично Бродский — один из любимых поэтов на всю жизнь, поэтому и ответ очевиден. Меня не раздражают его «имперскость», его порою «холодность», его «длинноты». Мне нравится, что он «заражён нормальным классицизмом». Я люблю и ранние его стихи, и поздние. И его отношение к языку, его отношение к поэзии как к смыслу жизни.

Да, его манера письма очень заражительна (разумеется, не он первый начал использовать анжамбеманы, но именно он сделал их такими популярными), и в девяностые — начале двухтысячных в России не было, наверное, литературных журналов, где не появились бы стихи его сознательных или невольных подражателей.

Кому-то кажется, что важнее «что» человек пишет, кому-то кажется, что важнее «как», но ведь настоящее — это всегда сплав, так что их невозможно «отодрать» друг от друга — это то самое пресловутое единство формы и содержания. Поэтому и не выходит просто взять форму. Мода на «бродские» стихи сошла на нет, а сам он, ничуть не менее живой, остаётся и, хочется верить, ещё долго будет оставаться с нами.

1. *Ваша встреча с Бродским (его стихами). Впечатление и влияние.*

2. *Для вас лично Бродский — важный сегодня поэт или достояние канона русской поэзии?*

Константин Комаров, поэт, литературовед (г. Липецк)

«В том-то и фокус, и чудо Бродского...»

1. Такой встречи-вспышки, какая случилась с моим любимым Маяковским лет в пятнадцать, с Иосифом Александровичем, открытым примерно в том же возрасте (может, чуть позже) не произошло. Это была (и есть) не любовь-страсть, а любовь-уважение, не взрыв, а ровное и стабильное горение. Бродский вообще, кажется, не про страсть (хотя некоторые его стихи вроде того же «Горения» с «и как сплошной ожог — не удержавший мозг» — могли бы с этим поспорить), а про воспитание духа, про стоицизм и волю (недаром античный Рим Бродскому гораздо ближе «разнеженной» Эллады); про ответственность и спрос с себя («всячески избегайте приписывать себе статус жертвы»); про нравственный, этический и эстетический (при этом «эстетика — мать этики») максимализм («надо бы всё время спрашивать: не говно ли я?»); про самодостаточность бытия частного, как часть речи, человека; про ненаигранный оптимизм личности, мужественно принимающей свою обречённость («Жить вообще страшно. Вы заметили, чем всё это кончается?») и тем победительно преодолевающей отчаяние.

Звучит дидактиченько (а нет ничего более противного поэзии, чем схоластика), но в том-то и фокус, и чудо Бродского, что у него эта «дидактика» (в отличие от сонма разной, в основном невысокой, степени талантливости подражателей) предельно антидидактична, максимально лирически естественна, органична, достоверна и убедительна; исполнена мощной и живой трансцендентальной иронии и потрясающей пронизательности мыслечувствия. По приведённым цитатам, кстати, видно, что блистательная эссеистика Бродского значима для меня не менее, чем его поэзия. Именно Бродский, как мне представляется, дал лучшее определение поэзии в рецептивном аспекте, назвав её «колоссальным ускорителем сознания и для пишущего, и для читающего», подчеркнув тем самым психосоматическую процессуальность поэтического творчества: стихотворение как стихо-творение.

Отдельно дорого мне в поэзии Бродского его умение с феноменальной художественной точностью фиксировать моменты проявления метафизического в физическом, «прорывы» инобытия в бытие, удивительные искривления пространства под прожигающим оком безжалостного времени:

Того гляди, что из озёрных дыр
да и вообще — через любую лужу
сюда ползет посторонний мир.
Иль этот уползёт наружу.

Вообще, с Бродским я иду по жизни, и редкий день проходит у меня без взаимодействия с его словом. Но периодически он прямо «накатывает» на меня волнами, и каждый такой «накат» приносит с собой какое-то открытие. В юности меня

1. *Ваша встреча с Бродским (его стихами). Впечатление и влияние.*

2. *Для вас лично Бродский — важный сегодня поэт или достояние канона русской поэзии?*

поразила изобретённая им просодия, полнометражное введение в поэзию синтаксиса, когда стиховой единицей становится не строка и строфа, а фраза, предложение. С этой интонацией как стихи начинают звучать даже максимально апоэтические тексты вроде рецептов или технических инструкций. Доказано опытным путём, этот перформанс имел успех в самых разных компаниях. Попробуйте — не пожалеете!

А лет в двадцать пять у меня внезапно случился некий приступ бродскомании, когда я прочёл его от и до и, повинувшись безотчётному импульсу, выучил наизусть 20—30 стихотворений. Правда, на сегодняшний день полностью помню только «Стихи под эпитафией» («Каждый пред Богом наг...»), «Я родился и вырос в балтийских болотах, подле...» и, конечно, «Ни страны, ни погоста...», что были выучены ещё в школьные годы по книжке «250 программных произведений для заучивания наизусть», вообще сыгравшей неоценимую роль в моём поэтическом становлении.

Последнее же время всё чаще ловлю себя на том, что стал воспринимать Бродского сквозь призму Маяковского — по линии интонационной свободы, динамического парадоксального расшатывания-уплотнения стихового «маятника», отелеснивающих абстракции метафор, виртуозных рифм и т.д. Маяковский, как это ни удивительно, оказывается очень значимым для Бродского поэтом, и в поэтическом и человеческом отношении — вопреки всему, что говорил (и не говорил) о нём нобелиат. Эту значимость подтверждал в одном из интервью и друг Бродского, чудесный поэт Томас Венцлова, с которым мне, кстати, повезло однажды пообщаться. Одна из немногих действительно ценных мыслей на всю трагифарсовую книжицу Юрия Карабчиевского «Воскресение Маяковского» состоит как раз в том, что по-настоящему «агитатору, горлану, главарю» наследуют не громокипяще-поверхностные «шестидесятники», а именно Бродский, по-своему продолживший осуществлённую Маяковским глубинную и многовекторную революцию поэтического языка и смысла. Так что «Маяковский и Бродский» — тема, на самом деле, благодатнейшая!

2. Не вижу здесь противоречия, одно другому не мешает, а даже помогает. По моему разумению, «канонизация» подразумевает не умерщвление, оплощение и наведение на поэта «хрестоматийного глянца», а, наоборот, подтверждает (в подтверждениях в общем-то не нуждающееся) право на весомое и зримое бессмертие. Поэтому для меня «живые как жизнь» прежде всего именно «канонические» поэты.

Недавно вышла моя книга «Стихи о русских поэтах», представляющая собой галерею портретов особенно дорогих моему сердцу поэтов (почти все они как раз «в каноне»). Есть среди них, конечно, и Бродский, стихотворение о котором, пожалуй, и будет полнометражным ответом на поставленный вопрос:

*Бродский
(1940)*

Дымя резиной от Мишлена,
настроив оптику, как Цейс,
болидом разогнал мышление
стихотворения процесс.

1. Ваша встреча с Бродским (его стихами). Впечатление и влияние.

2. Для вас лично Бродский — важный сегодня поэт или достояние канона русской поэзии?

Но сохраняет втуне яства,
питающие буквиц лоск,
на каторжное тунеядство
осужденный пространством мозг.

У зренья логика простая:
слеза потребна, чтоб моргать,
в слепые зоны мироздания
поэт — всегдашний эмигрант.

И чем горчей печаль, тем резче
меняется течение рек,
ведь, словно часть пречистой речи,
чудесен частный человек.

Подтачивает ржа мембраны,
но с грифельной не слезть иглы,
и стих несут анжамбеманы —
на смертный свет из вечной мглы.

Конечно, важный поэт. Очень важный. Вплоть до того, что даже курение своё оправдываю изречением Бродского: «Обезьяна взяла в руки палку и стала человеком. Человек взял в руку сигарету — и стал поэтом».

*Марина Кудимова, поэт, переводчик, публицист, литературовед
(Переделкино, г. Москва)*

«Рождественский цикл Бродского прекрасен, НО...»

1. Я не помню, как и при каких обстоятельствах услышала фамилию Бродский и — тоже скорее услышала, чем прочла, его стихи. Навернка это случилось в Тамбове, где я прожила половину своей жизни и где с середины 60-х и до конца 70-х узнала всё, что, собственно, и теперь знаю о поэзии, прибавляя только объем текстов и опыт. Точно помню, что первым стихотворением Бродского, которым некто — или группа лиц — пытались меня приманить, были «Пилигримы». Никакого впечатления «ристалища и капища» на меня не произвели, как не производят и ныне. Я была увлечена совершенно иной эстетикой и совершенно иными авторами. Впрочем, если учесть, что стихотворение написано в 1958 году, «бродская» поэтика там ещё не ночевала — или пребывала в зачаточном состоянии.

1. Ваша встреча с Бродским (его стихами). Впечатление и влияние.

2. Для вас лично Бродский — важный сегодня поэт или достояние канона русской поэзии?

2. Канон русской поэзии я полагаю жанровую и стилистическую трансфигурацию силлабо-тонических форм. Для примера: «Стансы» Пушкина преодолевают однообразие оды, исключая авторскую рефлексия, а «Мне ни к чему одические рати» с пресловутым «сором», из которого якобы рождаются стихи, написаны Ахматовой в одической манере. Раз уж упомянута такая жанровая форма, как стансы, то она (они) безусловно включена в русский фольклорный (частушка) и регулярный стихотворный канон. «Стансы» Бродского с образом Васильевского острова потому и являются до сих пор одним из самых популярных его стихотворений, что отвечают ожиданиям русскоязычного культурного читателя. Законченная в рамках одной строфы поэтическая мысль делает неожиданными и непредсказуемыми каждый из поворотов следующих строф, в то же время создавая эффект общего сюжета. Стансами написана вся «воздушная громада» «Евгения Онегина».

Поэтика зрелого Бродского почти всегда строится на единственном приёме, подчеркиваемом культивированными им анжамбеманами — межстрочными или межслоговыми. Учитывая любовь Бродского к растянутому, «длинному» стиху, эта «страсть к разрывам» скрадывает длинноты, возможно, усиливает драматизм, но раздвигает смыслы. Анжамбеманность заимствована у Цветаевой, но у нее бесконечные переносы стали неотъемлемой частью новаторского синтаксиса — впрочем, доведенного до предела. Когда исключение становится правилом, на него слетается сонм эпигонов. Так произошло и с Бродским, подражатели которого превзошли учителя в вариациях единственной модели, не выточив на этом станке ни одной новой детали.

Канон русской поэзии — это мучительный, часто безнадежный, но истовый и мотивированный исторически поиск симфонии с Богом, народом, властью. Так нам Пушкин завещал. Сардонический пессимизм и безвыходный релятивизм Бродского оснований для симфонизма не дает. Его агностицизм («И, значит, не будет толка/ От веры в себя да в Бога») вполне интеллигентский, слишком отвечающий запросам среды, кружка, но не карамазовским или пусть раскольниковским метаниям и вопросам, часто с отрицательным ответом, но всегда на пределе нравственных сил. Рождественский цикл Бродского прекрасен, но с сомнением в непорочном зачатии («Одиночество»), да и с общим идеологическим настроем несколько диссонирует.

Множество афоризмов Бродского оспорены временем (пушкинские — только подтверждены!). Не помнить отчества тирана — симптом не свободы, но, как минимум, склероза. Ворюга и кровопийца — не антонимы, но взаимопродолжения. Родившись в империи, лучше жить не «в провинции у моря», которая в любой момент может стать спорной территорией, а на «малой родине», на равнине с лесом и рекой, и никогда не стремиться в агломерацию. Этой ошибки не избежали многие, и я в том числе. И т.д.

Важен ли Бродский для меня? Конечно! Но — опосредованно. Одна из моих работ на треть посвящена его поэтике, однако в связи с единственным «законным» жильцом комнаты Бродского, из которой он так боялся выйти, — Ильёй Тюриным. И лишь с одной стихией, выводящей из состояния клаустрофобии, — водой, которую Бродский, как многие философы, считал «куда как женственной».

1. *Ваша встреча с Бродским (его стихами). Впечатление и влияние.*

2. *Для вас лично Бродский — важный сегодня поэт или достояние канона русской поэзии?*

Вадим Месяц, поэт, прозаик, издатель (г. Москва)

«Главное, чему он научил, — не понтоваться. Не набиваться в друзья Пушкину»

1. Стихи Бродского я впервые услышал на литкружке в Уральском университете (Свердловск) в 1987 году. Пришел взволнованный соратник, сказал, что семинар отменяется. Бродский получил Нобелевскую премию, и он будет сегодня весь вечер читать его стихи. Что делать — мы стали слушать и прислушиваться. Читал он с траченных времен листков, иногда с рукописных, хорошей дикцией не обладал. Единственное, что было понятно, что нобелиат излишне многословен, хотя и обладает едким саркастическим умом. Главный посыл нашего коллеги заключался в том, что типа мы победили, ура! Мы-то тут при чём, думал я. Первые публикации Бродского в «Огоньке» и «Новом мире» — тоже мимо кассы. Народ вокруг шептался, что всё это из-за того, что власти зажимают его лучшие вещи. Люди в молодости гораздо более консервативны, чем в зрелом возрасте. Я в те времена считал эталоном поэзию Осипа Мандельштама и мерил всё с этой недостижимой высоты. Зашоренность такая. И избавился я от неё тогда, когда отец привез из Штатов все его книги, вышедшие в «Артисе», я их прилежно прочитал и полюбил. Я не хотел включаться в массовый психоз, решил этот вопрос в сугубо личном порядке. И понял, что поэзия может жить по-разному. Первый раз с Бродским я встретился в 1991 году в Библиотеке конгресса США в Вашингтоне, потом пересекался в Нью-Йорке, но в основном мы разговаривали по телефону. Он лестно отозвался о моих стихах в своё время. Прямо перехвалил, вручил аванс доверия. Жаль, что не могу показать ему нынешние — они лучше. За благословение я ему благодарен, но почему-то скоро стал понимать, что репутации такие вещи помочь не могут, и не особенно об участии Иосифа Александровича распространялся. Написал вот роман «Дядя Джо» через 20 лет после его смерти, и всё. Перечитал недавно — улыбался.

2. Он был одним из последних поэтов, которые могли быть властителями дум, буревестниками, главарями. Вскоре всё погрузилось в болото «конца истории». И главное, чему он научил, — не понтоваться. Не набиваться в друзья Пушкину и Маяковскому. Не стремиться к величию в его старом понимании слова. Он подспудно научил меня быть орудием речи. Писать потому, что нравится и получается хорошо, а остальное не столь важно. В поэтической среде такое практически не встречается. И я в общем-то литературных сообществ сторонюсь.

Для меня в последние годы неожиданно стал актуальным Высоцкий, он очень внятно формулировал свои мысли. Это посерьезнее, чем советские эстеты, зачем-то когда-то собирающие стадионы. Да и Бродский — абсолютно современный поэт. Зачем мне читать неформившиеся в речь потоки сознания молодых. Мне нужна четкая эмоция, мысль, афористичность. Все эти свободные формы погоды не делают. «На независимость Украине», «На смерть Жукова», «Шествие», горы любовной

1. *Ваша встреча с Бродским (его стихами). Впечатление и влияние.*

2. *Для вас лично Бродский — важный сегодня поэт или достояние канона русской поэзии?*

и философской лирики — он абсолютно на своем месте в современности. Он написал когда-то: «Поэзия — это не развлечение и даже не форма искусства, но скорее наша видовая цель». «Если то, что отделяет нас от остального животного царства, — это речь, то поэзия — это высшая форма речи. Отказываясь от нее, мы обрекаем себя на низшие формы общения. Это колоссальный ускоритель сознания, и для пишущего, и для читающего. Вы обнаруживаете связи и зависимости, о существовании которых и не подозревали. Это уникальный инструмент познания...»

Если поэзия больше не является инструментом познания, я готов вытирать об неё ноги.

*Вадим Муратханов, поэт, прозаик, переводчик,
соредактор журнала «Интерпоэзия» (г. Москва)*

«Бродский — это уникальный мост»

1. В 80-х и 90-х, когда я только ещё пробовал русскую поэзию на вкус, вокруг неё уже не было стадионов и жадного внимания масс, но Иосиф Бродский как явление заменял это в какой-то мере. Внимание было приковано к нему как к лауреату Нобелевской премии; на центральном телевидении он плавал и гулял по Венеции с Евгением Рейном; Михаил Казаков выступал по ТВ с программой, составленной из его стихов. Так что первое впечатление от поэта было, скорее, медийным: он и был на тот момент современной русской поэзией, причем происходило это в период, когда страна, продырявленная перестройкой, начинала тесно взаимодействовать и сообщаться с зарубежной, несветской русской культурой.

Поэзия, помимо всего прочего, должна быть интересной, и Бродский отвечал этому требованию. Так в юношеской памяти и отложилось: интересные стихи, читаемые с экрана скучным монотонным голосом. Но голосу всё прощалось, потому что стихи перевешивали.

А потом мне в руки попала книга избранного — «Часть речи» (купленная, кажется, в ташкентском «Букинисте»). У меня в жизни было два автора, стихи которых запоминались наизусть с двух-трех прочтений: Николай Заболоцкий — и да, Бродский, в этом сборнике карманного формата. Касалось это прежде всего ранних стихотворений: «Рождественского романса», «В деревне Бог живёт не по углам...», «Воротишься на родину. Ну что ж...». Как первая любовь, помнятся они и сейчас, хотя Бродский с годами рос и разворачивался во мне, как и положено классике.

2. И то, и другое определение верно.

Иосиф Бродский — это уникальный мост, причем сразу в двух смыслах: он, через озарившую его юность духовную близость с Ахматовой, соединил Серебряный век русской поэзии с ее современностью, и он же, перемахнув океан и причастившись

1. Ваша встреча с Бродским (его стихами). Впечатление и влияние.

2. Для вас лично Бродский — важный сегодня поэт или достояние канона русской поэзии?

двуязычия, соединил русскую литературу с литературой западной. В этом воплощении и перерождении есть что-то потрясающее, сродни евангельскому сюжету. Современники иногда упрекали Бродского в высокомерии, но дело, наверное, в том, что он ещё при жизни знал про себя то, что стало очевидным для многих после его ухода, и более или менее верно оценивал своё место в истории культуры.

Влияние Бродского не исчерпывается непосредственно текстами. Он был примером бескомпромиссного противостояния системе и идеологическому диктату, сохранения личного достоинства, внутренней свободы и чистоты, без чего подлинное творчество невообразимо. Меняются декорации, но вопрос взаимоотношений человека творящего с окружающей его средой не теряет актуальности. И когда Бродского упрекают в незаслуженности нобелиатства, которое во многом было обусловлено идеологическими мотивами, я не вижу в этом противоречия: для меня он не только большой поэт, но и пример стойкости и верности своим принципам — творческим и жизненным. И первые со вторыми срастаются на каком-то уровне.

Оказываясь в жюри премий и конкурсов, я до сих пор сталкиваюсь с эпигонами Бродского, которые имитируют его поэтическую речь, унизанную бесконечными перечислениями, отсылками и анжамбеманами, его нарочито отстраненную интонацию. Из этого, в том числе, делаю вывод, что влияние и значение Бродского для русской поэзии не исчерпано. Прямых подражаний сейчас меньше, чем 20-30 лет назад, но это, скорее, свидетельствует о том, что Бродский перетек в кровь и плоть русской поэзии, пополнил её состав изнутри. Бродский, как подобает классику, апеллирует к базовым ценностям и основам человеческой природы, причем делает это с высоты мировой культуры, всей её истории. Поэтому «Не выходи из комнаты» звучит как совет современника, а «Письма римскому другу» то и дело побуждают авторов нашей эпохи к развернутым ответным посланиям.

Ключевые фигуры русской поэзии приближаются и отстраняются от нас в разные периоды истории, и я не сомневаюсь, что в этом движении уже участвует Бродский. И этот маятник ещё не раз «качнется вправо, качнувшись влево».

Олеся Николаева, поэт, прозаик (г. Москва)

«Я редко когда его перечитываю. Не знаю, почему так происходит»

1. Впервые я услышала стихи Иосифа Бродского от своего сокурсника по Литинституту: Алёша Дидуров продекламировал на семинаре Евгения Винокурова строчки из «Двадцати сонетов к Марии Стюарт»: «Луна, что твой генсек в параличе», отчего бедный Евгений Михайлович вздрогнул, закашлялся и часто-часто заморгал. Шел 1974 год, и Леонид Ильич был ещё в своей полной власти.

1. *Ваша встреча с Бродским (его стихами). Впечатление и влияние.*

2. *Для вас лично Бродский — важный сегодня поэт или достояние канона русской поэзии?*

Стихи, кроме этой курьезной строчки, мне тогда не очень-то и понравились: их тон показался слишком развязным, но впечатление от Броского у меня кардинально изменилось после его «На смерть Жукова», «Сретения», «Писем римскому другу», «Осеннего крика ястреба» и «Благодарности». До сих пор люблю и очень ценю эти стихи, да и не только эти.

Великолепно и его пророческое «На независимость Украины». Особенно забавно было мне наблюдать, как некоторые поклонники поэзии Иосифа Александровича мужественно пытались его от них «отмазать»: мол, это не он, это подделка. Мне тогда очень хотелось спросить их, в том числе литературоведов и профессиональных критиков: «А кто, кроме него, мог так написать?» Никто! В том-то и дело! Потому что он уникален, как всякий настоящий поэт.

2. Тем не менее я редко когда его перечитываю, разве что по рабочей необходимости, хотя у меня есть множество его книг, в том числе и прекрасно изданные в издательстве «Ардис». Не знаю, почему так происходит. Возможно, из-за того, что его анжамбеманами и интонациями слишком многие злоупотребили, утомили, пустили их в распыл и тем самым обесценили и притупили к ним слух.

А ведь, как писал Василий Васильевич Розанов: «Пошло то, что пошло».

Александр Переверзин, поэт, издатель (г. Москва)

«Что в юности казалось сложным и вычурным, сегодня становится близким и понятным»

1. В год вручения Бродскому Нобелевской премии мне было тринадцать — возраст, когда эхо мировых событий едва ли долетает до юного и провинциального слуха. Я жил в небольшом промышленном городе в дальнем Подмосковье, где литературные вкусы определялись неискушённым кругом поклонников Рождественского и Есенина. Бродский казался фигурой далекой и непонятной. Сообщения о его триумфе были не более чем фоновым шумом. Осознание масштаба поэта пришло позже, с началом московской студенческой жизни, когда я стал интересоваться поэзией системно. Сильнейшее впечатление на меня произвел фильм «Прогулки с Бродским», показанный по телевидению в 1994 году. Бродский и Рейн просто прогуливались по венецианским набережным, сидели в кафе, разговаривали, но в атмосфере фильма было что-то надмирное, а в поэтах, читающих стихи и говоривших о поэзии, о Венеции, о России, о кошках — что-то от небожителей. Поэзия Бродского драматично влияет на неокрепшие поэтические умы. В девяностых — начале нулевых в Литинституте училось множество подражателей Бродского, копировавших его поздний стиль и читающих стихи в похожей отстранённой манере. Сколько начинающих поэтов заблудились, очарованные голосом кумира, — не счесть.

1. *Ваша встреча с Бродским (его стихами). Впечатление и влияние.*

2. *Для вас лично Бродский — важный сегодня поэт или достояние канона русской поэзии?*

Гениям положено сбивать с толку, создавать новые миры, в которые хочется сбежать. Я был неофитом, но, к счастью, Бродский не стал поэтом, поглотившим меня целиком. Возможно, потому что в то время находился под влиянием другого гения — Мандельштама. В 1991 году, в год столетия Мандельштама, в поселке Саматиха под Шатурой, где поэт провел последние месяцы на свободе, появилась одна из первых мемориальных досок в его память. Поездка в Саматиху в поисках мемориального знака и последующее погружение в стихи и биографию Мандельштама стали для меня потрясением.

С Бродским подобного не произошло, его интеллектуальные и культуроцентричные стихи требовали нового подхода. Он скорее восхищал, а не трогал. Хотя стихи шестидесятых годов покорили меня сразу. Ранние стихи Бродского милосердны, они не обладают всепоглощающей энергией, которая превращает молодых поэтов в невольников. Я бродил по Замоскворечью, пытаюсь проследить маршрут «Рождественского романса», — от усадьбы фон Рекк, где «мертвецы стоят в обнимку с особняками», до дома Ардовых на Большой Ордынке, переполненный чувством восторга и узнавания. Ездил в Санкт-Петербург, гулял в окрестностях дома Мурузи, представляя, что мог видеть поэт с перекрёстка Моховой и Пестеля; слонялся по линиям Васильевского острова, открывая вслед за Бродским, что город может научить геометрии; доходил до Смоленского кладбища, повторяя «ни страны, ни погоста...». В этих прогулках было что-то сродни паломничеству, попытка через осязаемое прикоснуться к метафизической материи, из которой соткан мир любимого поэта.

2. Бродский, безусловно, канон, но канон живой. Он остаётся для меня важным поэтом, которого я перечитываю, постоянно открывая что-то новое. Замечал, как меняется моё восприятие Бродского: что в юности казалось сложным и вычурным, сегодня становится близким и понятным. Недавно узнал о существовании в архиве десятков неопубликованных стихотворений Бродского середины шестидесятых — времени ссылки в Норинской и смежных годов. Надеюсь, когда-нибудь они будут опубликованы.

Сергей Попов, поэт, прозаик, драматург (г. Воронеж)

«Однозначность сродни смерти»

1. Вышедшие за рубежом сборники и машинописные воспроизведения сочинений Иосифа Бродского мне в руки не попадали. Фамилию слышал, но не более того. Впервые стихи Бродского я прочитал в 12-м номере «Нового мира» за 1987 год (где, кстати, было напечатано и окончание романа Андрея Битова «Пушкинский дом»). Это была первая после отъезда поэта его официальная публикация на родине, и она практически совпала с присуждением ему Нобелевской премии по литературе.

1. *Ваша встреча с Бродским (его стихами). Впечатление и влияние.*

2. *Для вас лично Бродский — важный сегодня поэт или достояние канона русской поэзии?*

Заведовавший в то время новомирским отделом поэзии Олег Чухонцев утверждал, что это совпадение случайно и подборка была составлена и определена в декабрьский выпуск журнала ещё до решения Нобелевского комитета. Но градус общественного внимания к представленной подборке, конечно же, был предопределён и этим обстоятельством. «Одиссей Телемаку», «Письма римскому другу», «Ниоткуда с любовью, надцатого марта...» произвели впечатление, «Новый Жюль Верн» — нет...

Потом были публикации в «Неве», в «Огоньке», вечера в московском Доме медики и ленинградском Доме писателя... Сказать, будто знакомство со стихами Бродского что-то кардинально во мне изменило, не могу. Но объём обозримых возможностей современного поэтического слова, вне всякого сомнения, вырос. Демонстрация того, как свободно можно обращаться с версификаторским инструментарием, окрыляла. Наверное, и перестроечные веяния и события наложились на это ощущение... По крайней мере, литературное возвращение Иосифа Бродского произошло как нельзя более вовремя — на пике общественного интереса к художественному тексту. И это тоже — из песни слова не выкинешь — внесло свою лепту в определении позиции поэта (а на англоязычном пространстве он прославился прежде всего как автор многочисленных эссе) в отечественной культурной «табели о рангах».

2. При всей вовлечённости Бродского в контекст художественной традиции ставить знак равенства меж его именем и просто свершившимся фактом истории литературы рука не поднимается. И дело не только в его интонационных и ритмических «бунтах»: результаты попыток преодоления канона сплошь и рядом сами в него и превращаются — так, наверное, и должно происходить. Но помимо цепкого обаяния поэтики живым литературное наследие Бродского делает и фигура лирического героя (как правило, alter ego автора) — отстранённого соглядатая, язвительного интроверта, циничного невротика. И при этом вовсе не ирониста (а это в последние годы жизни Бродского считалось хорошим литературным тоном). Его подчеркнутая «отдельность», горький эгоцентризм, само собой разумеющееся всепонимание вносили важный вклад в уверенное завоевание умов и душ читателей, немалую часть которых составляли и сочинители. И если в следовании канону они ничего зазорного не усматривали, то влияния Бродского явно стеснялись, от него открещивались — хотя факт, понятное дело, был налицо. Такое положение вещей сохранилось и по сей день. Почему? Потому что не подобает пишущему представлять собой лишь производную силового поля другой действующей художественной единицы, актуальной составляющей текущего литературного процесса. Потому как узнаваемо проступать в авторских текстах позволено лишь отработавшему своё материалу.

А то обстоятельство, что по редкому информационному поводу какие-либо строки из Бродского не извлекаются на свет божий, разумеется, свидетельствует о его безусловном месте в поэтическом «зале славы». Но это, как выяснилось, несколько не угрожает причудливому статусу участника, предполагающему и неприятие, и отрицание, и проклятия... Однозначность сродни смерти. И если бы дело обстояло иначе, вряд ли заданный вопрос содержал бы внутри себя противоречие, очевидная мнимость которого уже является исчерпывающим ответом. По крайней мере — для меня.

1. *Ваша встреча с Бродским (его стихами). Впечатление и влияние.*

2. *Для вас лично Бродский — важный сегодня поэт или достояние канона русской поэзии?*

Андрей Фамицкий, поэт, переводчик (г. Москва)

«Бродскому просто нужно твоё время»

1. Дима Дроздов, студент юридического и фронтмен рок-группы, дожарил картошку на третьем этаже общаги № 9, что в Минске на Карла Маркса, и пошел в комнату за тетрадью с моими стихами (я давал ему на оценку). Мимоходом спросил: «А Бродского ты читал?»

— Бродского? Нет. Кто это?

Так я и узнал, что был поэт Бродский. Было это примерно в 2005 году. Дима юркнул в комнату и дал мне книгу Пушкинского фонда. Кажется — «Пейзаж с наводнением».

Я ничего не понял. Стихи перегружены символикой, смыслами, наползающими друг на друга, как ящерицы. Воспринимать было тяжело, невозможно. Но было понятно: вот поэт, отличающийся от всех, что я читал, поэт сам по себе, со своим лицом и голосом. Надо вчитаться, постараться понять.

Через какое-то время, на выходных, я шел каналы и наткнулся на документальный фильм. Конопатый мужчина в кадре то ли давал интервью, то ли просто размышлял вслух перед камерой. Было в нем нечто притягательное, магнетическое. Захотелось не переключать, а дослушать его речь до конца. В процессе я понял, что это тот самый Бродский. (А фильм — «Прогулки с Бродским», снятый в Венеции.)

У меня была мизерная студенческая стипендия, которую я делил на четыре (по числу недель в месяце), и каждую неделю в «Центральной Книгарне» покупал одну из книжек Бродского, которые переиздавались в серии «Азбука-классика». Пока не купил их все.

Я прочитал все эти томики по многу раз. Подчеркивал, останавливался, думал. Да, строфа его заразительна, манера писания позволяет писать примерно так же. Но стихотворения распадаются на части, куски расплываются. Зачем писать так? Уже тогда мне хватило ума понять, что это тупиковый путь и надо искать своё.

Стихи Бродского (почти все) не запоминаются, а это значит, что они не целокупны, они не написаны на одном вдохе (или выдохе). Стихи эти написаны натужно, с потом и болью (в спине и пониже).

Ты опаздываешь на поезд, влетаешь в уже отправляющийся, не успеваешь отдышаться, как он уже несется вперед и вперед, пролетает станции, не останавливается ни на одной, люди ушибаются, матерятся...

Вот стихи Бродского.

Но он хитрец. Если уж тебе понравился, то ты, начиная читать, проведешь с ним много времени, пока дочитаешь. Три-четыре строфы — Мандельштаму нужно меньше времени, чтобы остаться с тобой навсегда. Бродскому *просто нужно твоё время*.

2. Сегодня Бродский для меня не столь важен. Его зелёные томики и две книги интервью пылятся где-то во втором ряду книжного шкафа. Но несомненно: он вошел

1. *Ваша встреча с Бродским (его стихами). Впечатление и влияние.*

2. *Для вас лично Бродский — важный сегодня поэт или достояние канона русской поэзии?*

в канон русской поэзии. Бродский — гораздо более, чем поэт — интересен мне как личность. Как ловко у него получилось в совсем не романтичный век устроить свою романтическую судьбу, создать ореол вокруг себя, поставиться на постамент! Такое жизнестроительство вызывает восхищение. Но повторять не хочется.

Что до стихов, то есть любимые. Они не самые любимые из всей поэзии, что я смог прочесть и полюбить, но любимые *из Бродского*. «Пилигримы», «Письма римскому другу», какие-то ещё. Более всего нравится «срединный» Бродский: книги «Конец прекрасной эпохи» и «Часть речи». А эссеистика поэта, по-моему, прекрасна.

Феликс Чечик, поэт (г. Нетания, Израиль)

«Моя “нелюбовь” — это, вероятно, самозащита»

Я не люблю И.Бродского!

Всё что угодно: уважение, благодарность, признательность и много ещё чего, но только не любовь.

Километры его текстов: словесные дебри, нагромождение смыслов — не моё. И это, конечно, скорее говорит обо мне, нежели о нобелевском лауреате.

Вольно или невольно — Бродский, породив сонм подражателей, как тот гамельнский крысолов (Rattenfänger von Hameln), — увёл за собой городских детей, сгинувших затем безвозвратно.

Моя «нелюбовь» — это, вероятно, самозащита от повального и бессознательного, а иногда осознанного подражания.

В одном из интервью Д.Новиков, отвечая на вопрос о подражании Бродскому, сказал: «Увидел, вот он, Бродский, — отойди! Нельзя так писать, как он. Это дикция, органичная только самому Бродскому. Это поэтика, при которой можно писать и без вдохновения».

Но в последнее время, перечитывая Бродского, я поймал себя на мысли, что, если не обращать внимание на его «чрезмерность», а словно в микро(теле)скоп разглядывать чувства-мысли поэта, — окружающая тебя действительность становится уже не настолько невыносимой, а тем более то безумие, которое совершается ныне.

Глупцы, особенно после нашумевшего «украинского» стихотворения, нарекли Бродского имперцем.

Достаточно прочесть «На смерть Жукова», но не под медные звуки оркестра, а под звуки державинского снегиря, как сразу становится ясно, что главное в нём не — «смело входили в чужие столицы, но возвращались в страхе в свою».

Любви нет — лишь благодарность.

1. Ваша встреча с Бродским (его стихами). Впечатление и влияние.

2. Для вас лично Бродский — важный сегодня поэт или достояние канона русской поэзии?

*Константин Шакарян, поэт, переводчик, литературовед
(г. Ереван)*

«Он не совпал с временем и парадоксально сумел ему отомстить»

1. Встреча со всяким истинным поэтом сродни открытию материка. В случае с Бродским можно трансформировать метафору и сказать о том, что его поэзия явилась для меня прежде всего частью материка горячо любимой мной ленинградской поэзии 1950—1960-х, непредставимой без имён Глеба Горбовского, Александра Кушнера, Дмитрия Бобышева, Владимира Сосноры, Евгения Рейна. Ленинградская поэзия тех лет была высоко органична в том числе и тем, что в ней как бы аккумулировалась вся русская поэзия — в новом качестве. Так, Горбовский — и по стихам, и по облику своему — был органическим носителем блоковско-есенинской линии в поэзии (именно в таком балансе, без столь характерных перекосов), классического стиха, омываемого стихией высокой песенности. Кушнер — правопреемник Фета и Анненского, утепливший самой жизнью холодноватую петербургскую классичность стиля и словаря. Соснора и Бобышев абсолютно по-разному и с большой самобытностью развивали традиции Хлебникова и русского авангарда с одной стороны и гнули древнерусскую литературную линию — с другой. Наконец, Рейн стихийно синтезировал в своей поэзии всё со всем, припадая прежде всего к могучему источнику поэзии 1920-х, с её эпико-революционным нарративом, лирической экспрессией и бурным романтическим эклектизмом.

Бродский, самый молодой из них, чутьем гения уловил единственный «пробел» во всей этой ленинградской поэтической картине мира: он вошел в поэзию через другую дверь (или, если угодно, *прорубил окно*), став наместником европейского барокко, поэзии метафизиков, попутно многому научившись и у барочного стиха русского конструктивизма в лице тактовика Ильи Сельвинского, так интересно преломляющегося у того же Рейна — непосредственного друга-учителя будущего нобелиата. В этой «ленинградской» системе координат начинается органика Бродского, и отсекает его искусственно от них (системы и органики) в желании поместить надо всеми — неплодотворно, это одно из проявлений «культы личности» (по меткой и смелой аналогии, проведённой Наумом Коржавиным), который в литературном смысле господствовал у нас два-три десятилетия — под знаменем Бродского.

Мне трудно говорить о влиянии Бродского на меня как на поэта — гораздо легче перебрать все *бродские* сучки и задоринки в глазах современной поэзии, в том числе «молодой». Пристрастие к длинной строке, к обязательным анжамбеманам, к ритму, образованному посредством скрещения дольника с тактовиком, — и всё это без особого понимания, без ума и тонкости Бродского. Об этом, впрочем, нужно говорить особо.

1. *Ваша встреча с Бродским (его стихами). Впечатление и влияние.*

2. *Для вас лично Бродский — важный сегодня поэт или достояние канона русской поэзии?*

2. Бродский — одно из важных и несомненно крупных явлений поэзии и литературы, культуры своего времени¹. Не ограничиваюсь словом «поэзия», поскольку Бродскому тесно в рамках этого бездонного слова, коего вполне хватало большинству его современников и предшественников. Мне близка мысль, что поэзия, хотя и относится формально к литературе, всё же выходит за рамки её — перефразируя Пушкина, она «выше литературы — или, по крайней мере, совсем иное дело». Бродскому принадлежит немало блистательных формулировок, касающихся поэзии, и не думаю, что он был бы не согласен с таким перифразом. Однако Бродский-поэт, на мой взгляд, показывает, что ему мало «поэзии» как таковой, мало также звания поэта — или же поэт в его понимании есть нечто иное, куда более масштабное и широкое, чем то, что мы привычно вкладываем в это понятие. Быть может, в том и состоит ядро и суть «величия замысла», каковое многие считают в свою очередь ядром и сутью творчества Бродского в целом? Для нас поэт — «человек с лирической железой» (Сергей Гандлевский), пишущий, как бы *вырабатывающий* стихи оттого, что он не может жить без этого, такова его органика. Для Бродского поэт — носитель мировой культуры и величия замысла, гигант языка и творец собственного мифа. Не припомню упрёков в гигантомании, адресованных Бродскому, — быть может, потому, что это было бы преувеличением, а возможно, и просто потому, что упрёки в адрес этого поэта у нас со времён суда над «тунеядцем» не приветствуются. Так или иначе, Бродский «был и остаётся» — и пусть каждый продолжит эпохальную цитату по своему усмотрению. Мне сдаётся, что стиль той эпохи в иных своих монументальных проявлениях был не чужд нашему герою — но поэтическое его созревание пришлось на другую эпоху с иными героями, и тут пролегла трещина между поэтом и Временем, отбросившая поэта в объятия Пространства — ставшего одним из важнейших героев-двигателей его стихов.

Он не совпал с временем и парадоксально сумел ему отомстить задним числом, накачав атмосферу поэзии разреженным воздухом культуры, которым сам он привык дышать. Трудно не согласиться с Евгением Рейном: «У Бродского появились тысячи эпигонов, а результаты плачевные, нулевые». Художник, что и говорить, не может нести ответственность за своих слепых подражателей. И однако Бродский — возможно, единственный наш большой поэт, чьё влияние на поэзию почти целиком имеет «отрицательный заряд». Здесь есть над чем задуматься. Да, к Бродскому вполне приложимы слова Корнелия Зелинского о том, что Маяковскому и Сельвинскому нельзя подражать — «литературно они берут за шиворот». И тем не менее здоровые плоды влияния этих двух гигантов нашей поэзии налицо, сам Бродский не избежал воздействия их обоих в своей поэтике. Хлебников, Блок, Есенин, Пастернак, Заболоцкий — сколько дали они родной поэзии, помимо собственных стихов, собственного стиля и интонации. Что уж говорить о Пушкине. Бродский, которого экзальтированные почитатели пытались представить едва ли не вторым солнцем русской поэзии, — Бродский только «брал за шиворот», в конечном итоге он дал лишь эпигонов и эпигонов эпигонов, которые уже воспринимали «бродские» особенности поэтики просто как поветрие современности, как некий хороший тон в литературе.

¹ Разумеется, слова «важный», «крупный» etc. не тождественны словам «близкий» или «любимый».

1. *Ваша встреча с Бродским (его стихами). Впечатление и влияние.*

2. *Для вас лично Бродский — важный сегодня поэт или достояние канона русской поэзии?*

В этой связи надо с болью сказать и вот о чём: наводнив, сам того не желая, поэзию (вернее говорить: текучку литпроцесса) своими эпигонами, Бродский также невольно воспитал *фальшивого читателя поэзии*. Это читатель, который точно знает, что Серебряный век — это хорошо, а Бродский — ещё лучше, и для которого история поэзии прошлого века, собственно, этим и ограничивается. Такой читатель — идеальное воплощение пушкинской формулы лени и нелюбопытства. Почему именно Бродский стал знаменем подобных авторов и читателей? — вопрос сложный и в некотором роде «неудобный», ответить на который, разумеется, в рамках краткой анкеты невозможно. Но отмахиваясь от него, мы не двинемся дальше в постижении большого и сложного явления, каким был Бродский.

Ганна Шевченко, поэт, прозаик (г. Москва)

«Гениальная шахматная партия, сыгранная с самим собой»

Впервые прочитала Бродского, когда мне было около двадцати. Я только начала ходить в районную литературную студию и знакомиться с классической и современной поэзией. Тогда его тексты не произвели особого впечатления. Для меня они были слишком умные, длинные, тяжеловесные. То есть я чувствовала его богатырскую поэтическую силушку, но стихи в сердце не попадали. Тогда меня трогали в основном ахматовские строки: «Не любишь, не хочешь смотреть? О, как ты красив, проклятый! И я не могу взлететь, а с детства была крылатой». Или «Приходи на меня посмотреть. Приходи. Я живая. Мне больно». В общем, я тогда была обуреваема девичьими страстями и не дотягивала до олимпийского спокойствия Иосифа Александровича. Это уже значительно позже, после сорока, чтобы удержаться на плаву в сложных ситуациях, я повторяла его строки: «...Смотри в окно и думай понемногу: во всем твоя одна, твоя вина, и хорошо. Спасибо. Слава Богу». Или: «Но пока мне рот не забили глиной, из него раздаваться будет лишь благодарность».

Мне казалось, что Бродский — это поэт зрелых людей. Но однажды войдя во ВКонтакте и пролистывая ленту, увидела, что моя, на тот момент двадцатилетняя, дочь, запостила на своей стене стихотворение Иосифа Александровича. Мне стало любопытно. Я позвонила ей и спросила, чем ее тронул Бродский. Она ответила: «Читать его стихи — это как разговаривать с умным человеком». Выходит, Бродский — поэт не только для взрослых, но и для молодых, тяготеющих к интеллектуальному общению.

Недавно пересматривала фильм «Иосиф Бродский. Возвращение» с участием Евгения Рейна, где поэты ходят по Венеции и говорят о высоких материях.

1. *Ваша встреча с Бродским (его стихами). Впечатление и влияние.*

2. *Для вас лично Бродский — важный сегодня поэт или достояние канона русской поэзии?*

Там Иосиф Александрович высказывает мысль о том, что очень зря Пушкина возвели в первые поэты своего времени, он не каждому подходит по темпераменту — не всякого спасет. Да и вообще, на абсолютной высоте иерархий не существует, а самому Бродскому ближе Баратынский со своей элегичностью и наполненностью психологической глубиной.

Мне же, человеку, которому в большей степени присущи черты флегматика, из поэтов «эпохи Бродского» наиболее близок именно сам Бродский своей потоковостью, лейтмотивностью, анжамбеманами. И даже интеллектуально-риторическая гимнастика, за которую его ругают некоторые критики, кажется симпатичной. А чем ещё заниматься поэту, как ни тренировать поэтическую мышцу, если небо временно замолчало?

Важен ли сегодня Бродский? Смотря для кого. Он как гениальная шахматная партия, сыгранная с самим собой. Одним будет казаться чем-то абстрактным и малодоступным, а для немногочисленных других станет каноном, не подлежащим пересмотру.

Минимум в четырех моих стихках упоминается Бродский. А ещё мы с супругом под настроение «чтокаем» на манер Бродского, и стихи свои иногда, дурачась, читаем, интонируя, как Иосиф Александрович. И томик его стихотворений всегда у меня под рукой. И на лацкане моего пиджака значок с портретом Бродского. Да и вообще — «...в каждой музыке Бах, в каждом из нас Бог». Ну и немного Бродского.

1. *Ваша встреча с Бродским (его стихами). Впечатление и влияние.*

2. *Для вас лично Бродский — важный сегодня поэт или достояние канона русской поэзии?*

Ольга Балла

Четыре персонажа в поисках выхода

Денис БЕЗНОСОВ. Территория памяти: Роман / Послесловие А.Скидана. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2024. — 376 с.

Новый роман Дениса Безносова — вторая часть трилогии, первая часть которой, «Свидетельство обитания», вышла в 2023 году (и по большому счёту должна бы быть рассмотрена вместе со второй, но дождёмся третьей, по выходе которой станет видно устройство и общая логика всей конструкции в целом). Парадоксальным образом этот текст (в отличие, пожалуй, от «Свидетельства обитания») довольно легко разделяется на «форму» — способ высказывания, мыслительный аппарат — и «содержание», совокупность вопросов и проблем разной степени неразрешимости, которые автор предлагает читателю прожить и продумать. Это последнее вычленяется из «формы» (независимо от степени её сложности или даже вследствие этого) без труда — тем ещё более, что иной раз высказывается попросту открытым текстом: проблема вины и ответственности, возникающая в связи с большими катастрофами. В данном случае она рассматривается на материале катастрофы минувшей и уже, казалось бы, многократно и тщательно осмысленной: Холокоста и, шире, фашизма, подмявшего под себя Европу, — помимо уничтожения евреев под руководством одного из главных героев книги Безносова, Отто Эйхмана, в поле внимания в романе втягиваются также аншлюс Австрии и захват гитлеровской Германией Судетской области тогдашней Чехо-Словацкой республики.

Прежде всего эта проблема предстаёт тут в облике проблемы личной ответственности за преступления государства — с одной стороны, тех, кто, подобно гражданину Германии Карлу Ясперсу, причастен к этим преступлениям по всем приметам не был (куда скорее, был их потенциальной жертвой), с другой — тех, кто, как «архитектор Холокоста» Отто Эйхман, был непосредственным организатором этих преступлений и, по существу, старательным их исполнителем (здесь же рассматриваются и свойственные людям в такой позиции способы самооправдания).

Кроме того, это проблема влечения человека к насилию, к участию в коллективном (например, хотя и не обязательно, государственном) насилии — и обратной стороны этого, добровольной виктимности. Феномен фашизма, считает автор, — лишь частный, хотя и слишком выразительный случай этого. Безносова занимают именно общечеловеческие корни насилия независимо от исторических обстоятельств, поэтому среди множества разновременных героев в романе присутствует американский исследователь Стэнли Милгрэм с его знаменитым экспериментом (состоявшимся

чуть позже, чем иерусалимский суд над Эйхманом и его казнь, — в 1963-м), в котором «учитель» бьёт током «ученика» за неверные ответы, показавшим, что многие согласны причинять мучения другим — даже если не испытывают к жертвам ненависти и насилие не доставляет им никакого удовольствия, — когда ответственность за это берёт на себя некое начальство, а они «просто выполняют приказ». Ради чего такое делается — в конечном счёте совершенно неважно.

«...Не имеет значения, как обоснуют ущербность (уничтожаемых. — О.Б.), будь то этническое, политическое, гендерное, какое угодно отличие, теоретически другой может быть ущербен потому, что неправильно завязывает шарф, тушит говядину, расставляет мебель в гостиной, или, скажем, изъясняется не на том языке, или изъясняется на том языке, но говорит не то, что следует говорить, или его язык выглядит как нечто правильное, но изо дня в день умышленно искажаемое».

Далее, это защита (или отказ защищаться) людей от чувства вины и причастности — независимо от степени реальной вины и причастности. Потребность человека в психологическом комфорте и невозможность такового в некоторых исторических ситуациях. Можно даже сказать и шире — отравленность катастрофой и виной самого воздуха, причём на много, много десятилетий вперёд. Молекулы этого яда даже в двадцатых годах нашего столетия чувствует в воздухе австрийской столицы изредка появляющийся на страницах романа безымянный повествователь (неведомо, в какой степени он тождествен автору; поскольку этот персонаж, внезапно врываясь в текст, изъясняется монологически, от первого лица, в формате эссе, — ещё один из жанровых источников и компонентов «Территории памяти», — назовём этого персонажа в рабочем порядке «эссеистом-монологистом»).

На все перечисленные темы, многократно проговоренные к нашему времени на разных материалах, автор, строго говоря, ничего радикально нового не сообщает. Наиболее нетривиальное тут, пожалуй, — демонстрируемая Безносовым многодесятилетняя пропитанность злодеяниями воздуха тех мест, в которых они некогда совершались, отравленность ими всего, возникшего позже. Тут, можно сказать, автор — изысканнейший эстет по способам выстраивания текста — являет себя настолько категоричным этиком, что не всякий проповедник способен с ним соперничать. Оказывается, одно другому не только не противоречит — даже более того: сложная эстетика способна, выходит, обернуться инструментом этики. Таким образом Безносов утверждает нечто вроде *метафизичности этического*, принадлежности его к самой природе вещей. Если взять соответствующие соображения в их чистом виде, они займут очень немного места (пересказывать их — примерно то же, что пересказывать прозой стихи, тем более что тексты Безносова в глубоком родстве с поэзией; но мы отважимся). Получится примерно вот что.

Действительно глубокий и совестливый человек, как, скажем, немец Карл Ясперс, независимо от степени личной причастности к тому, что устроила его страна, и возможности хоть как-то повлиять на происходящее, чувством ответственности мучиться будет всё равно — может быть, именно вследствие её неосуществимости. Он даже найдёт способ её отработать — примет решение опубликовать в послевоенной Германии свои лекции о политической вине и ответственности, прекрасно отдавая себе отчёт в том, как на них отреагируют его сограждане: на дворе 1946 год, вся страна ещё — разверстая рана, у людей разрушены жизни. Жена будет его отговаривать (в романе это тоже показано). Ясперс всё-таки опубликует этот текст — «Die Schuldfrage. Ein Beitrag zur deutschen Frage»¹, откажется от немецкого гражданства

¹ Русское издание: Ясперс К. Вопрос о виновности. О политической ответственности Германии / Пер. с нем. С.Апта. — М.: Прогресс, 1999.

и уедет в Швейцарию. И это при том, что он — вместе с женой-еврейкой, которой угрожала смертельная опасность, — все нацистские годы был со своим народом там, где его народ, к несчастью, был. Умрёт он в Базеле, это уже за рамками повествования.

Чувством вины и неосуществимой ответственности на протяжении всего романа будет мучиться и Ханна Арендт (основной объём связанного с нею текста уходит на бесконечные, почти безнадежные блуждания Ханны по жаркому, изматывающе-детально — взгляд вязнет, внимание захлёбывается — прописанному Иерусалиму в апреле 1961 года в поисках театра Бейт ха-Ам — места, где должен состояться суд над разысканным всё-таки в пригороде Буэнос-Айреса Эйхманом. Вина её, немецкой еврейки, избежавшей уничтожения в гитлеровской машине смерти, будет связана, правда, не с судьбой её народа и уж никак не с тем, что устроила её страна, но вина всё равно будет — неразрешимая, неотступная: связанная с самоубийством Вальтера Беньямина, бежавшего из Франции от нацистов и покончившего с собой на франко-испанской границе, в городке Портбоу. В своём эссе о Беньямине¹ она рассказывает об этом так: «В испанском прибрежном городке группка эмигрантов, к которой он присоединился, узнала, что именно в этот день Испания закрыла границу и испанские пограничники не принимают виз, выданных в Марселе. Эмигрантам было предложено тем же путём на следующее утро вернуться во Францию. Ночью Беньямин лишил себя жизни, и поражённые его самоубийством пограничники разрешили оставшимся проследовать в Португалию». Ханна оказалась в Портбоу на следующий же день после его гибели. Могла бы, неотвязно думается ей, уберечь, отговорить — если бы оказалась рядом чуть раньше, совсем чуть-чуть... — кровать в гостинице, на которой Вальтер убил себя предыдущей ночью, только что была снова аккуратно застелена. Ханна могла бы успеть — и не успела (сцены, связанные с этим, повторяются в романе многократно, лишь немного меняя формулировки).

(Мысль автора, следовательно, такова: степень вины и ответственности, которую чувствует, которой мучается человек, зависит никак не от того, что он реально мог сделать, а единственно от степени его личной чувствительности, совестливости и глубины.)

Отто Эйхман, вина которого чудовищна, а ответственность огромна, этими категориями не оперирует вообще и выстраивает самооправдание с безупречной логичностью. «...Вы думаете, — говорит он перед казнью беседующему с ним журналисту, — что я и мне подобные бездумно выполняли приказы, отчасти это так, были приказы, которые мы вынуждены были выполнять, поскольку система не разрешала ослушаться, кроме того, повторяюсь, каждый из нас обладал малой толикой крайне ограниченной информации, знаете притчу о слепых и слоне, вот и мы видели только часть произошедшего, точно как вы сейчас...» — ну и так далее, поток доказательств несравненной его правоты может быть прерван в любом месте.

(...И даже: чем бессовестнее человек, тем виртуознее и логичнее он оправдывается.)

От личной вины и ответственности среди четверых ведущих героев книги может быть назван свободным разве лишь Томас Бернхард, написавший поставленную в 1988-м в венском Бургтеатре пьесу "Heldenplatz" («Площадь героев») о событиях аншлюса 1938 года, об ответственности за эти события тогдашних австрийцев — «неудобную, поистине оскорбительную вещь». Вместе с режиссёром Клаусом Пайманом, поставившим пьесу, Бернхард оказывается адресатом яростного негодования потомков современников аншлюса, категорически не склонных принимать на себя никакую

¹ Его цитирует в послесловии к роману Александр Скидан.

ответственность, — и это полвека спустя после описанных событий! Его даже избивают на тёмной венской улице — нет ни малейших сомнений в том, что именно за это.

«Следует немедленно привлечь господина Бернхарда к ответственности за преступную дискредитацию, кроме того, было бы не лишним проверить, как господин Пайман ведёт дела и что позволяет себе ставить в знаменитом, всемирно известном венском учреждении культуры, которым по праву гордится всякий житель нашего города, говорят случайные прохожие».

А прошлое-то, оказывается, не проходит. Оно не проходит настолько, что автор не видит никакого смысла в том, чтобы выстраивать повествование в хронологической последовательности, — и не делает этого (у предложенной им последовательности какая-то другая логика). Но об этом чуть ниже, поскольку в тексте и без того немало сложностей.

Перечисленную выше совокупность, в общем-то, простых и ясных мыслей романист умудрился упаковать в чрезвычайно сложно организованную, высоконеочевидную форму. (Мысль, заваленная грудой едва ли не самоценного материала — описаниями иерусалимских, венских, берлинских улиц, людей на них, интерьера и посетителей кафе, происходящее в котором забирает в большую, почти ускользающую от внимания рамку всё повествование в целом... — сильно рискует затеряться.) Догадаться, для чего форма потребовалась именно такая, в конечном счёте не удалось, — но отдельные предположения разной степени дерзости всё-таки есть.

Прежде всего — о времени действия, расширенном настолько, что есть соблазн назвать его уже и всевременьем (*малым всевременьем*, поскольку в основном оно не распространяется за пределы XX столетия — захватывая иногда и XXI, назовём его *временем наблюдателя* или эссеиста-монологиста, если это одно и то же лицо). С нетривиальностью временной организации текста напрямую связаны, кажется, и все остальные его сложноустроенности. Прерываемое недолгими и немногочисленными историческими экскурсами — например, в историю Судет, историю венских кофеен... — классически-линейно выстроены только эти экскурсии, — романное время имеет три опорные точки: 1946-й — Ясперс в Гейдельберге, 1961-й — Арендт и Эйхман в Иерусалиме и 1988-й — Бернхард в Вене, и периодически к этим точкам возвращается, при том, что те же ведущие герои оказываются и в других узлах времени-пространства (например, Бернхард — в Гамбурге 1970 года; Арендт — в Гейдельберге своей юности, где она слушала университетские лекции Ясперса; Эйхман — в своём, выдуманном автором, детстве). Но вообще время действия рассредоточено по всему XX веку, захватывая и предвоенный 1913-й (год воображаемой встречи Сталина и Гитлера в Швейцарии), особенно сгущаясь в конце 1930-х и в 1960-х. Перемещение точки внимания (в данном случае, скорее, камеры, «киноглаза», говоря языком одного из здешних эпизодических персонажей) в ту или иную сторону выглядит произвольным — если только не предположить, что автор следует тут логике воспоминаний и ассоциаций с её каждому известной прихотливостью. Вполне возможно, — тем более что к этому отсылает и само название романа.

Вопрос: кто является субъектом этих воспоминаний и ассоциаций? Способны ли они принадлежать одному человеку?

Вопрос, на самом деле, очень интересный и явно связанный с устройством фигуры (фигур?) повествователя. Время от времени в романе внезапно возникает некое «я», никогда себя не называющее, почти не проговаривающее своих обстоятельств (иногда вдруг возьмёт и удивится: «Непонятно, зачем я здесь присутствую...»);

можно догадаться, что собственное его время — условные «наши дни» (по крайней мере, как горит Нотр-Дам, он по телевизору — будучи притом в Буэнос-Айресе — наблюдал). Столь же неожиданно и незаметно (если не сказать — немотивированно) «я» исчезает.

Этот «я» — один из персонажей многонаселённого романа (если он вообще один, а не разные «я», чего тоже исключать нельзя). Персонажей разной степени эпизодичности, как именитых (как, скажем, Натали Саррот, Марина Абрамович, Дзига Вертов, Сабина Шпильерин, Винфрид Георг Зебальд, Сергей Параджанов... — уже одно только их присутствие расширяет романное пространство до головокружительности; список неполный), так и безымянных — помимо четырёх ведущих — здесь вообще великое множество, они возникают внезапно и столь же непредвиденно исчезают. Такова, например, вдруг появляющаяся семья немецких эмигрантов в Аргентине, живущая в том же буэнос-айресском пригороде Оливос, что и Эйхман перед арестом. Снабжённые именами, характерами, судьбами, даже родственниками и гастрономическими обычаями, Марта и Лотар Германы и дочь их Сильвия вспыхнут, чтобы не появиться более никогда и не сыграть никакой роли в развитии событий. Сильвия один раз, правда, появится — «через восемь лет» после описанных событий, «в третьем ряду в кинотеатре на Авенида Триунвирато», где «смотрит новый фильм модного шведского режиссёра» (похоже, Бергмана), чтобы затем исчезнуть совсем бесследно и навсегда. В подробности и конкретности и повествователь, и эссеист-монологист, если они не одно лицо — и даже если одно, — существенно уступают Германам.

Так вот — возможно, поспешный — предполагаемый ответ на вопрос о структуре здешнего субъекта. Это субъект диффузный, рассеянный по всему, в пределе, объёму коллективного сознания вообще (или мерцающий — периодически концентрирующийся). Отдельные персонажи — лишь ступки его.

Да, ведущих — плотных, устойчивых — персонажей всего четыре: «Четыре персонажа в поисках выхода, Ясперс за громоздким столом в кабинете, Ханна на раскалённой площади, Эйхман на стуле в тюремной камере, Бернхард в театральном зале, во втором ряду» (вот что ещё им соответствует, как мы, собственно, отчасти уже заметили выше: четыре разных этических не то что позиции, но ситуации. Четыре разных этических модуса). Другие — появятся и растворятся снова. И повествовательский, наблюдательский субъект потому и не имеет внятной определённости, что привилегий в этом смысле у него нет никаких.

С этой диффузностью субъекта наверняка связано то, что в романе нет диалогов и монологов как таковых — по крайней мере, они никак не маркированы, речь идёт сплошным потоком, сливается с речью повествователя, не без усилий вылушивается из неё. Это речь-вообще, всехняя речь.

И воспоминания с их прихотливой логикой принадлежат чему-то вроде общекультурного сознания, коллективной памяти.

А наблюдает за происходящим всерьёз, кажется, сама история — или уж её Создатель, для Которого, понятно, все времена существуют одновременно, оттого и возможно так легко перемещаться между ними, накладывать их друг на друга.

(Впрочем, повествователь — или эссеист-монологист — иногда вдруг демонстрирует некоторые истоки своего текста: «В детстве я плохо понимал, как устроена хронология, никоим образом между собой не связанные отдельные события были рассредоточены по времени-пространству, их порядок отчасти определялся последовательностью узнавания, отчасти степенью пуская и сомнительной, но важности». Рассредоточив

происходящее скорее по пространству, чем по времени: Гейдельберг — Иерусалим — Вена, возвращает ли повествователь себя в позицию детской растерянности перед непостижимой историей?)

Роман избыточен и щедр, соперничая в этом с самой природой. Идёт ли это на пользу мыслям, продумать которые предлагается читателю? Честно сказать, не всегда, и даже чаще нет, чем да. Складывается ощущение, что литературу в этом тексте побеждает кинематограф — хотя видно, что, по замыслу автора, они должны бы не соперничать, а очень тесно сотрудничать, и в общем-то стараются это делать. Но один из этих союзников-соратников оказывается всё-таки сильнее.

Вот — то важное, с чего, наверное, стоило бы даже и начинать. Это литература, которой мало быть только литературой, которая почти отказывается ею быть. Текст выстроен как синтез двух типов высказывания — литературного и кинематографического. Почти на всём своём протяжении роман написан как сценарий готовящегося фильма или как экфрасис фильма воображаемого, уже состоявшегося (а может быть, и то и другое вместе взятое). В рамках одного искусства автору тесно: он их сращивает, — что вполне можно истолковать как расширение возможностей литературы за счёт техник, заимствуемых прежде всего у кинематографа, его способов видения, способов организации материала. Кинематографом как источником расширяющих роман инструментов автор не ограничивается, обращаясь и к источникам более традиционным, включая в текст и сновидения героев (каждое — совершенно самодельный видеоряд), и эссеистические фрагменты (например, о Джамбаттисте Вико, который «заговорил об истории как о продукте человеческой деятельности» и предложил свою модель развития исторического процесса). Но влияние на текст киноискусства с его специфическими, преимущественно визуальными задачами здесь — доминирующее.

Автор постоянно обращает внимание на то, как рассказанное должно быть увидено на экране: «...Подрагивающий кадр, как с ручной камеры, затемнение»; раздаёт указания невидимым сотрудникам по съёмочной группе, как снимать: «персонаж не двигается, напрашивается крупный план на его истощённом лице», «иногда Бернхард смещён в левый угол кадра», «камера опрокидывается в окно, приближается, следит сквозь стекло <...> затемнение», «всё движется в замедленной съёмке», и даже (но это редко) какой требуется саундтрек: «Карл Орф, Veris Leta Facies, дирижирует Фрюбек де Бургос».

Это фильм, снимаемый с помощью слов (и явно испытывающий влияние фильмов уже снятых, цитирующий их; автор ведёт интенсивный диалог со своими кинематографическими предшественниками, не раз прямо ссылается на их опыт: «...Они застыли, как в фильме Рене Клера»; можно заметить даже и такие нетривиальные ходы, как словесный фильм в словесном фильме — Бергман, которого смотрит вполне случайная героиня в буэнос-айресском кинотеатре); литература, осуществляемая кинематографическими средствами. По аналогии с уже утвердившимся в правах полноценной культурной формы графическим романом, Безносков создаёт ещё одну, новую форму — *словесный фильм*, создаваемый единолично (подобно графическому роману, который тоже создаётся единолично — и который тоже своего рода фильм!), предназначенный к снятию и просмотру силами читательского воображения под руководством автора-режиссёра по авторскому же, шаг за шагом прописанному, сценарию, с активным участием автора-декоратора. Впрочем, это — не столько жёсткая инструкция, сколько развёрнутое размышление о том, как такой фильм стоило бы снимать, с обилием отступлений. Это и не кино с его непосредственной суггестией, но собирание на читательских глазах матрицы для его изготовления.

Несомненной удачей этого сложного и, пожалуй, рискованного эксперимента следует признать то, что у Безносова получается встроить кино в литературу без утраты важнейшего её компонента — аналитичности. Он даже, пожалуй, усиливает её — притом, что характерно, кинематографическими средствами, пристальным вглядыванием, крупными планами, замедленной съёмкой.

Влияние на литературу кинематографа тут можно было бы назвать даже агрессивным — если бы, с другой стороны, этот текст не был и более обычного литературным: слово в нём берёт на себя повышенную нагрузку, стараясь работать не только как это ему привычно, но ещё и так, как это делают визуальные образы.

И кстати о времени: доминирующее время романа — кинематографическое: в основном текст написан в настоящем времени, как предлагаемый к съёмке сценарий. Оно чередуется здесь со временем некинематографическим (условно говоря, литературным), — так происходит в эссеистических фрагментах и исторических экскурсах.

Приходит в голову ещё вот что: при таком способе повествования в романе не присутствует будущее. Оно тут выведено из оборота даже как позиция наблюдателя / нарратора, обычно — в традиционно организованной литературе — всезнающего и рассказывающего обо всём в прошедшем времени. Прописывая текст как сценарий, то есть как будто чисто технически, повествователь таким образом отказывается от привилегированной позиции, от защищённости своим будущим, своей дистанцией. Наблюдатель всех этих сцен не знает будущего, абсолютно разделяя свою беззащитность перед ним со всеми, о ком он говорит.

Может ли это быть названо ещё одним суждением о ситуации человека в истории?

«Четыре персонажа в поисках выхода». Но выхода из истории — и памяти — нет.

Впрочем, «сценарный» способ повествования у Безносова, кажется, многофункционален. Автор строит текст для наблюдения принципиально извне — как опять-таки в кино, лишая читателя (почти неперменной в традиционной литературе) возможности отождествления с персонажами (или освобождая его от этой вполне принудительной возможности). Всё описываемое он выкладывает на прозекторский стол. Интонации его бесстрастны, как (прозекторский же) скальпель. В отличие от традиционной литературы (да, кстати, и от традиционного кино), Безносов не заставляет читателя испытывать те или иные чувства и состояния, — он показывает возможности для их возникновения. (Что до эмоций, то его нарочито монотонной речью они, куда скорее, нивелируются. Думай, читатель, всё-таки лучше головой.)

Похоже, что этот текст взял на себя очень много интересных задач, — далеко превосходящих по объёму те несколько (действительно сложных, но вполне обозримых) мыслей, ради которых он писался. Перегруженный роскошными замыслами, внутренними ходами, намеченными, а в большой мере и осуществлёнными, возможностями, он всё-таки, чувствуется, уводит от своего смыслового ядра во много разных сторон сразу (можно сказать и так: перерастает его во много разных сторон сразу). От чего разбираться в нём — нисколько не менее интригующая задача.

Евгений Абдуллаев

Dum spiro spero

В стремительное время живем.

Только вот в прошлом «барометре» проанонсировал разговор об Ассоциации писателей и издателей России (АСПИР), как — вот, пожалуйста.

«АСПИР прекращает работу. У нашей команды больше нет возможности делать то, что мы делали».

Это сообщение, опубликованное 31 января в телеграм-канале АСПИРа, произвело эффект небольшой разорвавшейся бомбы. 252 комментария (на момент, когда это пишу). За исключением десяти-пятнадцати злорадных, остальные — сочувствующие.

Да, действительно, жаль.

Не буду оценивать это решение и гадать о причинах. Вероятно, таковые имелись, чтобы закрыть организацию, созданную всего четыре года назад. Не очень большую, но и не маленькую. И главное — активно работавшую.

Одно предположение всё же выскажу.

Из отклика сайта «Вопросов литературы»: «...Трудно назвать другое объединение, сделавшее бы больше для современной литературы в последние годы. Встречи в библиотеках, музеях, поддержка толстых литературных журналов, проекты книжных издательств, школы писательского мастерства... Пожалуй, самым важным здесь было именно ощущение единства поверх барьеров и убеждение, что — несмотря на неизбежные стилистические, поколенческие и идеологические разногласия — работа в пространстве современной русской литературы может вестись плодотворно и сообща»¹.

Вот, пожалуй, ключевой момент: единство поверх барьеров. Поверх идеологических разногласий. *Единство*.

Этот момент присутствовал и в других откликах. Евгений Попов отметил, что в АСПИР «мирно сотрудничали антагонисты». Марина Кудимова: «объединение расчленённого писательского сообщества».

Что ж тут плохого? Ничего. Просто воздух времени сейчас, похоже, другой.

Единственным недостатком АСПИР было то, что она возникла слишком поздно.

¹ Лёгкая кавалерия, № 1, 2025 // Сайт «Вопросы литературы» (URL: <https://voplit.ru/column/vypusk-1-2025/>).

АСПИР была долгим эхом 2010-х. Даже — нулевых.

Если огрубленно, то нулевые были временем *консолидации*. После девяностых и «войны всех против всех». Именно в 2000-е возникли важные объединяющие проекты. Например, Липкинский Форум — в области литературной учебы. «Большая книга» — в области премиального процесса. Созданы они были, напомню, при косвенной поддержке госструктур.

Логично, чтобы тогда возникла если не АСПИР, то организация аналогичного типа. Скажем, после встречи с писателями 16 февраля 2007 года в Ново-Огарёво. Этого не произошло.

Хотя уже было ясно, что без системной (а не от случая к случаю) государственной поддержки литература обречена на угасание. Не в состоянии она в век компьютеризации прокормиться книжным рынком, всё более сжимающимся под натиском новых видов получения информации и проведения досуга.

Опять же, воздержусь от оценок и гадания по поводу причин, почему такая структура не была создана. Не произошло.

На смену консолидации нулевых пришли 2010-е, с их *атомизацией*. Распадается на субкультуры, суб-субкультуры, суб-суб-субкультуры читательское сообщество — распадается и литературный цех. На группки, кружки, тусовки.

Вспоминаю разговор на Красноярской книжной ярмарке осенью 2016-го.

Зашла речь о поэтических премиях. О том, что большинство их носит откровенно тусовочный характер. Что, к сожалению, нет тут чего-то аналогичного «Большой книге»...

«А разве “Большая книга” — не тусовочная премия?» — поинтересовался поэт С., присутствовавший при разговоре.

Очень симптоматичная для 2010-х реплика.

Утрачивалось представление о масштабах и иерархиях. При маргинализации литературы, её вытеснении на периферию общественного внимания, всё начинало казаться равным всему. «Большая книга» — премии, изготовленной «на коленке» мной и другом Васей (Петей, Машей...). Чухонцев — Ах Астаховой (был и такой сюжет). Серьезная литература — массовой, а та и другая вместе — любительской.

Сама идея иерархии начинала казаться устаревшей, архаичной.

И одной из причин этого было *недофинансирование*. Литература, как и всякий другой культурный институт, не может существовать на самопрокорме, без материальной подпитки извне. Государственной или меценатской; а лучше — и той, и другой.

Все 2010-е меценатская поддержка, подкармливавшая литературу в 90-е и нулевые, стремительно сокращалась. Что-то, конечно, продолжало осуществляться. Уже упомянутая Красноярская книжная ярмарка, поддерживавшаяся, как и премия «Новая словесность» (НОС), Фондом Михаила Прохорова. Или Иркутская книжная ярмарка, финансировавшаяся «Вольным делом» Олега Дерипаски. Опять же, «Большая книга» и две другие крупные премии — «Национальный бестселлер» и «Поэт» (ставший «Поэзией»). Спасибо, господа, мы помним.

Но в целом в 2010-е меценатские средства уходили. И проекты, осуществлявшиеся на них, закрывались один за другим. «Русский Букер», «Дебют», «Премия Белкина», премия Юрия Казакова. Журнал «Арион».

Меценатские средства уходили — другие не приходили, или приходили мало. Хотя государственная поддержка всё десятилетие, похоже, даже возрастала. (Тут бы статистика пригодилась, но её, увы, нет).

И новые проекты возникали. Институт перевода. Новые книжные фестивали; прежде всего на Красной площади. Сайт «Год литературы». Начало системной поддержки и финансирования библиотек, благодаря чему они превратились в важные центры продвижения современной русской словесности. Тоже — помним и ценим.

И тем не менее.

Именно в 2010-е почти все крупные литературные журналы оказались перед угрозой закрытия: не на что стало издаваться, платить аренду, зарплату редакторам, гонорары авторам. Там, где гонорары ещё выплачивались, размер их стремился к нано-величинам. По этой причине перестает выходить один из старейших журналов «Октябрь» (формально он ещё не закрыт), закрывается выходивший четверть века «Арион» и созданный в десятилетия и десятилетия не переживший *Homo legens*.

Именно в 2010-е закрываются многие поэтические фестивали, возникшие в предыдущее десятилетие. Именно в 2010-е из крупных газет исчезают разделы, освещавшие новости литературы.

Список потерь можно продолжать.

Почему тогда не возникла организация, аналогичная АСПИР? Способная спасти многие важные проекты, объединить рассыпающееся, как песок, литературное поле, хотя бы частично вернуть серьезной литературе её престиж? Оставляю этот вопрос для будущих историков литературы. Не возникла. Хотя после Литературного собрания 21 ноября 2013 года казалось — вот-вот. И идея уже овладела массами, и документы, как рассказывают, были готовы. Но звезды снова встали в какую-то не слишком благоприятную для современной словесности позицию.

Если 2000-е были годами консолидации, 2010-е — атомизации, то 2020-е, похоже, войдут в историю литературы как годы *конфронтации*.

Возникла она не сразу, ей предшествовал двухгодичный ковидный «затакт». 2020-й и 2021-й, собственно, ещё по своему духу принадлежат предыдущему десятилетию. Ковид и жесткие требования самоизоляции довели атомизацию, нараставшую все десятилетия, до предела, почти до абсурда. Все закупорились в своих квартирках, реальных и ментальных.

В 2022-м маятник качнулся в обратную сторону. Литература, как и общество, стремительно распадается на два противоположных лагеря. Внутри них возникают новые единства, новые иерархии. Но не по эстетическим, а по исключительно политическим основаниям. Культовые имена двух иерархий-антагонистов *эстетически* как раз довольно близки. Скажем, стихи поэтессы Д. и стихи поэтессы П. произрастают на одной и той же стилистической делянке. Но попробуйте где-то просто упомянуть их имена рядом...

Впрочем, еще по диамату проходили: противоположности сходятся.

Но главное, в чем сходятся и условные «либералы», и не менее условные «патриоты», — это абсолютная нетерпимость. Нежелание слушать, нежелание понимать. Непрерывное выискивание «чужих», «предателей», «врагов»... «Как же зеркально похожи борцы за свободу и борцы за несвободу!» — как точно написала пару лет назад на своей страничке в соцсетях филолог Дина Магомедова.

Или, если вспомнить высказывание более чем столетней давности: «...Иногда мне мерещится, что с той и другой стороны хочется крови, просто “хочется” и просто “крови”».

Так Василий Розанов писал о русской революции 1905 года. К чему эта жажда крови (ещё и разогретая следом Первой мировой) тогда привела, напоминать, надеюсь, не нужно. Не хотелось бы повтора.

Особенно достается тем, кто пытается — да, именно примирить. Понизить градус антагонизма. Консолидировать то, что ещё не разбежалось по враждующим лагерям.

Тут уж камни летят с обеих сторон. И в замечательный проект «Культурная инициатива» (причем больше даже со стороны «либералов»). И в возрожденную (увы, ненадолго) «Русскую премию». И в «Большую книгу». И — в АСПИР.

Да. Ассоциация писателей и издателей России, созданная в конце 2020-го, приступила к активной работе в 2022-м. А приступив, почти сразу оказалась под двойным огнем.

Стоит, впрочем, внести некоторое уточнение. Оба обстрела не слишком приятны. Но если со стороны условно «либерального» лагеря дело ограничивается моральным и репутационным ущербом, то со стороны противоположного оборачивается вполне осязаемым, административным. Запрещенные к продаже и выдаче в библиотеках книги. Отмененные выступления авторов. Проверки книжных магазинов. Список можно продолжить.

Констатирую это, опять же, безоценочно. Тем более что российская ситуация — далеко не уникальна. Правоконсервативное движение набирает силу и в Западной Европе, и в США; и тоже затрагивает литературу.

Например, так называемые войны за запрещенные книги (banned-book wars), уже несколько лет идущие в США. По данным Американской библиотечной ассоциации в некоторых штатах усилиями консервативных активистов к выдаче в школьных библиотеках запрещена даже классика. «Колыбель для кошки», «Великий Гэтсби», «Повелитель мух», «Убить пересмешника»... В целом количество запрещенных в отдельных штатах книг с 2020-го по 2022 год выросло более чем в сто раз — с 223 до 2571¹.

А пару лет назад The Washington Post опубликовала статью под красноречивым заголовком: «Школьным библиотекарям грозит новое наказание в войнах за запрещенные книги: тюрьма». Да, именно так. В Арканзасе, например, сотрудники школьных и публичных библиотек за хранение в открытом доступе «непристойных книг» могут получить до шести лет лишения свободы².

Но то, что «за границей — та же кутерьма», как-то не особенно бодрит.

Менее чем через два месяца после объявления о закрытии АСПИР, 27 февраля прошел съезд Союза писателей России. Было избрано новое руководство, поставлены новые цели. По сути, трансформировать СПР в основной инструмент государственной политики в области литературы, каким когда-то был Союз писателей СССР.

О причинах, побудивших выбрать для этой цели СПР, опять же, гадать не буду. По поводу писательских союзов и их роли в современной литературе (крайне незначительной) я уже в этой рубрике высказывался («Дружба народов», 2017, № 4).

¹ Teichner M. War of words: The fight over banning books // Сайт «CBS News». 23 апреля 2023 г. (URL: <https://www.cbsnews.com/news/war-of-words-the-fight-over-banning-books/>)

² School librarians face a new penalty in the banned-book wars: Prison // Сайт «The Washington Post». 18 марта 2023 г. (URL: <https://www.washingtonpost.com/education/2023/05/18/school-librarians-jailed-banned-books/>)

Но — по крайней мере, хорошо, что с закрытием АСПИР целевая государственная поддержка литературы продолжится. Прозвучали на съезде и слова о необходимости привлечения писателей с разными взглядами и позициями. Сергей Степашин призвал не отталкивать «тех писателей, у которых есть своя точка зрения». Михаил Швыдкой вспомнил сдачу постановки «Юноны и Авось» в Ленкоме в 1982 году: «...Люди, которые, в общем, придерживаются разных взглядов, разных позиций <...> бережно и трогательно относились друг к другу».

Выступил и избранный председателем СПР Владимир Мединский. Отметил, что литература все эти годы государством недофинансировалась. «Если финансирование госзаказа в сфере кино измеряется миллиардами, если в сфере театра, будем откровенны, театральная великая русская традиция поддерживается в огромном объёме предоставленной театрам государственной собственности и больших государственных субсидий, которые составляют львиную долю бюджета большинства театров, то литература не получала и не получает почти ничего — ни денег, ни внимания».

Что ж, хорошо, если эту тенденцию удастся переломить — и одновременно избежать идеологической литературы. Не углублять конфронтацию. Удастся ли? Когда возникла АСПИР, тоже хватало скептических голосов — я сам был одним из скептиков («Дружба народов», 2021, № 10). Но тогда же пожелал «сил и попутного ветра» Сергею Шаргунову и его команде; пожелаю этого и тем, кто пытается сейчас реанимировать и реформировать СПР — это ещё более тяжёлая задача (если вообще осуществимая), чем та, что стояла перед АСПИР.

Вообще, этот очерк так первоначально и собирался назвать, «От АСПИР — к СПР». Но потом вспомнил известное крылатое выражение, созвучное обеим аббревиатурам. На нем и остановился. *Dum spiro spero.*

Пока дышу — надеюсь.

Борис Минаев

Радостная и лёгкая

«Лето господне» Шмелёва было полностью опубликовано в Советском Союзе уже в перестройку, конкретнее — в 1988 году (хотя избранные главы печатались в журнале «Новый мир» ещё в 1964-м под другим заглавием, а спустя двадцать лет несколько глав вошло в «худлитовский» сборник 1983 года).

Это и понятно: с одной стороны тут налицо махровая «религиозная пропаганда», с другой — Шмелёв «белый эмигрант», ярый антисоветчик, приветствовал Гитлера (как врага Сталина: враг нашего врага — наш друг, как известно), после войны долго отмывался от клейма коллаборациониста, каялся, узнав правду о преступлениях фашистов.

Странно даже, что в доперестроечные годы дозволили к печати!

Но что-то, видимо, уже тогда произошло с его репутацией: Шмелёв явно переместился в разряд «забытых русских классиков», певцов родного пепелища и отеческих гробов (пушкинские строки помянуты в эпиграфе к роману), старой Москвы, устоев и традиций.

Кому-то зачем-то понадобился этот набор ценностей и тогда, в андроповском 1983-м, несмотря на все идейные прегрешения писателя, которого Томас Манн номинировал на Нобелевскую премию.

Полный текст «Лета Господня» вышел из печати, как уже было сказано, в горбачёвском 1988-м, началась эпоха «возвращенной» литературы, от тамиздата постепенно отлетала приставка «там» — издавать стали всех, кого было нельзя, и уж тем более роман, построенный как цепочка «престольных праздников», пришелся ко двору в год тысячелетия Крещения Руси, отмечать которое Горбачёв задумывал как большую и важную кампанию реабилитации религии как важнейшей «общечеловеческой ценности».

...И вот прошло почти сорок лет.

Литература изгнанная, запрещенная давно вернулась к нам.

Шмелёва простили и реабилитировали. Даже перенесли его прах из Франции и позволили похоронить в Донском монастыре, неподалеку от того места, где происходит действие романа, — то есть от дома его отца на Калужской улице.

Российской православной церкви возвращено множество храмов и монастырей, строятся новые сотнями и тысячами.

Народ наш заново воцерковился, соблюдает посты, блюдет обряды, готовит куличи на Пасху, истово молится. Пусть не весь, но в достаточно большом количестве.

«Лето Господне» — не просто стало хрестоматийным, в полном смысле этого слова, романом (то есть отрывки есть в школьных пособиях по литературе, по ним пишут сочинения и пересказывают на уроках), его текст можно найти на десятках православных сайтов.

Забейте в поисковик название — и вы найдете несколько страниц ссылок.

Теми же, кто искренне любит Шмелёва, роман не раз прочитан, осмыслен, процитирован, подарен потомкам в назидание на день рождения, ну и так далее, и так далее.

И первый вопрос, который рождается в душе, когда идёшь на премьеру «Лета господня» в РАМТе, — зачем?

Вернее — почему именно сейчас?

Почему не тогда, в 88-м, в 90-м, в 93-м, когда текст воспринимался ещё как очень «горячий», нужный и свежий?

Почему не в дальнейшие годы, когда «новое воцерковление» двинулось полным ходом, в храмах бурно шли ремонт и реставрация, писались новые фрески и создавались новые иконы, и даже появились художественные книги о церкви — «Современный патерик» Майи Кучерской, скажем, или «Несвятые святые» Тихона Шевкунова?

Руки не доходили или сложен этот язык Шмелёва для театра — слишком слабые ответы, дело в чём-то другом. Почему всё же именно сейчас появилась его театральная версия?

На сцене — множество персонажей одновременно, и «главных», и «не главных», собственно, второстепенных тут и нет: и сам отец, и Ванятка Шмелёв, и дядька Горкин, и приказчик Василь Василич, и все работники, и работницы, — все они главные, потому что на самом деле единственным и главным персонажем тут оказывается дом подрядчика Шмелёва. Дом как живое существо, переживающее всё, что переживает человек: лето, осень, весну и зиму, а вместе с ними Рождество и Масленицу, Крестопоклонную и Пасху, — переживающее страшное горе и безмерное веселье, это существо со множеством лиц и рук, московский дом, то есть развернутый в Москву со всеми её ярмарками и развлечениями, кладбищами и храмами, рынками и реками.

Появляется и священник, появляется и гробовщик, посланцы другого, так сказать, как бы *отдельного* мира — но и они тут свои, не лишние, и они вливаются в общий хор голосов.

Я бы сказал, что для того, чтобы поставить очень густую, очень непростую в своей философии прозу Шмелёва, нужна одновременно очень изобретательная и очень простая режиссура (Марина Брусникина), в которой каждый голос, каждый характер, каждый нюанс должны сливаться в общую музыку дома-человека, который живет своей жизнью, который сам — повторяюсь — живое существо.

Как передать его звуки, запахи, тени, солнечные пятна, шорохи по углам, его скрипящие половицы и сквозняки? Невозможная задача, но благодаря деталям — режиссёрским и актёрским — это всё-таки получилось.

Текст Шмелёва поражает обилием деталей, подробностей — недаром художник спектакля (Нана Абдрашитова) вдоль стен расположила привычные ящики библиотечного каталога, только огромного размера — в них есть всё.

И отец (Евгений Редько), и мальчик Ванятка (Максимилиан Кутузов, Дима Брусникин), и выросший Иван Шмелёв (Александр Деветьяров), и Горкин

(Алексей Блохин), и Василь Василич (Тарас Епифанцев) — персонажи, безусловно главные, и через них идет сюжет, и вокруг них располагается действие, *и всё же — нет.*

Гадают, «выкуривают Масленицу», переворачивают «дилижан» на ярмарке, поют, ловят рыбу, пируют на Пасху, плачут на похоронах, ловят во время ледохода отвязавшиеся барки с товаром на Москве-реке, пьют и каются, и снова едят, болеют и любят, и это как-то всё вместе у них получается, никто не лишний, все нужны в любую секунду.

Всегда все вместе.

Это странно. И поразительно.

Ну и Москва, как ещё один «общий дом», большой дом — который вбирает в себя много таких домов — с грибным рынком, со святочным разгулом, с чайными, с прогулками в Нескучном саду — тоже отчасти персонаж, но уже — «второго плана» (хотя для меня — первого, и как же хочется пройти по ней, этой шмелёвской Москве).

Конечно, здесь есть и золотые купола, увиденные с Воробьёвых гор, и Донской монастырь, и торжественная святость церковной службы, и «простонародная» вера Горкина, с его лаконичными проповедями. Жизнь, которую запомнил ребенок, ясная, цельная, искренняя и страстная — прошита церковным календарем, покоится на нём хронологически. И всё же в какой-то момент ты ясно понимаешь: роман-то вообще не про это.

У Шмелёва это всё-таки просто жизнь в первую очередь.

Полнокровная, богатая на события. Да и вообще — богатая.

Религия, вера — только часть жизни. Причем радостная и легкая.

...Многие помнят фантастический список постных блюд из романа «Лето Господне». Или описания пасхального стола. Или грибного рынка. Или просто — трактира. По этим описаниям можно составлять кулинарные книги забытой русской кухни, а вернее — забытой русской жизни. Да, тут целое пиршество жизни, и в непосредственном, прямом, и в образном смысле. И да, вера, религия, это её важная часть, но к ней не сводится всё это богатство.

Богатство жизни — полнее, масштабнее, величественнее и проще любого истолкования, любой идеологии.

Есть люди, создающие это богатство — трудом и расчетом, есть тысяча социальных связей и привычек, есть целая вселенная разных людей, которые составляют этот московский мир — с этими рынками, с этими праздниками, с этими вселенными-домами.

...Так куда же всё это делось?

В интервью после премьеры Марина Брусникина говорила о том, что, в очередной раз читая этот текст Шмелёва, всё время задавалась вопросом: как могло так случиться, что те же самые люди, которые были и набожны, и искренни в своей вере, разрушили всё это, как они могли взрывать эти церкви, разорять их, расстреливать священников?

И массово убивать других людей?

И вот ответ, который мы получаем здесь, на сцене РАМТа — сама *жизнь* была разрушена. Её богатство, её таинство.

Жизнь мирная, жизнь полнокровная, жизнь как дом. Общий дом для всех.

Он рухнул под тяжестью политических событий.

И вот когда всего этого вдруг не стало, — люди ожесточились. Восстали. И против религии в том числе.

Я сейчас много гуляю по Москве и часто захожу в церкви, храмы, где я раньше не был. Мне интересна их история, архитектура. Внутреннее убранство. В каждом храме своя особая атмосфера, они совсем не похожи друг на друга, унификации и однообразия я не чувствую.

В этих местах особенно ясно ощущаешь линию разрыва. Кровоточащий шов истории.

Вот свежие, только что нанесенные фрески. Где-то ещё голые стены. Имена расстрелянных, репрессированных священников. Фотографии руин и развалин.

Недавно был в храме Живоначальной Троицы в Кожевниках: последний советский объект, который там находился, — это цех по производству лифтов. Всё было разрушено, вся уникальная архитектура семнадцатого века. Восстанавливать, реставрировать эту церковь пришлось десятки лет. И так везде.

Зарубцевался ли этот разрыв, зажил ли адский шов?

Наверяд ли.

Гармонии, описанной Шмелёвым, между жизнью и верой, чистой, радостной гармонии, уже, может быть, никогда и не будет.

Но самое главное даже не это.

Главное — чтобы не возник снова этот шов. Этот чудовищный разрез на теле нации, на её истории. Вот поэтому именно сейчас нам понадобился Шмелёв с его гимном той полнокровной и богатой жизни. Гимном гражданского мира (и мира вообще), живого радостного дома, семьи, любви.

Нам понадобился Шмелёв с его личным ответом на трагедию Гражданской войны.

Не знаю, правильно ли я понял мысль театральную, заложенную в этих сценах, в этой музыке «Лета Господня».

Но этот текст, и литературный, и театральный, — он открыт для прочтения, толкования, открыт для личной интерпретации. В этом его, может быть, главная прелесть.

Summary

The holiday with tears in your eyes

The eighty-fifth anniversary of the Victory in the Great Patriotic War is a reason one more time to glance back at the events of those years and to hear the echo that reached our days, changed the lives of many a man, peoples and countries and now, in the XXI century shaping our present and future.

For the Great Patriotic's generation the war was not a big surprise. It was expected, they had been preparing for it. And still it hit hard like a locomotive and crushed all that was accustomed, dear and beloved. It swept like devastating hurricane over all addresses and lives and has demanded from everybody to make one's own choice – to enter one's own door.

The long short story of Georgij Gratt "Doors of the War" is about the first days of the long-awaited and still unexpected war, about its mystical inevitability and readiness to overcome.

For Denis Kolchin, the journalist from Ekaterinburg who covered the armed conflicts in many points of the ex-soviet territory is important that the people he is writing about understand: they have to do not with a planted informer but with a passionate altruist. In his long short story "The Black Garden" he comes back to his own experience and says that for him the main idea is as follows: "Whoever, for whatever and with whomever is fighting everybody's blood is the same and the Mothers' grief is the same and the children are equally yearning for their parents who died before the time".

"Vagif and he, Arthur. Here they are walking. There is the kind of understanding between them that sometimes happens between equally tired men. Not very young, smoking the same bitter cigarettes". Vagif is an experienced soldier, Arthur – press photographer, formerly he was photographing flowers, now – the war. The protagonists of Suhbat Aflatuni's short story "The Flowers" are an Azerbaijani and an Armenien. In this bloody war – between men and women – they are on the same side.

The theme of the war arises also in the section of poetry of this issue. The collection of poems by Alexei Dyachkov living in Tula will be remembered first of all by his poem "The City of Maria" – about the tragical events in Mariupol and the fates of its residents. The author of the cycle "The Trench Poems" Konstantin Bylinin from Chelyabinsk is meditating on his own life which is "for Motherland and the son, for all the sons to live with no war". The poems of the poet from Novosibirsk Kristina Karmalita are breathing with the air of her native spaces "where there is much pain (the war always loved us) but also much hope for the peace".

The round table by correspondence in which poets of different generations take part is dedicated to the 85-th anniversary of Joseph Brodsky.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Бумажную версию журнала «Дружба народов»
с любого месяца можно выписать онлайн на сайте **Почты России**

<https://podpiska.pochta.ru/press/%D0%9F%D0%A0044>

Подписной индекс в каталоге **Почты России — ПРО44**

Электронную версию «ДН» можно приобрести на сайте

<http://дружбанародов.com>

Журнал продаётся в магазине **«Фаланстер»**

Москва, ул. Тверская, 17

(вход с Малого Гнездиковского переулка)

Вёрстка: Елена ЖИРНОВА

Корректурa: Елена ЛАПШИНА

Дизайн обложки: Степан ЛУКЬЯНОВ

ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА ГУМАНИТАРНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ
И ФОНДА «РУССКИЙ МИР»





Золотые страницы «ДН»

**Сергей Орлов
(1921–1977)**

Когда это будет, не знаю,
В краю белоногих берёз
Победу девятого мая
Отпразднуют люди без слёз.

Поднимут старинные марши
Армейские трубы страны,
И выедет к армии маршал,
Не видевший этой войны.

И мне не додуматься даже,
Какой там ударит салют,
Какие там сказки расскажут
И песни какие споют.

Но мы-то доподлинно знаем,
Нам знать довелось на роду,
Что было девятого мая
С утра в сорок пятом году.

1975

